



Ян-Вернер Мюллер

Споры о демократии

Политические идеи
в Европе XX века

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
САЙДАРА

СПОРЫ О ДЕМОКРАТИИ

Jan-Werner Müller

Contesting Democracy

Political Ideas in
Twentieth-Century Europe

YALE UNIVERSITY PRESS
NEW HAVEN AND LONDON

Ян-Вернер Мюллер

Споры о демократии

Политические идеи
в Европе XX века

Перевод с английского
Анатолия Яковлева

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА · 2014

УДК 329
ББК 66.1
М98

Мюллер, Я.-В.

М98 Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века / пер. с англ. А. Яковлева. — М.: Изд. Института Гайдара, 2014. — 400 с.

ISBN 978-5-93255-377-0

Книга представляет собой первый систематический и обобщающий обзор политической мысли XX века — как на западе, так и на востоке Европы, — написанный со времени окончания холодной войны. Мастерски объединяя интеллектуальную и политическую историю, Ян-Вернер Мюллер проливает новый свет на концепции, которые привели к ожесточенной идеологической борьбе в период до 1945 г., а после окончания Второй мировой войны ставшие негативным ориентиром при выработке и проведении курса на либерализацию западноевропейской политической жизни. Автор рисует яркие портреты как хорошо известных, так и незаслуженно забытых политических мыслителей, а также вдохновленных ими общественных движений и институтов. Особое внимание Мюллер обращает на идеи, выдвигавшиеся для оправдания фашизма и нацизма, а также на интеллектуальные основания либеральной демократии в послевоенной Западной Европе. В книге также рассказывается о последствиях событий и идей 1960-х гг., о влиянии неолиберализма, а завершается она критической оценкой наступившей постидеологической эпохи.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей политической мысли в Европе XX века.

УДК 329
ББК 66.1

© Издательство Института Гайдара, 2014
© 2011 Yale University
Original edition by Yale University Press

ISBN 978-5-93255-377-0

Содержание

Введение · 9

Глава 1. Бесформенная масса · 19

Эпоха надежности (для некоторых) · 22; Прощание с большей частью всего этого · 34; Либеральные революции без либералов · 41; Вопросы Вебера · 50; Великий эксперимент · 59; Ответы Вебера (для некоторых) · 72

Глава 2. Межвоенные эксперименты: новые люди, переделка душ · 84

Плюрализм и его проекты · 86; Педагогическая политика · 93; Народный дом · 109; Партия и евангелисты · 114; Новые люди · 131

Глава 3. Фашистские субъекты: тотальное государство и *Volksgemeinschaft* · 151

Мифы Сореля · 154; Фашистские решения · 167; Миф тотального государства · 173; Окопкратия versus технократия? · 180; ...versus биократия? · 187; Смерть государства · 194; Великие пространства — без народов · 201

Глава 4. Политическая мысль периода восстановления: демократии самодисциплины, «народные демократии» · 208

Достойное государство · 217; Значение христианской демократии · 219; Идейная сделка · 230; «Эвтанизия политики»? · 237; Послевоенное конституционное урегулирование: дисциплинирование демократии · 242;

Либералы в пустыне · 249; Деколонизация европейского сознания · 255; Новый класс захватывает власть · 260; Спасти честь социализма · 266; Череп, который никогда больше не улыбнется · 273

Глава 5. Новое время споров: в направлении общества без отца · 282

Теория? Спасибо, не надо · 289; Революция в повседневной жизни · 293; Трансформация демократии · 300; Пророк · 304; Долгий май: автономия · 312; Государство как враг · 315; Намерения и последствия · 323

Глава 6. Антиполитика и ощущение конца · 330

«Кризис демократии» · 332; Значение французского антитоталитаризма · 337; Социальная демократия под огнем критики · 344; Конец конца отчуждения — и голова короля с плеч долой · 349; Спуск с Мон Пелерина · 360; Политика антиполитики при посттоталитаризме · 371; Метареволюции и конец ленинизма · 382; Поздний либеральный триумф? · 387

Слова благодарности · 395

Посвящается Эрике

Введение

...Меня интересуют не столько поиски фактов, сколько траектории движения идей и чувств. Именно это, прежде всего, я хочу изобразить... Трудности невероятно велики. Одна из них, крайне меня волнующая, касается соединения истории в собственном смысле и исторической философии. Мне до сих пор непонятно, как их соединить, и все же они должны быть соединены, ибо, скажем так, первая является полотном, а вторая красками и необходимо иметь обе в одно и то же время, чтобы написать картину.

Алексис де Токвиль

Или вы забыли о других банкротствах? Что делало христианство во время социальных катастроф? Что стало с либерализмом? К чему привел консерватизм — как реакционный, так и просвещенный?.. Если бы мы начали скрупулезно сравнивать банкротства идеологий, работы хватило бы надолго. И еще ничто не завершено...

Виктор Серж

Демократия развивается там, где абстрактный призыв идеолога и конкретное экспериментирование практика действуют сообща.

А. Д. Лундсей

ИСТОРИК идей Исайя Берлин как-то заметил: «лично я большую часть XX в. прожил, не испытав серьезных лишений. Все же я считаю его самым ужасным столетием в западной истории»¹. Кроме того, это было время, когда политические идеи играли исключительно важную роль — настолько важную, что современники прямо связывали их с происходившими катастрофами и катаклизмами. Эта вера в огромную силу идей не имела отношения к полити-

1. Цит. по: Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991* (London: Abacus, 1995), 1; Хобсбаум Э. *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)*. М.: Независимая газета, 2004. С. 12.

ческой лояльности: как отмечал польский поэт (и антикоммунист) Чеслав Милош, в середине XX в. «жители многих европейских стран ценой неприятного, как правило, опыта обрели сознание того, что замысловатые и слишком трудные для простого смертного философские книги оказывают самое непосредственное влияние на судьбы людей»². Примерно тогда же советский лидер Никита Хрущев сухо заметил в связи с антисоветским восстанием в социалистической Венгрии: «Расстреляли бы вовремя парочку писателей, и ничего бы этого не случилось».

В результате XX век часто интерпретируют как, прежде всего, «век идеологий». При этом идеологии понимаются как формы страстной, даже фанатичной, веры в идеи и проекты, имеющие целью совершенствование общества³. Далее обычно рассказывается следующая история: в 1917 г., когда произошла русская революция, или примерно в это время европейцы каким-то (более или менее необъяснимым) образом заболели идеологической лихорадкой — недугом, от которого они излечились лишь в 1991 г. или около того, после падения советской империи и несомненной победы либеральной демократии над фашизмом и над коммунизмом.

И все же считать XX век эпохой иррациональных крайностей или даже «веком ненависти» значит не понимать, что не только интеллектуалы и политические лидеры, но и обычные мужчины и женщины считали многие идеологии, изложенные в трудных книгах (и оправдываемые идеологиями институции), реальными ответами на свои проблемы. Правда, ожидалось, что идеологии принесут людям смысл, даже спасение, и что поэтому правомерно называть некоторые из них «политическими религиями», или, вместе с Черчиллем, «религиями без Бога». Но многие созданные от их имени институты обещали, помимо этого, функционировать гораздо лучше, чем институты либерализма, который в глазах многих европейцев выглядел безнадежно устаревшим реликтом XIX в. В ретроспективе сужде-

2. Czesław Miłosz, *The Captive Mind*, trans. Jane Zielonko (1953; New York: Vintage, 1990), 3; Милош Ч. *Порабощенный разум*. СПб.: Алетея, 2003. С. 55.

3. Классическая теория изложена в кн.: Karl Dietrich Bracher, *Zeit der Ideologien: Eine Geschichte politischen Denkens im 20. Jahrhundert* (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1982).

ние «фашизм возник для решения серьезных политических проблем послевоенной Италии», высказанное фашистским философом Джованни Джентиле в американском журнале *Foreign Affairs* в 1927 г., кажется банальностью (и в то же время отталкивающим преуменьшением)⁴. Однако любая теория, полностью игнорирующая такое измерение идеологий, как претензии на решение проблем и успешное институциональное экспериментирование, упускает из виду один из существенных аспектов⁵. Необходимо реконструировать причины, по которым они казались такими притягательными. Речь, разумеется, идет не о том, чтобы найти им извинения. Немногие из избитых фраз причинили такой вред серьезному изучению истории идей, как клише «*tout comprendre c'est tout pardonner*» («понять — значит простить»)⁶.

В решении этой задачи мы не можем ограничиваться традиционными изложениями развития высокой политической философии в Европе XX в. Скорее, нам следует обратить внимание на то, что происходит *в промежутке между* более или менее академической политической мыслью с одной стороны и возникновением (и разрушением) политических институтов — с другой. Иначе говоря, мы должны рассмотреть политическую мысль в ее политическом значении, обратив внимание на те области, где, как сказал однажды британский историк А. Д. Линдсей, соединяются работа «абстрактного идеолога» и практическое экспериментирование⁷.

4. Giovanni Gentile, The Philosophic Basis of Fascism // *Foreign Affairs*, vol. 6 (1927/8), 290–304; here 301.

5. Своей точкой зрения здесь я обязан работам Майкла Фридена и Пьера Розанваллона.

6. По сути дела, настоящее понимание того, почему некоторые идеи обладали такой властью в прошлом, делает их менее опасными для настоящего, даже если поначалу теория, не отвергающая с ходу убеждения прошлого как патологические, приводит нас в замешательство.

7. Разумеется, практически невозможно доказать, а тем более измерить такую постоянно ускользающую вещь, как «влияние», происходящее в истории идей. И все же изучение влияния, в том или ином виде, представляется единственным способом движения вперед, если только мы не хотим свести историю политической мысли к истории академических философских дискуссий или не исходим из допущения, что политические институты возникают исключительно благодаря «безыдейному» (thought-less) прагматизму или борьбе за власть и не являются в некотором смысле застывшим политическим мышлением. Как

Поэтому в данной работе особенно пристальное внимание будет обращено на «промежуточные фигуры»: государственных деятелей-философов, теоретиков государства, советников по конституционным вопросам, любопытный и внешне противоречивый феномен — «бюрократов-теоретиков», философов, близких к политическим партиям и движениям, а также на тех, кого Фридрих фон Хайек как-то назвал, не имея в виду ничего оскорбительного, «торговцами поддержанными идеями»⁸. Хайек считал, что торговцы идеями зачастую гораздо важнее самих их авторов. В сущности, особая потребность в таких торговцах появилась в эпоху, когда «массовая демократия» полностью вступила в свои права. Помимо всего прочего, она породила потребность в массовом оправдании (или массовой легитимации), т.е. потребность в оправдании форм правления и институтов, а также, менее очевидным образом, совершенно новых политических субъектов, таких как «очищенная нация» или народ,веряющий себя единственной социалистической «авангардной партией»⁹. Когда традиционные

выразился однажды Аласдер Макинтайр, «не должно быть двух историй, одной — политических и моральных действий, а второй — политического и морального теоретизирования, потому что существует лишь одно прошлое, а не два, одно из которых населено только действиями, а второе — только теориями. Каждое действие является носителем и выразителем более или менее теоретически нагруженных верований и концепций; каждый фрагмент теоретизирования и каждое выражение веры является политическим и моральным действием». См.: Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 2nd edn (London: Duckworth, 2004), 61; Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М.: Академический проект, 2000. С. 87.

8. F. A. Hayek, *The Intellectuals and Socialism* // *University of Chicago Law Review*, vol. 16 (1949), 417–33; here 417; Хайек Ф.А. фон. Интеллектуалы и социализм // Хайек Ф.А. фон. *Капитализм и историки*. Челябинск: Социум, 2012. С. 231.
9. Внимание к институтам не обязательно должно быть сосредоточено на государстве: партии и советы (в качестве примеров рабочего самоуправления и, в более широком смысле, как откровенно антизатягистские институты) тоже, несомненно, политические институты. Кроме того, история институтов не должна превращаться в своего рода *Siegerwissen-schaft*, т.е. в историю победителей: внимания заслуживают и несостоявшиеся институциональные проекты, а также институты, которые очевидно не удалось в качестве институтов, в том случае если они бросают свет на более широкое множество политических вызовов и ответных реакций.

концепции легитимности, а также принципы династического наследования были повсеместно дискредитированы — что случилось самое позднее в период после Первой мировой войны, — должны были измениться и оправдания политического правления.

Дело не в том, что примерно до 1919 г. не было потребности в публичном оправдании. Разумеется, такая потребность существовала. Но в XX в. оправдание должно было стать более пространным и понятным, даже в тех случаях, когда легитимность коренилась в личной харизме лидера или опиралась на способность функционирующей государственной бюрократии исполнять желания граждан. Ни харизма, ни обеспечение благоденствия не говорят сами за себя и сами себя не объясняют. В новом публичном оправдании нуждались прежде всего режимы правого толка, стремившиеся править от имени традиции, а также процветавшие, особенно в межвоенной Европе, монархические диктатуры. Традиция и монархическая легитимность перестали казаться самоочевидными и привычными, их следовало артикулировать и активно продвигать. Просто игнорировать требования массового политического оправдания было уже невозможно.

То, что XX век отличается от других исторических периодов, что это век навязчивого производства доктрин (и их потребления), остро ощущалось всеми, кто жил в то время. В конце 1930-х гг. британский философ Майкл Оукшот в своей обзорной работе «Социальные и политические доктрины современной Европы» отмечал: «Мы живем в эпоху обществ, которые хотят произвести впечатление. Даже самый грубый из всех режимов современной Европы — режим, который, по общему признанию, менее всего обязан собой систематически продуманной доктрине, а именно фашистский режим в Италии, до такой степени самодоволен, что подобно другим претендует на собственную доктрину. Оппортунизм кастрирован возведением его в принцип; мы потеряли не только искренность Макиавелли, но даже искренность „Анти-Макиавелли“»¹⁰.

10. Michael Oakeshott, *The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe*, with a foreword by Ernest Barker (Cambridge: Cambridge University Press, 1939), xi.

Поэтому после Первой мировой войны европейский XX век был эпохой демократии в совершенно особом смысле. Не все европейские государства стали демократиями. Напротив, многие из вновь образованных демократий пали в течение 1920–1930-х гг., что в глазах многих европейцев сделало диктатуру в той или иной ее форме очевидным маршрутом в будущее. Но даже политические эксперименты, резко противопоставлявшие себя либеральной парламентской демократии (с одной стороны реальный государственный социализм и обещанное им полностью коммунистическое общество, а с другой стороны — фашизм), говорили на языке демократических ценностей. А иногда они утверждали, что являются настоящей демократией: Джентиле, например, разъяснял своим американским читателям, что «фашистское государство... является народным государством и, в качестве такового, демократическим государством *par excellence*»¹¹.

Конечно, это не были демократии, даже с натяжкой, несмотря на то что, как мы увидим ниже, многие защитники этих режимов энергично расширяли смысл понятия демократии, чтобы придать большую убедительность своим претензиям. Но и социализм и фашизм обещали полностью реализовать ценности, обычно ассоциируемые с демократией: равенство, особенно некую форму равенства, являющуюся более реальной, чем формальное равенство перед законом; подлинную вовлеченность в политическое общество; и реальное, постоянное участие в политике, не в последнюю очередь ради создания коллективного политического субъекта — очищенной нации или социалистического народа, — способного быть хозяином общей судьбы¹². Возможно, это звучало несколько абстрактно. Но энтузиазм в отношении таких ценностей играл важную роль, побуждая к серьезным отступлениям от либеральной демократии. Не признавать этого было бы исторической наивностью и видом либерального благодушия, которое мы — когда я говорю «мы», то имею в виду «мы на Западе», — вряд ли можем себе позволить.

11. Gentile, «The Philosophic Basis of Fascism», 302.

12. Этой мыслью я обязан Дэвиду Робертсу: David D. Roberts, *The Totalitarian Experiment in Twentieth-Century Europe: Understanding the Poverty of Great Politics* (New York: Routledge, 2006).

Все это не порочит демократию, а напротив, подчеркивает силу демократических идей. В середине прошлого века австрийский правовед Ганс Кельзен, комментируя использование коммунистическими теоретиками языка демократии, писал: «По-видимому, символ демократии стал столь общепринятой ценностью, что содержание демократии невозможно перечеркнуть, не сохранив символа»¹³. И хотя мало кто, мягко говоря, стал бы сегодня защищать нацистскую «германскую демократию» или послевоенные восточноевропейские «народные демократии», нелишне напомнить, что большинство «демократических обещаний» крайне антилиберальных режимов было лицемерным или как минимум не осуществимым на практике обманом. Однако важно задать вопрос, почему эти режимы вообще считали, что должны раздавать такие обещания. Их риторика указывает на существование серьезных ограничений в эпоху, когда требования участия уже не могли игнорироваться, а притязания на власть должны были использовать политический язык, который, по крайней мере частично, совпадал с языком либеральной демократии. Короче говоря, это была эпоха, когда политические доводы опирались на то или иное понимание демократии.

В еще большей степени это важно для сегодняшнего дня: мы сможем разобраться в особом характере демократий, построенных в Западной Европе после 1945 г., только если поймем, что они строились с оглядкой на недавнее фашистское прошлое и претензии восточных конкурентов на «подлинную» демократию. Послевоенные демократии создавались не просто в противовес государственному террору или агрессивному национализму, но и в противовес тоталитарной концепции стихийного (*unconstrained*) исторического действия, осуществляемого коллективными политическими субъектами, такими как нацистская *Volkgemeinschaft*.

Говорить, что во второй половине XX в. происходило «возвращение демократии» или «возвращение либерализма», сначала в большинстве стран Западной Европы, а затем в Южной и Восточной Европе, значит высказывать хотя и правильный, но с исторической точки зрения слишком общий тезис. Скорее, европейцы создали нечто новое, а имен-

13. Hans Kelsen, *Foundations of Democracy // Ethics*, vol. 66 (1955), 1–101; here 1.

но весьма ограниченную демократию (*highly constrained democracy*) (прежде всего, с помощью неизбираемых институтов, таких как конституционные суды). Конституционалистский этос таких демократий был, несомненно, враждебен идеалам неограниченного народного суверенитета, а также «народным демократиям» и, позднее, «социалистическим демократиям» на Востоке, которые в теории продолжали опираться на понятие коллективного (социалистического) субъекта, овладевающего историей. Часто забывают, что этот новый набор институтов не оправдывался унаследованными политическими языками либерализма, поскольку, как считалось, именно либерализм проложил путь к тоталитарным кошмарам XX в. В том же свете должны быть поняты и две особенно важные послевоенные новации — демократическое государство благоденствия и Европейское сообщество. Первое должно было предотвратить возвращение к фашизму (соревнование с Востоком было хотя и важной, но в конечном счете второстепенной проблемой), предоставляя гражданам гарантии защищенности или даже, как это однажды сформулировал британский лейборист Най Биван, «безмятежного существования»¹⁴. Европейская интеграция, с другой стороны, должна была наложить дополнительные ограничения на национально-государственные демократии с помощью неизбираемых институтов.

Это ставит под сомнение само существование в годы после Второй мировой войны золотого века демократии, в частности социальной демократии. За пределами Великобритании (и Скандинавии, которая, как будет показано в главе 2, является особым случаем) западноевропейское послевоенное урегулирование было достигнуто благодаря умеренно консервативным силам, в первую очередь — христианской демократии. Если бы надо было ответить на вопрос, какое именно идейное движение и какая партийная политика создали политический мир, в котором сегодня живут европейцы, то ответ заключался бы в том, что это была христианская демократия. Для всех, кто считает Европу благословенным (или, наоборот, охваченным тьмой) островком

14. Цит. по: Peter Hennessy, *Having it So Good: Britain in the Fifties* (London: Allen Lane, 2006), 26.

секуляризма в нашем мире, это может стать сюрпризом. Успеху христианской демократии явно способствовало то, что она преподносила себя одновременно как партию антикоммунизма *par excellence* и как движение, сохранявшее связи с подлинной религией — в противовес фальшивой политической религии фашизма.

Новая послевоенная форма демократии в конце концов столкнулась с двумя серьезными вызовами: с восстанием, которое часто кратко обозначают как «1968-й», и с требованиями ослабить государство и освободить рынок и индивида (что сегодня обычно резюмируют в термине «неолиберализм»). Причиной так называемой революции 1968 г. часто называют глубокий кризис системы представительства (молодежи, женщин, геев), но в итоге она оставила политические институты практически без изменений. Заслуживает ли в таком случае 1968 год столь видного места в истории европейской политической мысли XX в.? Да, заслуживает, потому что он бросил радикальный вызов послевоенному конституционному урегулированию и центральным для него принципам ограниченной демократии. В конечном счете последствия событий 1968 года доказали, что конституционное урегулирование совместимо с глубокими социальными, моральными и, наконец, политическими изменениями — разрушением культур почитания и иерархии (будь то в семьях или университетах) и, самое главное, получением женщинами (и геями) власти над собственными телами.

Неолиберализм предложил убедительный ответ на то, что в 1970-х гг. часто называли «кризисом управляемости» 1970-х гг. Он оказал огромное влияние на Великобританию при Маргарет Тэтчер. Но его настоящая политическая и моральная программа представляла собой нечто значительно большее, чем ослабление профсоюзов и дерегуляция рынков (и Тэтчер сама это открыто признавала, когда объясняла в 1983 г., что «экономика — метод; цель в том, чтобы изменить сердца и души»¹⁵). Мыслителю вроде Хайека хотелось бы увидеть радикально новое конституционное урегулирование, но и его тоже не произошло.

15. Цит. по: David Marquand, *Britain since 1918: The Strange Career of British Democracy* (London: Weidenfeld & Nicolson, 2008), 283

Нет никаких причин праздновать триумф западноевропейского послевоенного конституционного урегулирования (после 1989 г., по существу, распространившегося и на Восток) и вдохновлявших его идей. Надеюсь, что осознание того, как к этому пришли европейцы, сможет хотя бы в какой-то степени способствовать развенчанию утешительной иллюзии, что либеральная демократия с необходимостью является позицией, внутренне присущей Европе или всему Западу в целом.

ГЛАВА 1

Бесформенная масса

Общество в целом находится в более или менее размягченном состоянии, и вы можете штамповать из него практически все; надо только делать это твердо и решительно.

Дэвид Ллойд Джордж, 1917

Сегодня государство наслаждается своей беатификацией. И мы почти слепо веруем, что этот путь ведет к спасению.

Гарольд Ласки, 1917

Именно в наше время связь государства и насилия имеет особенно интимный характер.

Макс Вебер, 1919

В наши дни верный признак силы демократической идеологии — лицемерное признание ее массами. Верный признак упадка аристократической идеологии — это полное отсутствие лицемерных защитников.

Вильфредо Парето, 1920

В слове «народ» я вижу единственный смысл, это — «мешанина»; если заменить «народ» словами «масса» и «мешанина», получатся очень странные термины... «суверенная масса», «воля мешанины» и т. д.

Поль Валери

К Рождеству 1918 г. Макс Вебер вернулся из Берлина в Мюнхен и оказался в центре «кровавого карнавала». В столице он принимал активное участие в дискуссиях вокруг новой германской конституции. Вебер вел себя необычно: в течение почти двадцати лет часто хворавший гейдельбергский профессор редко появлялся на публике. Однако в последние два года Первой мировой войны он написал серию полемических статей и даже предпринял отчаянную попытку выступить в роли политического наставника нации. Вебер собирался участвовать в выборах в конституционное

собрание, а затем в парламент. Выяснилось, однако, что либеральная партия, с которой он себя связал, решила выдвигать во власть профессиональных политиков, а не вспыльчивых ученых. Не надеялся Вебер и на то, что какие-либо из его рекомендаций будут услышаны составителями конституции.

Несколькими месяцами ранее студенческое общество Мюнхенского университета попросило его выступить с докладом «Политика как призвание и профессия» в продолжение начатой им в 1917 г. темы «Наука как призвание и профессия». Вебер отнекивался, но затем, узнав, что в качестве альтернативного докладчика рассматривается кандидатура Курта Эйснера, все же дал согласие на предложение студентов. Эйснер, независимый журналист и пожизненный социалист, 8 ноября 1918 г. провозгласил в Баварии республику, сделав это еще до берлинского отречения кайзера, и тем самым форсировал наступление того, что Вебер позднее назвал «кровавым карнавалом» революции. Людей вроде Эйснера он презирал: по оценке Вебера, Эйснер был погрязшим в политике литератором, самовлюбленным демагогом, а также жертвой недолгого чисто литературного успеха, который глава Баварской Советской Республики принял за политический триумф. Не обладая ни авторитетом, ни властью, Эйснер стал проекцией романтических надежд на спасение через политику. При этом надежды проецировались на человека, который, по сути дела, был обыкновенным продажным журналистом.

С точки зрения Вебера, легитимация власти возможна по трем основаниям: во-первых, по традиции, когда мужчины и женщины следуют прецеденту; во-вторых, по формально-правовым процедурам: закон считается легитимным, когда проходит через нужные инстанции и исполняется бюрократами *sine ira et studio* (без гнева и пристрастия); и, наконец, в-третьих, под воздействием личной харизмы, в чем-то родственной революционной политике¹. Термин «хариз-

1. Таковы три «чистых» типа легитимности (хотя имеются свидетельства, что Вебер, возможно, рассматривал и четвертый тип, демократическую легитимность, где харизма не навязывалась авторитарным образом харизматической личностью, а люди сами наделяли лидера харизмой, так сказать, «снизу», через выборы). В теории эти типы исключали друг друга: например, харизма противоречила традиции. Но на практике,

ма» имеет религиозное происхождение и первоначально относился к достоинствам пророков: «сказано... но я говорю вам...». Согласно Веберу, это понятие применимо ко всем лидерам, одаренным особой способностью вызывать доверие и притягивать преданных последователей. Эйсер, с точки зрения Вебера, принадлежал к последнему типу, но — к опасной его разновидности. И поэтому, стремясь не допустить, чтобы самопровозглашенный глава баварской «Volkstaat» совратил студентов амбициозными социалистическими фантазиями, Вебер предложил им некоторые с трудом выученные уроки политического реализма.

28 января 1919 г. он выступил с докладом, который стал лучшим выступлением в истории политической мысли: «Politik als Beruf», где *Beruf* имело смысл и профессии, и личного призвания. Поначалу Вебер взял не слишком высокую ноту: «Этот доклад... непременно разочарует вас... Вы непроизвольно будете ожидать высказываний и оценок по злободневным вопросам. Но об этом мы скажем... чисто формально, в связи с определенными вопросами, относящимися к значению политической деятельности во всем ведении жизни. Из сегодняшнего доклада как раз должны быть исключены все вопросы, относящиеся к тому, *какую* политику следует проводить... Ибо они не имеют никакого отношения к общему вопросу...»².

В чем же состоял этот «общий вопрос»? В докладе он сформулирован следующим образом: что такое политика как призвание или как профессия и что может означать политика как призвание и профессия? В более широком плане это был вопрос о том, насколько возможны ответственное

как всегда подчеркивал Вебер, они могли выступать в различных комбинациях, особенно если харизма становилась «рутиной» и частью повседневной деятельности институтов (таких как церковь, где не харизма определяет назначение на пост, но сам пост наделяет харизмой занимающее его лицо). См. в особенности его ранние тексты о харизме: *Max Weber-Gesamtausgabe* 1:22;4, ed. Edith Hanke, in collaborations with Thomas Kroll (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005).

2. Max Weber, *Politik als Beruf* // *Max Weber-Gesamtausgabe* 1:17, ed. Wolfgang J. Mommsen and Wolfgang Schluchter, in collaboration with Brigitt Morgenbrod (Tübingen: Mohr Siebeck, 1992), 157–252; here 157; Вебер М. Политика как профессия и призвание // Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс, 1990. С. 664.

политическое действие и стабильные либеральные режимы в разочарованном (по выражению Вебера) мире, в котором поставлены под сомнение религия, метафизика и другие источники смыслов, особенно коллективных. Вебер был убежден, что традиционная легитимность — основанная на прецеденте и праве древности — исчезает и что европейцы навсегда вступили в эпоху демократии. Монархическая харизма — не столько личное качество, сколько, по выражению Вебера, «харизма крови», передаваемая от одного поколения к другому, но при этом привязанная к самому институту, — была развенчана бедствиями войны, в ходе которой выявилась недееспособность большинства монархов. Исчезла и вера в то, что представители различных народностей и религий способны мирно сосуществовать в рамках одного политического объединения, такого как Габсбургская империя, под присмотром почитаемого кайзера, пользующегося доверием подданных. Вебер был убежден, что демократия может быть реализована только в однородном национальном государстве. И пути назад, к состоянию, предшествующему демократии, не было. С точки зрения Вебера, разочарование и демократия шли рука об руку по пути развития, избранному западным миром. И ответственное отношение к ним стало величайшим политическим вызовом для европейцев в первые десятилетия XX в.

Эпоха надежности (для некоторых)

Для понимания того, как развивалась европейская политическая мысль в XX в., следует разобраться, как она развивалась в XIX в. и какие из ее главных посылок перестали вызывать доверие после окончания Первой мировой войны. Вебер был продуктом подъема либерализма XIX в. и того, что австрийский писатель Стефан Цвейг ретроспективно окрестил «золотым веком надежности» (который, добавлял он, был также золотым веком страхового дела). Находясь в 1942 г. в выигрышной для наблюдений позиции после эмиграции в Бразилию (и на грани самоубийства), Цвейг вспоминал, что в предвоенные годы «все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия». Люди его поколения, молодость которых пришлась

на период до Первой мировой войны, были безудержными оптимистами и верили в мир, который, считали они, идет к еще большей свободе и «подлинному космополитизму»³.

Эпоха разума и надежности покоилась на трех центральных идеях (а иногда просто на моральных интуициях), воплощенных в конкретных политических и экономических институтах. Начнем с того, что надежность означала отсутствие войны и иных видов масштабного насилия (по крайней мере, таким виделся мир с позиций наблюдателя, находящегося в Вене или вдалеке от Балкан, а еще лучше — вне Европы). В XIX в. европейцев в сражениях погибло меньше, чем в предыдущем столетии, а с 1871 по 1914 г. царил долгий мир, подобного которому Европа не знала ни до, ни после этого (исключение составляла Великобритания, которая почти всегда вела где-нибудь войны)⁴.

Надежность в смысле международного мира была для европейцев не какой-то спасительной передышкой, она была связана с растущей взаимозависимостью европейских государств и империй, обусловленной оборотом денег, товаров — и людей. Десятилетия перед Первой мировой войной стали также «первой волной глобализации» (как ее иногда называли). *Manchester Guardian* объявила, что «пространство отменено» и «границ больше не существует»⁵. Это был золотой век интернационализма в смысле свободной торговли, международного сотрудничества в установлении стандартов и объединения суверенитетов в целях получения экономических преимуществ. Например, существовали европейский почтовый союз, скандинавский и латинский валютные союзы. Кроме того, существовал золотой стандарт, который связывал друг с другом все основные валюты. Было также ощущение — и оно соответствовало реальности — свободы передвижения и, следовательно, целых волн миграции. Как

3. Stefan Zweig, *The World of Yesterday: an Autobiography* (1942; Lincoln: University of Nebraska Press, 1964); Цвейг С. *Вчерашний мир: воспоминания европейца*. М.: Вагриус, 2004.

4. James Sheehan, *Where Have All the Soldiers Gone?: The Transformation of Modern Europe* (New York: Houghton Mifflin, 2008).

5. Цит. по: Marc Stears, *Progressives, Pluralists, and the Problems of the State: Ideologies of Reform in the United States and Britain, 1909–1926* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 2.

писал современник Цвейга венский банкир Феликс Зомари, родившийся в эпоху венского *fin-de-siècle*, «все барьеры, а также слова „заложник“ и „беженец“ казались нам принадлежащими далекой и давно преодоленной эпохе»⁶. Путешествия не представляли никакой трудности, и, по сути дела, в конце XIX в. паспортный контроль существовал только в Турции и России, причем регулированию подлежало только внутреннее передвижение (по мнению многих наблюдателей, Турция и Россия, а также Черногория не случайно оставались к 1900 г. единственными государствами, где все еще не было парламентов). В 1912 г. немецкий промышленник и политик Вальтер Ратенау заметил, что никогда прежде европейские народы не были столь близки друг к другу, никогда не посещали друг друга столь часто и никогда не знали друг друга столь хорошо.

Свобода передвижения была лишь одним из аспектов либерализма, веры в расширение свободы для всех, особенно если этот термин понимался прежде всего как «свобода от государства». По словам британского историка А. Дж. Тейлора, вплоть до августа 1914 г. «здравомыслящий, законопослушный англичанин мог прожить всю жизнь и не заметить присутствия государства, разве только в виде почты и полицейского». Граждане могли жить где угодно, не нуждались ни в удостоверениях личности, ни в паспортах и, что совсем немаловажно, могли покупать иностранную валюту (и товары) в любых количествах⁷. Джон Мейнард Кейнс добавлял: «такой порядок вещей казался ему [англичанину] нормальным и обеспеченным навсегда; он признавал возможность изменений разве только в смысле его усовершенствования, а всякое иное отступление считал ошибкой и скандалом, которых впредь не должно допускать». И далее: «проекты и политические планы милитаризма и империализма, расовое и культурное соревнование... были не более как развлечением, преподносимым ему в утренней газете; все это, по-видимому, не оказывало почти никакого влияния на обычный ход социальной и эко-

6. Felix Somary, *Erinnerungen eines politischen Meteorologen* (Munich: Matthes & Seitz, 1994), 97.

7. A. J. P. Taylor, *English History 1914–1945* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 1.

номической жизни, которая в ближайшем же будущем должна принять законченный интернациональный характер»⁸.

Европейские либералы не считали несовместимыми свободу передвижения товаров и индивидов через границы и свободу общественного самоопределения. Часто отмечается, что вплоть до Первой мировой войны царила в общем и целом нерушимая вера в прогресс, особенно в прогресс науки; ее сопровождала столь же твердая и фундаментальная вера либералов в то, что индивидуальное и коллективное самоопределение способны к гармоничному сосуществованию.

Но «коллективное самоопределение» имело весьма ограниченный смысл: государство, даже если оно играло сколько-нибудь важную роль, должно было обслуживать общество, а общество, в свою очередь, могло наилучшим образом сообщать о своих потребностях и пожеланиях через парламенты под руководством джентльменов, разбирающихся в общем благе: Эпоха Надежности была одновременно Эпохой Парламентаризма. Разумеется, выражать свое мнение могли лишь те слои общества, которые обладали правом голоса, а в большинстве европейских стран право голоса оставалось уделом немногих. Либералы полагали, что со временем, с повышением уровня образования и накоплением собственности, все больше людей будет получать такие права; тем же, у кого не будет ни того ни другого, нельзя доверять формирование правительства, поскольку они способны подорвать сами основания, на которых покоится Эпоха Надежности⁹. Таким образом, полная демократизация для либералов всегда была *теоретической* возможностью, хотя и допускалась в отдаленном будущем.

Но не все хотели ждать того момента, когда либералы сочтут людей достаточно богатыми или начитанными, чтобы позволить им участвовать в политике. По всей Европе в кон-

8. John Maynard Keynes, *The Economic Consequences of the Peace* (New York: Harcourt, Brace & Howe, 1920), 12; Кейнс Дж. М. *Общая теория занятости, процента и денег. Избранное*. М.: Эксмо, 2007. С. 469.

9. О широком обсуждении либералами предпосылок участия или «способности» (понятие, непосредственно ассоциируемое с Гизо) см.: Alan Kahlan, *Liberalism in Nineteenth-Century Europe: The Political Culture of Limited Suffrage* (New York: Palgrave, 2003).

це XIX — начале XX в. началась борьба за избирательное право и политическое представительство. Женщины требовали права голоса, сначала выходя на демонстрации, затем выступая с нападками на собственность (и на самих себя — объявляя голодные забастовки). Звучали заявления, что право голоса не должно зависеть от уровня доходов; официальное неравное распределение власти, вроде прусской системы из трех курий, ставившей получение политической власти в зависимость от способности человека платить налоги, выглядело все более возмутительным явлением. Получить право на выражение своего мнения стремились и этнические группы в составе широких многонациональных империй. А правящие элиты, имевшие наследственные политические привилегии, стали объектом нападков, как, например, в эпических баталиях 1911 г. по вопросу о палате лордов, которые привели к ослаблению власти британских аристократов.

Как либеральные, так и консервативные элиты полагали, что способны справиться с нараставшим общим кризисом представительной системы, затрагивавшим одновременно вопрос о том, кто должен иметь представительство и какого рода политические требования могли выставляться и согласовываться внутри политической системы в том виде, как она существовала¹⁰. Образцовым примером служила Италия, где либералы делали ставку на то, что смогут постепенно расширять избирательные права и одновременно не допускать социальных конфликтов, проводя стратегию *«transformismo»*, т. е. вовлечения в систему все большего числа групп, делясь с ними властью, а также, что еще важнее, раздавая им должности и вынуждая к смягчению позиций. Поэтому они предоставили избирательное право крестьянам — пункт о грамотности был отменен в расчете на то, что крестьяне будут вести себя тихо или, во всяком случае, не выйдут из-под контроля. Джованни Джолитти, либерал и отец-основатель *«transformismo»* (и изобретатель

10. Charles S. Maier, *Political Crisis and Partial Modernization: the Outcomes in Germany, Austria, Hungary, and Italy after World War I* // Charles L. Bertrand (ed.), *Revolutionary Situations in Europe, 1917–1922: Germany, Italy, Austria-Hungary* (Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1977), 119–39.

самого термина), разъяснял еще в 1901 г.: «Не следует обманываться, низшие классы все равно получают свою долю экономического и политического влияния, и помешать этому невозможно. На защитников существующих институтов возложена одна, самая важная, обязанность: доказывать этим классам на фактах, что существующие институты дадут им больше, чем любые фантазии о будущем»¹¹. Эта трансформация через кооптацию имела мало общего с чем-то вроде ответственного кабинета, формируемого сплоченной либеральной партией, как, например, это происходило в Великобритании. В Италии вплоть до начала 1920-х гг. никакой либеральной партии не было, существовала лишь горстка аристократов, называвших себя либералами.

На практике в расширении избирательного права и наделении парламентов властью особого параллелизма не наблюдалось¹². Не было и параллельного роста парламентского профессионализма. Несмотря на то что законодательные органы в целом осуществляли все более эффективный контроль над исполнительной властью, их состав не обязательно пополнялся все более профессиональными политиками. Страны на европейской периферии, казалось, тоже имели либеральные законодательные органы, но де-факто их контролировали аристократы и джентльмены-администраторы, создававшие *ad hoc*-коалиции с целью собственного избрания и использовавшие власть на местах для того, чтобы, как в Италии, держать под контролем группы, недавно получившие избирательные права. Тем не менее, хотя недовольство такой демократией нарастало даже в развитых европейских странах, сохранялось ощущение, что требования политического участия будут выставляться в спокойной и мирной форме, и по сути они не угрожали Эпохе Надежности.

В дополнение к надеждам на продолжение мира и прогресса имелась третья интуиция, лежавшая в основе эпохи. Ее можно назвать верой в конечную европеизацию мира в смысле европейского господства над миром и глобаль-

11. Цит. по: Sheri Berman, *The Primacy of Politics: Social Democracy and the Making of Europe's Twentieth Century* (New York: Cambridge University Press, 2006), 53.

12. Jürgen Osterhammel, *Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts* (Munich: Beck, 2009), 849.

ного признания европейской цивилизации в качестве образца для подражания¹³. Европейцы (согласно этой вере) властвовали над другими частями мира ради их же блага, а не ради выгод, извлекаемых из этого «старым континентом». По словам французского писателя Поля Валери, «где бы это [европейское] сознание ни господствовало, везде мы видим... максимум *труда, капитала и производства, максимум амбиций и власти, максимум преобразования окружающей природы и максимум связей и обменов*»¹⁴. Этот бесовский комплекс превосходства *Ното еуропаеус* (как его называл Валери) продолжал существовать не в последнюю очередь потому, что другие народы с готовностью признавали верховенство Европы. Как сетовал Уильям Джемс, «кажется естественным, что мы молчим, когда говорят европейцы. Мы пока не научились говорить так, чтобы европейцы нас слушали»¹⁵.

Итак, какие бы политические вызовы ни порождала Эпоха Надежности, казалось, что они могут быть преодолены в Европе — надежном порядке, возведенном на базе национальных государств, постоянно либерализируемых и демократизируемых (хотя и с разной скоростью). В довоенный период в Европе не было диктаторов. Леонард Вулф замечал: «Кажется, человеческие существа действительно готовы стать цивилизованными».

Однако существовало и совершенно другое, не вполне либеральное (и в любом случае не демократическое) понимание эпохи. Отмечая практически полное завершение цивилизационного процесса, Вулф тут же добавлял, что «силы варварства и реакции никуда не делись» (хотя и явно «отступили») ¹⁶. И действительно, нейтральный наблюдатель в 1911 г. (год, о котором писал Вулф) мог без труда заклю-

13. Вера, основывавшаяся также просто на числах: в 1914 г. европейцев в мире пропорционально было больше, чем когда-либо до или после этого.

14. Paul Valéry, *The European* // Paul Valéry, *History and Politics*, trans. Denise Folliot and Jackson Matthews (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), 307–23; here 323.

15. William James, *The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature* (1902; New York: Modern Library, 2002), 3.

16. Leonard Woolf, *Beginning Again: An Autobiography of the Years 1911 to 1918* (New York: Harcourt, Brace & World, 1964), 36.

читать, что самым вероятным сценарием будущего являются не либеральные национальные государства и надежный международный порядок, а великие соперничающие империи — самая очевидная особенность мировой сцены начала столетия. Империи казались главным и даже очевидным способом организации человечества: могущественные Российская и Германская империи, менее сильные Габсбургская и Османская империи, стоящий на отшибе под контролем европейских держав Китай, тоже империя в полном смысле этого слова, наряду с ними — колониальные империи Франции и Великобритании, а также менее крупных западноевропейских стран, таких как Бельгия, Португалия и Нидерланды. Бельгия, например, располагала империей, по площади в 80 раз больше ее самой (Британская империя была больше Великобритании в 140 раз). Некоторые страны видели себя не иначе, как в этом имперском образе: немцы говорили о себе как о *Reichsvolk*, призванном стать всемирным *Weltvolk*; граф Сергей Витте, премьер-министр при Николае II, заявлял, что нет никакой России, а есть Российская империя¹⁷.

Нейтральный наблюдатель мог заключить также, что на самом деле соперничающими политическими формами являются не империи и национальные государства, а два типа империй, соревнующихся между собой за свое превосходство: с одной стороны старые, состоявшиеся национальные государства с обширными заморскими колониальными предприятиями (и сопровождавшими их «цивилизаторскими миссиями»), а с другой — континентальные империи, иначе говоря, страны с большой территорией. Различие можно было бы сформулировать так: *иметь* империю и *быть* империей¹⁸. Последний тип почти всегда отличался высокой степенью авторитаризма и имел сильную религиозную подоплеку в подаче себя внешнему миру. Османская

17. Этой мыслью я обязан Ивану Крастеву. О российско-немецких параллелях в этом отношении см.: Gerd Koenen, *Der Russland-Komplex: Die Deutschen und der Osten 1900–1945* (Munich: Beck, 2005), 15–16; Кенен Г. *Между страхом и восхищением. «Российский комплекс» в сознании немцев. 1900–1945*. М.: РОССПЭН, 2010. С. 26.

18. Charles S. Maier, *Among Empires: American Ascendancy and its Predecessors* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006), 5.

империя твердила о халифате, но была также и концепция Святой Руси как «третьего Рима», а немцы после объединения считали себя наследниками Священной Римской империи¹⁹. Во всех этих континентальных империях существовали силы, настаивавшие на экспансии: панславизм, пангерманизм и пантуранизм, и везде для оправдания монархии и империи использовался религиозный язык. Противники империй не оставили без внимания этот факт. Как отмечал Томаш Масарик, философ, политик и в конечном итоге первый президент Чехословакии, «аристократия — это олигархия, и особой формой олигархии является монархия, понимаемая... в теократическом плане»²⁰.

Соперничество между национальным государством как политической формой и империями двух типов можно было воочию наблюдать в самом сердце Европы. Объединение Германии в 1871 г. по меньшей мере частично оправдывалось принципами национализма. И тем не менее Германия называла себя империей, и на то были свои причины: объединение было осуществлено Пруссией в квазиимперском духе, и в новой стране проживали значительные по численности этнические меньшинства. Подобно всем империям, она имела размытые рубежи (особенно на востоке — с Польшей) вместо четко проведенных границ. Но главное, что она вела себя одновременно и как континентальная империя, и как национальное государство с колониальными амбициями. Империалистическая политика проводилась для того, чтобы укрепить национальный статус внутри страны: *Weltpolitik* служила целям *Innenpolitik* в государстве более сильном, чем его соседи, но все же недостаточно сильном, чтобы над ними господствовать. Эти немецкие особенно

19. Различие между демократизацией колониальных империй и демократизацией авторитарных континентальных империй носило в том числе и структурный характер: первые могли иметь больше демократии или конституционализма в центре, не затрагивая колоний; такая форма апартеида была невозможна для империй, части которых примыкали друг к другу. См.: Ronald Grigor Suny, *The Empire Strikes Out: Imperial Russia, «National» Identity, and Theories of Empire* // Ronald Grigor Suny and Terry Martin (eds), *A State of Nations: Empires and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin* (New York: Oxford University Press, 2001), 23–66.

20. Tomáš Masaryk, *The New Europe — The Slav Standpoint*, ed. W. Preston Warren and William B. Weist (1918; Lewisburg, Pa.: Bucknell University Press, 1972), 47.

сти превращались во все более серьезный источник нестабильности. Германия оставалась серьезной «проблемой», во многом главной геополитической и идеологической проблемой на протяжении почти всего XX в.

Помимо отмечавшейся наблюдателем прочности империй и даже их процветания, в 1911 г. или примерно в это время проявилась еще одна поразительная особенность, общая для всей Европы: непоколебимая легитимность монархии и старых феодальных и аристократических режимов. Когда всего через несколько дней после наступления нового века умерла королева Виктория, на ее похороны прибыли два императора, три других суверена, девять кронпринцев и наследников престола, сорок принцев и великих герцогов²¹. Личные качества этих людей ничего не значили; значение имела, по словам Вебера, «харизма крови», которую они наследовали и должны были передать своим детям, чтобы не допустить политических неурядиц. В становившихся все более сложными режимах правили бюрократы, а не члены королевской семьи (если отвлечься от того, что наиболее влиятельные бюрократы и военные происходили из земельной аристократии, легитимность которой обеспечивала все та же монархия). Даже в Великобритании первое правительство, в кабинете которого не было аристократического большинства, появилось лишь в 1906 г.²²

В Европе продолжало существовать международное сообщество семей королевской крови (за которым как тень следовало международное сообщество заговорщиков и убийц), и монархии оставались очевидным способом организации и легитимации правления. Когда в 1913 г. великие державы договорились создать независимую Албанию, как само собой разумеющееся было решено поставить во главе нее (германского) принца. Монархи рекрутировались из целой резерв-

21. J. M. Roberts, *Twentieth Century: A History of the World from 1901 to the Present* (London: Allen Lane, 1999), 9. В терминах двух (в теории взаимоисключающих) веберовских категорий: порождая легитимность, монархия сочетала традицию и наследственную либо институционализированную харизму. Более автократические типы тяготели к первому варианту, а современные, занимающиеся саморекламой, — ко второму.

22. Arno J. Mayer, *The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War* (New York: Pantheon, 1981), 153.

ной армии безработных или частично безработных принцев (очень часто германских), которые были просто счастливы возглавить Грецию, Румынию или Болгарию.

Господство монархии как формы легитимации по-своему способствовало атмосфере стабильности и надежности. По словам журналиста Уолтера Бэджета, наряду с «религиозной санкцией» в качестве «трансцендентного элемента» монархия подтверждала и увековечивала существующий политический строй; в случае Великобритании, писал редактор *Economist* и ведущий специалист по британской конституции, она служила также цели одурачивания масс, заставляя их думать, что по крайней мере один человек (иногда одна женщина) всегда остается на своем месте. Как замечал Бэджет, «самая веская причина считать монархию сильной формой правления состоит в том, что это понятное правление. Масса ее понимает, и вряд ли где-то еще в мире масса понимает что-либо другое. Часто говорят, что воображение правит людьми, но правильнее было бы сказать, что людьми правит недостаток воображения»²³.

Как и в случае с империями, в действительности существовали два типа монархии. С одной стороны, это были парламентские монархии, которые вели свое происхождение из доктрин божественного права, страстно пропагандировавшихся монархистскими мыслителями в период после Французской революции²⁴. Монархи этого типа, например все, кто занимал британский престол после королевы Виктории (которая все еще считала свою власть «даром Божьим»), преподносили себя как никогда скромно, в качестве слуг своего народа и символов национального единства. Таким образом, не будучи демократами в электоральном смысле, они все же думали о том, как понравиться народу. В десятилетия перед Первой мировой войной «монархическая традиция» обновлялась или во всяком случае совершенствовалась с тем, чтобы производить наилучшее впечатление на публику. Впервые монархия стала товаром «массового

23. Walter Bagehot, *The English Constitution*, ed. Paul Smith (1865; Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 34.

24. В дальнейшем изложении я опираюсь на Hermann Heller, *Der monarchische Ideenkreis* // Hermann Heller, *Die politischen Ideenkreise der Gegenwart* (Breslau: Hirt, 1926), 22–47.

производства», а личная харизма фабричной продукцией²⁵. Разумеется, короли всегда должны были внушать благоговение и восхищение, однако теперь пытались делать это, прибегая к современным средствам связей с общественностью. Мыслители же, которые их поддерживали, апеллировали не к божественному праву или каким-то особым политическим заслугам, но к (зачастую выдуманной) традиции и особым национальным интересам²⁶. Короче говоря, легитимность монархии обосновывалась ее полезностью в деле сохранения единства нации или империи.

Популярность, которой добивались (и часто достигали) конституционные монархи, свидетельствовала не о возросшей силе, а о постепенном ослаблении их политического влияния²⁷. Как и предсказывал Бэджет, «чем демократичнее мы становимся, тем больше любим государство и устраиваемые им спектакли, которые всегда доставляют удовольствие простому народу»²⁸. И действительно, первопроходец в деле популяризации королевской власти — британская монархия в конечном итоге достигла того, что историк Дэвид Каннадин назвал «олимпийской вершиной эффективной и выгодной всем сторонам импотенции»²⁹.

С другой стороны, оставались монархи — в частности, во главе континентальных империй, — которые все еще верили в божественное право; на их взгляд, конституции, если они вообще в этих государствах имелись, были не более чем «клочками бумаги» (печально известное выражение прусского короля Фридриха Вильгельма IV). Для них пышные зрелища и pompa были не инструментами завоевания популярности внутри страны, но символическим оружием в международном соперничестве императоров. И что еще

25. Francis Oakley, *Kingship: The Politics of Enchantment* (Cambridge, Mass.: Blackwell, 2006), 135.

26. Wolfgang Reinhard, *Geschichte der Staatsgewalt* (Munich: C. H. Beck, 1999), 429–30.

27. David Cannadine, *The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the «Invention of Tradition», ca. 1820–1977* // Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds), *The Invention of Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 101–64.

28. Цит. по: *ibid.*, 122.

29. *Ibid.*, 116.

важнее, эти монархи считали свои государства и империи, по сути, личной собственностью, «совокупностью земель, находящихся во владении семьи»³⁰. В частности, в России это представление подкрепляло монархический стиль правления, который основывался на той посылке, что подданные по своей природе — враги господ³¹. Николай II считал Россию большим поместьем, в котором царь — хозяин, дворяне — управляющие, а работники — земледельцы. В ходе всеобщей переписи 1897 г. он сделал логичный шаг, записав себя в графе «род занятий» «землевладельцем»³². «Император и Самодержец Всероссийский» неоднократно отвергал и даже высмеивал «бессмысленные мечтания» об участии народа в делах управления³³.

Прощание с большей частью всего этого

Первая мировая война поставила под вопрос все без исключения институциональные структуры и все политические идеи (и даже моральные интуиции), на которых покоилась Эпоха Надежности. Не могло оставаться прежним и оптимистическое либеральное мировоззрение. Однако еще больше пострадала вера в его авторитарную альтернативу. Династическое правление и божественное право просто исчезли как приемлемые средства легитимации политического правления. А война стерла с карты все четыре великие континентальные империи: Германскую, Габсбургскую, Российскую и Османскую.

Континентальные империи были не только в той или иной степени авторитарными режимами — все они представляли собой многонациональные образования. И как таковые они не вызывали во время войны никакого чувства лояльно-

30. Roberts, *Twentieth Century*, 161.

31. *Ibid.*, 163.

32. Gert Maak, *In Europe* (London: Vintage, 2008), 169 и Mayer, *Persistence*, 146.

33. Richard Pipes, *Russian Conservatism and its Critics: A Study in Political Culture* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2007), 167; Пайпс Р. *Российский консерватизм и его критики: исследование политической культуры*. М.: Новое издательство, 2008. С. 213.

сти со стороны различных входивших в их состав народностей. Наиболее ярким примером служила Габсбургская империя, в которой вражда народов привычно сдерживалась не столько с помощью спускавшегося сверху наднационального рейхспатриотизма, сколько через деполитизацию межэтнических отношений (а иногда — через стравливание этнических групп). Кайзер Франц Иосиф, любивший говорить о своих «народах», настаивал на верности своей семье и призывал других к тому же. В мирное время этого было достаточно, и простой инерции (и хорошо функционировавшей бюрократии) хватало для сохранения порядка. По словам Роберта Музиля, «Какания» (т. е. Габсбургская империя) была государством, в котором «ты был негативно свободен, постоянно испытывая чувство недостаточности причин для собственного существования»³⁴. Война выявила, что империя в целом в глазах составлявших ее народов не имела достаточных причин для своего существования, несмотря на экономические выгоды. Имперский патриотизм оказался фикцией, и даже в большей степени, чем опасались его приверженцы.

Недееспособной перед лицом императивов великодержавной политики оказалась и сама международная монаршая семья. Кайзер «Вилли» и царь «Ники» не сумели предотвратить войну, хотя пытались это сделать в личном общении (а английский король Георг V отказался предоставить «кузену Ники» убежище после его свержения с трона в 1917 г.). Под конец войны не вполне конституционные монархи растеряли всю остававшуюся у них ауру: теперь ими открыто заправляли их собственные политики и военные. Деятели вроде генерала Людендорфа в Германии вели себя как диктаторы, и не только в присутствии кайзера (например, когда Людендорф громогласно заявил, что «немецкий народ для меня важнее императора»), но все чаще и на публике³⁵. После XVIII в. монархи перестали сами вести в бой армии, а если все же делали это, то последствия оказывались катастрофическими. Наглядным примером стали действия царя Николая II, который распустил Думу и принял коман-

34. Robert Musil, *Der Mann ohne Eigenschaften*, ed. Adolf Frisé (Reinbeck: Rowohlt, 2002), 35: «Der Staat, der sich selbst irgendwie nur noch mitmachte».

35. Koenen, *Der Russland-Komplex*, 132–133; Кенен Г. *Между страхом и восхищением*. С. 146.

дование армией, прямо связав себя с поражением на поле боя³⁶. Таким образом, когда монархи бездействовали, они выглядели неэффективными, а когда действовали, то обнаруживали свою некомпетентность.

Даже в их столь разных отречениях не было ничего достойного или героического. Вильгельм II перевез свое имперское имущество в голландскую ссылку в 95 грузовых вагонах, которые тянули пять локомотивов, и выглядел при этом не сувереном монаршей крови, а мелким буржуа, цепляющимся за свой жалкий скарб. Николай II отрекся в пользу своего брата Михаила (отказавшегося от предложенного трона) вместо собственного сына — и это нарушение закона о престолонаследии стало еще одним доказательством того, что царь искренне считал трон своей личной собственностью, а не безличным постом, предполагавшим объективные обязанности³⁷.

Харизма, как в то время считал Вебер, должна была все время себя подтверждать, однако многие монархи с этим просто не справились³⁸. Огромные потери в легитимности понесли не только сами формы государственного управления. Разрушена, или во всяком случае сильно расшатана, была вся система отношений почитания и четких феодальных или квазифеодальных иерархий. Легитимность утратили не только монархи, но и аристократы, которые в целом сносно перенесли XIX в., продолжая цепляться за власть и привилегии. Пострадал и кодекс чести, отличавший их от черни. Вспоминаются сражающиеся на войне аристократы Рауфенштайн и де Болдьё в «Великой иллюзии» Жана Ренуара: они признают и чтят друг друга, оставаясь врагами, но понимают, что их войне — своего рода войне личностей — приходит конец³⁹.

36. Очевидным контрпримером служит Альберт I Бельгийский, который превратился в героя, оставшись в стране и возглавив армию в борьбе с немцами.

37. Harold James, *Europe Reborn* (Harlow: Pearson Longman, 2003), 57.

38. По замечанию Ханны Арендт, «со времен Первой мировой войны мы почти непроизвольно полагаем, что ни одно правительство и ни одно государство или форма правления не являются достаточно сильными, чтобы уцелеть после поражения в войне».

39. Но во власти были и гораздо более приземленные и откровенно лживые фигуры, такие как пламенный националист (и до мозга костей лице-

Разумеется, монархисты существовали и после 1919 г. Но крупных теоретиков монархии, таких, например, как искусенные защитники королевской власти Фридрих фон Шталь или Шарль Моррас, больше не появлялось. В сохранившихся монархиях королей все чаще рассматривали как гарантов национального единства. В Великобритании (помимо Италии — последней монархии, сохранившейся в крупной стране после войны) Георга V приветствовали прежде всего как настоящего «народного короля», когда он проезжал по Лондону на машине с открытым верхом.

И только одно из центрально- и восточноевропейских государств-наследников оказалось монархией — это была Югославия. И только одна монархия была образована в период между войнами — это была Албания во главе с королем Зогу, эксцентричным самопровозглашенным президентом-монархом, не имевшим вообще никакой заслуживающей доверия родословной. Зогу не доверял приготовление пищи никому, кроме своей матушки, и не выходил без нее на улицы Тираны.

Итак, впервые в европейской истории республики стали правилом, а не исключением. В результате, по словам британских мыслителей Дж. Д. Г. Коула и Маргарет Коул, европейцам пришлось окунуться «в оргию конституционного творчества»⁴⁰. Многие составители конституций считали одной из главных проблем стабилизацию, которая могла бы обойтись без монархического «трансцендентного элемента». По сути дела, далеко не очевидными представлялись и принципы составления конституций. В частности, не слишком котирировалась либеральная идея в ее *laissez-faire*-версии XIX в. Больше того, война положила конец эпохе свободы от государства; она потребовала беспрецедентной мобилизации населения — никогда ранее в Европе не было таких огромных армий — и беспрецедентного усиления государственной власти. То, что Людендорф первым назвал «тотальной войной», означало прежде всего тотальную мобилизацию людей и денег, а также — после того

мер) школьный учитель в романе Ремарка «На западном фронте без перемен».

40. G.D.H. Cole and Margaret Cole, *The Intelligent Man's Review of Europe Today* (New York: Alfred A. Knopf, 1934), 385.

как война приняла затяжной характер, — мобилизацию гражданских лиц. По словам Тейлора, «огромное количество людей впервые стали активными гражданами. Их жизнь регулировалась приказами свыше: они должны были служить государству, а не заниматься своими собственными делами. Пять миллионов человек вступили в армию, многие (хотя и меньшинство) в принудительном порядке. Рацион питания англичанина был урезан, качество пищи ухудшено. Свобода передвижения ограничена, условия труда четко прописаны... Публикация взглядов заключена в строгие рамки. Освещение улиц притушено, священная свобода питья урезана, продажа спиртного ограничена, пиво разбавлено. Даже время было изменено переводом стрелок на часах... Государство установило над гражданами контроль, который, хотя и был смягчен после окончания войны, все же так и не был до конца отменен... Впервые история английского народа и история английского государства слились в единое целое»⁴¹.

Государство слилось и с экономикой в прежде невиданных масштабах. В Германии промышленное производство достигло высокого уровня концентрации — де-факто привело к появлению картелей — и координировалось министерствами. Представителей трудящихся призвали к участию во всеобъемлющем планировании. Переговоры между капиталом и трудом получили публичную институциональную форму и иногда регулировались государством⁴². Некоторые наблюдатели начали говорить об «организованном капитализме». По мнению других, объект наблюдения вообще перестал быть капитализмом. Австрийский марксист Карл Реннер с восторгом замечал «социализм везде, куда ни кинь взгляд»⁴³. О «военном социализме» речи не было, но, вне всяких сомнений, общественная и экономическая жизнь в государствах вышла на уровень более строгой регуляции. То же самое происходило и с межгосударственными

41. Taylor, *English History*, 2.

42. Daniel T. Rodgers, *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998), 281.

43. Цит. по: Henry Pachter, *The Fall and Rise of Europe: A Political, Social, and Cultural History of the Twentieth Century* (Newton Abbot: David & Charles, 1975), 91.

отношениями. После 1918 г. все европейские страны потребовали, чтобы граждане имели при себе паспорта.

И все же усиление власти государства вызывало не только страх из-за ограничения свободы индивидов. Возникало и другое ощущение — новых общественных и политических возможностей. Линия, четко разграничивающая государство и общество, всегда была фикцией, а теперь начали размываться даже самые нечеткие границы, если они вообще когда-либо существовали. Представление об образованных и «ответственных» слоях общества, благоразумно артикулирующих свои интересы через основанные на очень ограниченном избирательном праве парламенты, уступило место идее использования государства обществом в целом для фундаментальной трансформации самого себя. Это происходило прежде всего в странах, где образование сильного бюрократического государства предшествовало любым попыткам демократизации и расширения гражданства, т. е. почти во всей континентальной Европе (но не в Великобритании и не в Соединенных Штатах, где основы электоральной демократии были заложены еще до начала современного государственного строительства).

Итак, в большинстве этих стран произошло существенное расширение избирательных прав; к голосованию были допущены не только массы мужского населения, но и другая половина человеческого рода (или по крайней мере отдельные наиболее опытные и образованные ее представители). Перед войной женщинам было позволено голосовать только в Финляндии и Норвегии. В 1918 г. Великобритания ввела всеобщее избирательное право для мужчин, а также для женщин после тридцати лет (тем самым отказав в правах женщинам, наиболее интенсивно работавшим на победу в войне). В 1919 г. первая женщина была избрана в один из европейских парламентов. Это была леди Астор, ставшая членом палаты общин. Еще через пять лет датский политик социал-демократического толка Нина Банг стала первой женщиной-членом кабинета в Европе (министром образования).

А что же происходило с либералами, опасавшимися расширения избирательных прав? Либералы потерпели почти полное поражение в попытках создать новую форму государственности для наступающей эпохи «массовой жизни»

(как ее называл немецкий либерал Фридрих Науманн). Вместо этого они начали сетовать на подъем «масс». Это общее место в межвоенной критике культуры получило весьма тонкое и влиятельное выражение в работах испанского либерального философа Хосе Ортеги-и-Гассета. В 1930 г. Ортега писал, что «города переполнены. Дома переполнены. Отели переполнены. Поезда переполнены. Кафе уже не вмещают посетителей. Улицы — прохожих. Приемные медицинских светил — больных. Театры, какими бы посредственными ни были спектакли, ломаются от публики. Пляжи не вмещают купальщиков. Становится вечной проблемой то, что прежде не составляло труда — найти место»⁴⁴.

«Массы» вызывали беспокойство не количеством, а своими качествами. «Массовый человек» отличался в первую очередь тем, чего ему недоставало, т. е. отсутствием качеств рациональности и сдержанности, присущих старому доброму либеральному «Я» XIX в. И даже хуже. «Массовый человек» начинал брать в свои руки рычаги государственной власти и современную технологию, что, в свою очередь, делало «массы» еще более однородными. Государство, «машина» и «массы» почти неизбежно воспринимались как одна и та же совокупная угроза. Ортега предостерегал, что «диктат Государства — это апогей насилия и прямого действия, возведенных в норму. Масса действует самовольно, сама по себе, через безликий механизм Государства»⁴⁵. В такого рода заявлениях либерализм разоблачал себя как квазиаристократический подход к политике, просто не способный совладать с массовой демократией, или тем, что Ортега называл призраком «гипердемократии».

Однако, если отставить в сторону эстетское презрение к обычным людям, непреложным фактом оставалось то, что

44. Jose Ortega y Gasset, *The Revolt of the Masses*, anonymous trans. (1930; New York: Norton, 1957), 11–12; Ортега-и-Гассет Х. *Восстание масс*. М.: АСТ, 2008. С. 16.

45. Там же. С. 115. Антилибералы, впрочем, были также склонны ассоциировать технологию с либерализмом, о чем свидетельствует заявление румынского писателя Мирчи Элиаде в 1927 г.: «мы желаем победы тем ценностям, которые не имеют своим источником политическую экономию, технологию или парламентаризм». Цит. по: Marta Petreu, *An Infamous Past: E. M. Cioran and the Rise of Fascism in Romania*, trans. Bogdan Alea (Chicago: Ivan R. Dee, 2005), 4–5.

во многих частях континента в политику вступили новые группы и классы. В Центральной и Восточной Европе на политическую сцену впервые вышло крестьянство, его мобилизация породила недвусмысленно «аграрную» идеологию. В Болгарии крестьянский лидер Александр Стамболийский даже возглавил правительство, провел масштабное перераспределение земель и попытался создать «зеленый интернационал». В отношении крестьян сохранялись и поддерживались предрассудки, питаемые пугающей перспективой дальнейшего усиления «аграриаризма». Румынский писатель Эмиль Чоран сетовал на толпы в Бухаресте — «крестьяне остаются крестьянами даже в столице» — и не скрывал мыслей о вечных «крестьянах, влюбленных в собственную неподвижность и блещущих тупоумием»⁴⁶. Стамболийский был убит в 1923 г., ему отрубили руки и уши, а отделенная от туловища голова была отослана в Софию. В конечном итоге ни одна страна, кроме Чехословакии — которая в любом случае уже провела индустриализацию, — не сумела интегрировать крестьян в функционирующую демократию.

Итак, новые группы требовали как представительства в национальной политике, так и собственной доли в распределении национальных ресурсов (либо, соответственно, отказывались нести свою часть бремени военных расходов). Многим наблюдателям казалось, что с приходом в политику новых групп государствам придется заняться более активным объединением входящих в них народностей. Имелся и теоретический принцип, способный, по крайней мере косвенно, оправдать такой подход: это была норма национального самоопределения.

Либеральные революции без либералов

Уильям Джемс называл войну «забрызганной кровью нянькой, приучающей общество к единству». Идеал национального единства невзирая на классовые различия — в форме ли французского *union sacrée* или немецкого *Burgfrieden* — стимулировал борьбу за демократию и в конечном счете спо-

46. Цит. по: *ibid.*, 6.

собствовал успешному осуществлению демократических требований. Но национализм не вполне соответствовал нанесенным на карту границам старых или вновь образованных государств. В теории послевоенный период — после крушения великих континентально-религиозных империй — должен был стать триумфом принципа национального самоопределения. На практике же все вылилось в сознательные попытки построения государств с максимально однородным, по критериям этноса и языка, населением. И все делалось во имя демократии. Как писал Масарик, «великие, многонациональные державы принадлежат прошлому, той эпохе, когда физическая сила была решающей, когда национальный принцип еще не был признан, поскольку не была признана демократия»⁴⁷. Четырнадцать пунктов президента Вудро Вильсона вызвали переворот в государственном строительстве, сыгравший не менее важную роль, чем русская революция. Поддержанные вновь образованной Лигой Наций нормы национального самоопределения и государственности, основанной на однородном населении, должны были стать прямой альтернативой идее «европейского концерта», альтернативой, которую президент Вильсон «навязывал упрямым европейским политикам... со всем либеральным пылом принстонского ученого-политолога»⁴⁸. Макс Вебер не мог скрыть удивления «странным поворотом мировой судьбы — первым подлинным правителем мира» оказался профессор⁴⁹.

Таким образом, у либерализма в духе XIX в. в конце концов все же имелось одно достижение, если забыть о мнимой либеральной революции Вильсона, ставшей, по неосторожному выражению лорда Керзона, призывом к «разъединению народов». В практическом смысле это часто понима-

47. The Problem of Small Nations and States, the Federation of Small Nations (1918) // Zdenka and Jan Munzer (eds), *We Were and We Shall Be: The Czechoslovak Spirit through the Centuries* (New York: Frederick Ungar, 1941), 152–8; here 153.

48. Eric Hobsbawm, *Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991* (London: Abacus, 1995), 34; Хобсбаум Э. *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)*. М.: Независимая газета, 2004. С. 45.

49. Цит. по: Marianne Weber, *Max Weber: Ein Lebensbild* (1926; Heidelberg: L. Schneider, 1950), 673.

лось как приглашение к физическому или по меньшей мере психологическому насилию: угрозам, запугиванию, насильственным депортациям и даже убийствам. Как заметила русская писательница Надежда Мандельштам, «насильственное переселение — это нечто абсолютно новое, принесенное нам XX веком». Она объяснила также, что именно это означало на практике: «Всякое насильственное переселение — классов и национальностей — вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мёрли, как мухи»⁵⁰.

«Разъединить» даже одного-единственного человека было непросто. Например, что было делать с такими людьми, как писатель Эдён фон Хорват, который, отвечая на вопрос, какая страна является его родиной, сказал: «Отвечаю: я родился в Фиуме, рос в Белграде, Будапеште, Прессбурге, Вене и Мюнхене, у меня венгерский паспорт; но у меня нет отечества, я одновременно мадьяр, хорват, немец и чех; моя страна — Венгрия, мой родной язык — немецкий»⁵¹. Де-факто реорганизация Европы свелась к созданию ряда мнимо республиканских национальных государств с входившими в их состав весьма значительными по численности меньшинствами. Треть населения Польши не говорила по-польски, в только что выросшей территориально Румынии проживал миллион венгров, а некоторые государства появились в результате того, что Эрик Хобсбаум называл «политически вынужденным браком», — в частности, Чехословакия и в недалеком будущем страна, известная как Югославия. Всего Парижские договоры дали собственные государства 60 миллионам человек, но одновременно превратили 25 миллионов в меньшинства. Ни малые, ни большие народы не верили ни в ассимиляцию, ни даже в компромисс, который, согласно, например, Масарику, составлял саму суть демократии⁵². В теории меньшинства должны были находиться под защитой коллективных прав. Однако такая защита не была пред-

50. Nadezhda Mandelstam, *Hope against Hope: A Memoir*, trans. Max Hayward (1970; New York: Modern Library, 1999), 98; Мандельштам Н. *Воспоминания*. М.: Согласие, 1999. С. 116.

51. Цит. по: Mark Mazower, *Dark Continent: Europe's Twentieth Century* (London: Allen Lane, 1998), 43.

52. Zwi Batscha, *Eine Philosophie der Demokratie: Thomas G. Masaryks Begründung der neuzeitlichen Demokratie* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1994).

усмотрена общим урегулированием в Парижских договорах. По настоянию британцев, обеспокоенных юридическими последствиями договоров для своей собственной империи, это было закреплено в двусторонних договорах и тем самым сделало меньшинства весьма уязвимыми перед превратностями политики великих держав⁵³. Страны-победители не признавали за меньшинствами особого корпоративного статуса, и было совершенно непонятно, на кого же все-таки распространяется защита: на объединения или на индивидов. С другой стороны, с точки зрения больших народов, все более привлекательными казались альтернативные решения проблемы недовольных меньшинств. Лозаннский договор 1923 г. создал прецедент в легитимации «обмена населением». В результате около миллиона христиан были вынуждены покинуть Турцию и переселиться в Грецию, а примерно 350 тысяч мусульман перебрались из Греции в Турцию. «Обмены» или, выражаясь не столь изысканно, переселения казались простым способом полного осуществления нормы национального самоопределения, или, как выразился Вильсон в речи перед конгрессом, явили собой «императивный принцип действия».

На периферии Европы находилась страна, показавшая пример того, что на практике означает этот императивный принцип. В ней «сверху» был введен культурный консенсус и устроена культурная революция, обошедшаяся без революции социальной. Этой страной была Турция, которая попыталась использовать государство для того, чтобы получить однородное в национальном отношении население, и сделала это, пусть номинально, во имя либеральных ценностей, таких как прогресс и разум. Впрочем, достигнутый результат вряд ли можно было назвать либеральной демократией.

Кемаль Ататюрк читал Руссо и французского философа XIX в. Огюста Конта и заключил, что достижения западноевропейцев объясняются, по общему мнению, полным отделением государства от церкви⁵⁴. Вместе с собранной

53. Eric D. Weitz, *From the Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions* // *American Historical Review*, vol. 113 (2008), 1313–43.

54. Как правило, после 1919 г. невзирая на границы потоком шло копирование и незаконное присвоение конституций и государственных прак-

им группой советников и бюрократов, которых он называл «людьми будущего», Ататюрк начал культурную революцию, черпавшую вдохновение в антиклерикальном французском республиканизме. Мужчины должны были снять феску, которая, как заявил в 1927 г. Ататюрк, «является для нашей нации символом невежества, некомпетентности, фанатизма и ненависти к прогрессу и цивилизации»⁵⁵. Кроме того, подавлялись все проявления «народного» ислама, дервишей бросали в тюрьмы, некоторых из них казнили. Ататюрк утверждал, что «есть разные страны, но лишь одна цивилизация. Предпосылкой прогресса нации является участие в этой цивилизации»; новообразованная Турецкая Республика должна «доказать свою цивилизованность»⁵⁶. В том же духе вместо шариата в массовом порядке были введены итальянское уголовное и швейцарское гражданское право, а арабский алфавит заменен на латиницу.

Чтобы оправдать все эти меры, Ататюрк в конце концов провозгласил в качестве государственных принципы национализма, лаицизма, республиканизма, популизма, революционизма и, не в последнюю очередь, этатизма (последний, как это ни удивительно, стал полноправным словом турецкого языка). Символами этих принципов стали шесть стрел, а их соблюдение контролировал сам Ататюрк, имя которого буквально означает «отец турок» — титул, которым его удостоил парламент. На Западе им восторгались, одна за другой выходили книги о «сером волке» и «невероятном Ататюрке», что свидетельствовало о восхищении беспощадной трансформацией общества «сверху», в частности потому, что это заметно отличалось от политики переговоров и, как многим казалось, слабого государства, существовавшей в Западной Европе. Турецкий эксперимент

тик. Румынская конституция, например, была составлена по образцу французской, а албанская конституция взяла за основу американскую (хотя обычно вносились модификации: албанский президент был легко и просто наделен неограниченной властью).

55. Цит. по: Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey* (New York: Oxford University Press, 1968), 268; см. также: Paul Dumont, *The Origins of Kemalist Ideology* // Jacob M. Landau, *Atatürk and the Modernization of Turkey* (Leiden: Brill, 1984), 25–44.

56. Цит. по: Udo Steinbach, *Die Türkei im 20. Jahrhundert* (Bergisch-Gladbach: Lübbe, 1996), 126 and 128.

казался не просто запоздалым строительством национального государства или формой просвещенного абсолютизма, перенесенного в XX столетие. Это было нечто новое, и новизна заключалась в полном подчинении и использовании современного бюрократического государства для создания желанного типа человека. Эту мысль мы рассмотрим более подробно в главе 2.

С теоретической точки зрения легитимность Турции отвечала вильсоновским рецептам государства, опирающегося на самоопределяющееся национально однородное население. Новое здание турецкого парламента украшал девиз: «Всякая государственная власть исходит от народа». Но абстрактная идея «народа» имела мало общего с народом реальным: несмотря на заявленные принципы национализма и популизма, большинство кемалистов воспринимали анатолийских крестьян и народный ислам только как угрозу. Вторя Ортеге-и-Гассету, губернатор Стамбула Фахреттин Керим Гёкай сокрушался: «Народ переполнил пляжи, гражданину искупаться негде».

Таким образом, светская элита, главным образом в армии и бюрократическом аппарате, выстроила *devlet baba* — ставившееся все более авторитарным государство-заступника. В 1931 г. Турция провозгласила однопартийную систему. После смерти Ататюрка его последователи создали широко-масштабный культ его личности. В веберовских категориях легитимность Турции должна была опираться не только на харизму — теперь перенесенную с реального «отца» на государство-заступника, но и на четко функционирующую бюрократию. Но прежде всего она должна была основываться на безусловном признании суверенитета национального государства⁵⁷. Это еще раз свидетельствовало о правоте Вебера, говорившего о безвозвратном исчезновении традиционной, в частности монархической, легитимности, но при этом показывало, что на ее месте совсем не обязательно появляется либеральная демократия.

Итак, ясно, что декларируемые либеральные принципы не всегда сопровождаются появлением подходящих для их

57. Соответственно, надпись на музее Ататюрка гласит: «Суверенитет безуслов-но и безоговорочно принадлежит нации».

осуществления политических деятелей. Разумеется, возвышенно настроенные бюрократы и интеллектуалы с международной репутацией, такие, например, как Джон Мейнард Кейнс, или Феликс Зомари, или немец Гарри Граф Кесслер, желали, чтобы европейские национальные государства сотрудничали друг с другом во имя мира и общего процветания. Это были люди, рискнувшие своей репутацией и посвятившие много времени поискам разумного компромисса⁵⁸. Помимо «мирового правителя профессора» Вильсона, целый ряд ученых и экспертов в Версале — среди них не в последнюю очередь Макс Вебер — продолжали составлять меморандумы (в случае Вебера общий «профессорский» меморандум) и планы, не ограничивавшиеся националистическими эмоциями. И все же попытки заставить работать вместе, невзирая на границы, бюрократов и свободных интеллектуалов-космополитов по большей части провалились. Это укрепило некоторых из них в мысли, что если уж люди самой доброй воли не способны преодолеть закоренелую вражду, то, возможно, все дело в ошибочных основаниях послевоенного устройства. Кейнс высмеивал «вильсоновскую догму», которая, по мнению английского экономиста, «ставит расовые и национальные различия выше экономических и культурных уз и гарантирует народам границы, но не счастье»⁵⁹.

Эта неудача обострила также нараставший общий кризис доверия в отношениях между европейскими элитами послевоенного периода. Европа была истощена не только физически, но и морально. Кейнс обращал также внимание на повальный отказ от универсализма, когда писал, что «присущая нам способность чувствовать и сознавать что-либо, кроме непосредственных вопросов нашего материального благосостояния, временно исчезла... заботиться за пределами нашего непосредственного материального благосостояния временно ослабела... Испытанные нами волнения превосходят всякую меру терпения, и нам нужен отдых. Еще никогда в жизни нашего поколения универсаль-

58. Этой мыслью я обязан Гарольду Джеймсу.

59. John Maynard Keynes, *A Revision of the Treaty: Being a Sequel to the Economic Consequences of the Peace* (New York: Harcourt Brace, 1922), 14; Кейнс Дж. М. *Общая теория*... С. 627.

ный элемент человеческой души не горел таким слабым огнем»⁶⁰. Многие ожидали, что политическим и моральным лидером станут Соединенные Штаты. Эмиль Мюллер-Штурмхайм заявлял в книге «Без Америки это не работает (Ohne Amerika geht es nicht)»: «Человечеству очень повезло, что в мировых лидерах оказалось такое государство, как Америка»⁶¹. А Масарик писал: «Это не страшно, что к нам проникает так называемый американизм. Мы столько лет „европеизировали“ Америку, что теперь она имеет право отплатить нам тем же»⁶². Однако тех, кто действительно надеялся на то, что Америка приложит серьезные усилия для приведения в порядок европейского дома, ожидало разочарование: после войны Соединенные Штаты встали на позиции изоляционизма. Тем не менее «американизация» экономики, а еще больше американизация культуры все же происходила, и в глазах многих европейских критиков это ускорило падение на уровень «массового общества».

Перестала существовать и безусловная вера в конечную европеизацию мира. Как заметил Валери в 1919 г. (эта фраза впоследствии часто цитировалась), «мы, цивилизации, — мы знаем теперь, что мы смертны. Мы слышали рассказы о лицах, бесследно исчезнувших, об империях, пошедших ко дну со всем своим человечеством и техникой, опустившихся в непроницаемую глубь столетий, со своими божествами и законами, со своими академиками и науками, чистыми и прикладными... Мы хорошо знаем, что вся видимая земля образована из пепла и что у пепла есть значимость. Мы различали сквозь толщу истории призраки огромных судов, осевших под грузом богатств и ума... Но эти крушения, в сущности, нас не задевали»⁶³.

60. John Maynard Keynes, *The Economic Consequences of the Peace* (New York: Harcourt, Brace & Howe, 1920), 297; Кейнс Дж. М. Общая теория... С. 620.

61. Цит. по: Hartmut Kaelble, *Europäer über Europa: Die Entstehung des europäischen Selbstverständnisses im 19. und 20. Jahrhundert* (Frankfurt/Main: Campus, 2001), 140.

62. Karel Čapek, *Talks with T. G. Masaryk*, trans. Dora Round, ed. Michael Henry Heim (1935/1938; North Haven, Conn.: Catbird, 1995), 232.

63. Paul Valéry, *The Crisis of the Mind* // Valéry, *History*, 23–36; here 23; Валери П. Кризис духа // Валери П. *Об искусстве*. М.: Искусство, 1976. С. 105.

И даже теперь, когда катастрофа произошла и коснулась европейцев, очень немногие из них осознали, что Европа, возможно, навсегда утратила свое глобальное первенство. 1917 год стал поворотным пунктом, когда в первый раз после нашествия османов в XVI в. судьба Европы зависела от не-европейских держав.

Впрочем, война привела не только к потере уверенности в себе и культурному пессимизму. Война всех уравнила и гомогенизировала: свое дело сделали окопная демократия на фронте и «податливая масса» Ллойд Джорджа в тылу. Война изменила и сознание элиты. Пока Уилфред Оуэн разоблачал «древнюю ложь: *Dulce et decorum est Pro patria mori*» («Сладка и прекрасна за родину смерть»), немецкий писатель Эрнст Юнгер прославлял мистику нового мужского братства среди социальных групп, понесших наибольшие потери — младших офицеров и неквалифицированных рабочих, настоящих «королей окопов»⁶⁴. Юнгер благоговел перед «новым поколением господ, поднимающимся» в «старой Европе», и приветствовал его как людей «бесстрашных, потрясающих, щедрых на кровь и скупых на жалость, — как расу, строящую машины и доверяющую машинам, тех, для кого машины не бездушное железо, но инструменты силы, которую они держат под контролем, в здравом уме и со всей страстью сердца. Это придает миру новый облик»⁶⁵.

Война оставила политическое наследство из двух образов будущего: с одной стороны политики компромисса между государством, трудом и капиталом, или, иначе говоря, политики, преследующей рациональные интересы; с другой стороны милитаристской политики воли, сосредоточенной на спасении нации. И та и другая были отрицанием классического либерализма XIX в., и та и другая, каждая по-своему, представляла собой попытку ответить на вызов, который был брошен «проникновением масс в политику».

64. Ernst Jünger, *The Storm of Steel* (London: Chatto & Windus, 1929), 235; Юнгер Э. *В стальных грозах*. СПб.: Владимир Даль, 2000.

65. Ernst Jünger, *Copse 125: A Chronicle from the Trench Warfare of 1918*, trans. Basil Creighton (London: Chatto & Windus, 1930), 21.

Вопросы Вебера

Макс Вебер был пропитан принципами либерализма XIX в., но остро реагировал на «требования дня», т. е. на политические вызовы, порожденные новыми историческими констелляциями. К ним явно относились пересмотр роли государства и его отношения к демократии, а также то, в политическом действии какого рода скорее всего будет участвовать индивид в этих обстоятельствах.

Вебер, получивший юридическое образование, сам был в каком-то смысле симптомом, а не диагностом того, что многие считали кризисом традиционных концепций государства. Подобно многим своим немецким современникам, он был правовым формалистом и стремился демистифицировать государство, доказывая, что оно вовсе не является «организмом» и не может быть постигнуто исходя из конкретных целей. Вебер определял государство через средства и является автором одной из самых цитируемых в политологии формулировок: «государство есть человеческое сообщество, которое внутри определенной области претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия».

Подчеркивание силы вполне соответствовало веберовскому пониманию политики как вечного конфликта и общественной жизни как непрекращающейся борьбы (которая, однако, с точки зрения Вебера, высоко ценит способность к компромиссу). Более важный пункт касался легитимности силы. В современном государстве легитимность предполагала исполнение закона, а не обещания добиваться каких-то целей. Это было результатом следования надлежащим процедурам законодательства, оставляющим исполнение законов на долю управленческого персонала, полностью отделенного от средств управления, — в отличие от феодализма и других систем, в которых должности могли быть предметом владения наподобие частной собственности. Таким образом, «массовое государство», по Веберу, с необходимостью появилось вместе с бюрократией.

Как и другие правовые позитивисты, Вебер отделял закон от каких бы то ни было моральных оснований. Он считал, что вера в законы природы или объективные универсальные ценности наступил конец и назад пути нет. Поэтому закон

имеет силу, если он предписан конституцией и затем ему повинуются, даже если для большинства людей послушание является лишь делом привычки, а вера в легитимность государства лишь наполовину сознательна или «едва ошутима»⁶⁶. В политическом смысле правовые позитивисты были по большей части либералами, но в их теории не было реального морального базиса для либерализма.

Не являясь сколько-нибудь оригинальным теоретиком государства, Вебер все же сделал целый ряд весьма важных наблюдений относительно меняющейся природы закона в «массовом государстве»; последние были позднее подхвачены, среди других, Карлом Шмиттом и Фридрихом фон Хайеком. Вебер, в частности, был обеспокоен ослаблением либерального принципа «верховенства права» после появления социального государства и требований материальной «справедливости». Правление посредством общего для всех закона — прозрачного и ограничивающего политиков — стало объединяться с мерами и указами, решавшими конкретные проблемы конкретных граждан. По мнению Вебера, такие идеалы, как справедливость, несмотря на их символическое одобрение в парламентах, не претворялись в общее и предсказуемое право, что порождало новый патримониализм или феодализм, при которых неконтролируемые управленцы превращались в господ, покровительствующих избранным группам.

Бюрократизация бросила вызов не только современному государству, которое Вебер считал важным достижением Запада, но и поставила под вопрос существование концепции свободной индивидуальности. Разумеется, обеспокоенность по поводу свободы индивида появилась задолго до войны и нашла выражение во многих псевдонаучных трактатах о «массовом обществе» и «поведении толпы». Большинство из них утверждало, вслед за французским «психологом толпы» Гюставом Лебоном, что на место божественного права королей пришло божественное право масс. Вебер был глубоко озабочен перспективами автономии индивида, обещанной эпохой Просвещения. Но он видел опасность не столь-

66. Вебер использовал выражение *Legitimitätsglaube* — «убежденность» или даже «вера» в легитимность.

ко в низкосортной природе «масс», сколько в социальных феноменах вроде постоянного усиления бюрократии и демагогии, которые считал неизбежными в демократическом «массовом государстве».

Короче говоря, Вебер считал, что имеют место два кризиса: с одной стороны кризис либеральной государственности и массовой демократии, а с другой — кризис индивидуального «Я». Между ними существовала очевидная связь. Понимание их сути требовало достоверного знания о том, как возникла современная индивидуальность и что именно ей теперь угрожает.

В 1904–1905 гг., в своей самой знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер доказывал, что в период раннего Нового времени кальвинистская доктрина предопределения привела к тому, что индивиды начали испытывать чувство страшного внутреннего одиночества; им не было дано знать, относятся они к числу избранных или нет, но они готовы были заплатить за это знание любую цену. Пасторы говорили им, что необходимо просто верить в свою избранность. Однако на практике ослабить чувство религиозной тревоги можно было только непрерывным трудом, и не только потому, что, как полагал Вебер, труд избавлял ум от религиозных сомнений, но и потому, что, занимаясь трудом, верующий мог почувствовать себя орудием Божьей власти.

Таким образом, кальвинизм побуждал верующих доказывать самим себе, что на них лежит благодать грядущего мира, и заниматься экономической деятельностью в мире сегодняшнем. Вебер не слишком заботился о точности, когда дело доходило до объяснения сути: «Бог помогает тому, кто себе сам помогает»⁶⁷. Кальвинисты выработали особую форму жизненного поведения, требовавшую постоянного самоконтроля и преданности конкретной «профессии»

67. Max Weber, *Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus* // *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I* (1920; Tübingen: Mohr Siebeck, 1988), 17–206; here 110–11; Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс, 1990. С. 151. Конечно, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что успех означает спасение. Настоящий кальвинист никогда не может разрешить эту задачу, не говоря уже о том, чтобы полностью избавиться от сильнейшего внутреннего напряжения.

или «призванию»⁶⁸. Согласно Веберу, это жизненное поведение было *рационализировано* в смысле соблюдения дисциплины, методичности и строгой специализации; оно было «рациональным» и в своем разрыве с традицией — религиозной или экономической.

Новый «этнос» требовал добывать все больше и больше денег, отказываясь при этом от любых наслаждений. Поведение, им вдохновляемое, согласно Веберу, означает отказ от «всех гедонистических моментов; эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к „счастью“ или „пользе“ отдельного человека». Короче говоря, «теперь уже не приобретательство служит человеку средством удовлетворения его материальных потребностей, а все существование человека направлено на приобретение, которое становится целью его жизни»⁶⁹. Возможно, это поведение было иррациональным, но оно служило предпосылкой или, по словам самого Вебера, необходимым предусловием (хотя, строго говоря, и не причиной) возникновения «духа капитализма».

«Протестантская этика» была, помимо всего прочего, историей непредвиденных последствий. Кальвинисты привели в движение историческую тенденцию, которая могла закончиться самой страшной формой коллективного порабощения, которую только знал мир, — тем, что Вебер называл «стальным панцирем» (*stahlhartes Gehäuse*, обычно неверно переводимое как «железная клетка») универсальной рационализации и бюрократизации. По его словам, «по мере того, как аскеза перемещалась из монашеской кельи в профессиональную жизнь и приобретала господство над мирской нравственностью, она начинала играть определенную роль в создании того грандиозного космоса современного хозяйственного устройства... который в наше время подвергает неодолимому принуждению каждого отдельного человека, формируя его жизненный стиль, причем не только тех людей, которые непосредственно связаны с ним своей

68. Кальвинисты не были единственными носителями «аскетического протестантизма»: Вебер включал также в него баптистские секты, пуритан и методистов.

69. Weber, «Ethik», 35–6; Вебер М. *Протестантская этика...* С. 75.

деятельностью, а вообще всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения. И это принуждение сохранится, вероятно, до той поры, пока не прогорит последний центнер горючего... Забота о мирских благах должна обременять его святых не более, чем „тонкий плащ, который можно ежеминутно сбросить“. Однако плащ этот волею судеб превратился в стальной панцирь»⁷⁰.

Идея полного посвящения себя профессии стала всеобщей. Однако в качестве «места работы» ее внутренний смысл был потерян; дух капитализма ушел из стального панциря. По словам Вебера, «пуританин *хотел* быть *Berufsmensch* [профессионалом]; мы *должны* быть таковыми»⁷¹. Современный капитализм был совершенно особым достижением, однако в глазах Вебера не состоял в особенно близком родстве со свободой или демократией. На деле безжалостная рационализация угрожала превратить наследников пуритан всего лишь в ничтожных охотников за наживой: по выражению Вебера — в «бездушных профессионалов и бессердечных сластолюбцев».

Это была не единственная особенность западной современности. Наука доказала, что в природе нет никакого объективного смысла, и тем самым подорвала традиционные и теологические «достоверные факты». Наука могла разрушить убеждения, но не могла самостоятельно создать новые ценности. По мнению Вебера, «судьба культурной эпохи, „вкусившей“ плода от древа познания, состоит в необходимости понимания, что смысл мироздания не раскрывается исследованием, каким бы совершенным оно ни было; что мы сами призваны создать этот смысл». Все, на что оказалась способна наука, это предсказывать следствия и средства овладения внешним миром.

70. *Ibid.*, 203; Там же. С. 206.

71. *Ibid.*; Там же. «Beruf» представляет определенные сложности для перевода. Для кальвинистов это было, безусловно, призвание, внутренне связанное с обязанностью трудиться. Аспекты этого смысла сохраняются в слове «профессионал», но, когда Вебер говорит о судьбе современного *Berufsmenschentum*, понятия, которое включает почти всех нас, он имеет в виду, что если мы не какие-то особенные или очень счастливые люди, то вынуждены ходить на «работу», выполнять заранее установленные обязанности и подвергаться муштре, которая придает иную форму нашей внутренней жизни, а не следует из нее.

Запад обладал еще одной характерной чертой. Современный западный мир стал свидетелем появления целого ряда различных «сфер ценностей», или «жизненных укладов», как их называл Вебер, каждый со своими главными ценностями, своими внутренне присущими законами. Каждый такой жизненный уклад подлежал своей собственной форме «рационализации»: это были, например, экономика, но также эстетика, религия и, разумеется, политика. Эти группы ценностей стали более систематичными и специализированными, и, следовательно, были «рационализированы». Но они по большей части были несовместимы и в требованиях, которые предъявляли к индивиду: религиозный приверженец пацифизма вряд ли мог достичь успеха в политике, где ценились власть и насилие. По словам Вебера, это было похоже на мир древних, пока еще не разочаровавшийся в своих богах и демонах, но только в ином смысле. «Тут же спор разных богов и демонов... [И] этими богами и их борьбой правит судьба, но вовсе не „наука“»⁷².

Поскольку Бог умер, появилось множество светских богов, и ни одна всеобъемлющая этическая система не могла вместить все конфликтующие друг с другом требования. Таким образом, ценностный плюрализм — если человек вообще желал вести серьезную жизнь — в конечном счете требовал от индивидов по сути иррациональных решений и экзистенциального выбора. По словам Вебера, «плод от древа познания, который нарушает спокойное течение человеческой жизни, но уже не может быть из нее устранен, означает только одно... необходимо понимать, что каждый важный поступок и вся жизнь как нечто целое — если, конечно, не скользить по ней, воспринимая ее как явление природы, а сознательно строить, — составляет цепь последних решений, посредством которых душа... совершает выбор своей судьбы, то есть своих действий и своего бытия».

Любой мужчина и любая женщина — коль скоро они не хотят, чтобы их жизни оставались «событиями в жизни природы», — должны были принимать решения, какому

72. Max Weber, *Wissenschaft als Beruf* // *Max Weber-Gesamtausgabe* I: 17, 71–111; here 100; Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс, 1990. С. 726.

богу служить, зная, что тем самым они автоматически вступают в конфликт со служителями других богов.

Необходимость выбора возложила огромную ответственность на современных индивидов. Согласно Веберу, только высокая степень зрелости позволила осознать, что этот опыт мог привести к освобождению при условии, что современное состояние воспринималось с достоинством и решимостью. В конце концов, как однажды заметил Вебер, «никто не спрашивает, желаем ли мы, чтобы то или иное историческое событие произошло». Таким образом, Вебер стоял на этической позиции, принимавшей распавшийся на части мир таким, как он есть, в духе сознательного реализма⁷³.

Дело не в том, что он не видел искушений, заключенных в бегстве от выбора. Одним из способов спасения от реальности был эстетизм, другим — этика «братства», т.е. политическая утопия, в которой все человеческие существа (и все ценности) пребывают в мире. Эти искушения стали еще более сильными, поскольку рациональность «средства — цели», предложенная наукой для овладения природой, проникла в другие сферы жизни и привела к господству не только над природой, но и над человеческими существами. В частности, согласно Веберу, наряду с бизнесом бюрократия упорно насаждала своего рода подневольность, которая однажды может сделать людей такими же бесправными, какими были «феллахи в Древнем Египте».

Следовательно, современное «Я» попало в ловушки, которые само себе расставило, а миф — давно, казалось бы, развенчанный Просвещением — вернулся в светском облике безличных, дегуманизирующих, регламентирующих сил. Догадка итальянского философа XVII в. Джамбаттисты Вико, что человеческие существа способны понять «искусственную природу», потому что сами создали населенный ими мир, перестала казаться верной. В то же время господство технологии и императивы труда усилили искушения, связанные с тем, что Вебер называл «субъективистской культурой», культивированием внутренней жизни

73. Lawrence Scaff, *Fleeing the Iron Cage: Culture, Politics, and Modernity in the Thought of Max Weber* (Berkeley: University of California Press, 1989).

и охотой за новыми «переживаниями»⁷⁴. В результате то, что Вебер называл «высшими благороднейшими ценностями», исчезло из публичной жизни⁷⁵. Безличные, неконтролируемые и, по сути, совершенно непостижимые силы с одной стороны и бегство в перевозбужденную субъективность (следуя Зиммелю, Вебер называл ее «стерильной возбужденностью») с другой, — таков диагностированный Вебером роковой разлад современной эпохи.

Представление о том, что история — в частности, современная жизнь — состоит из непредвиденных последствий и является трагедией, было широко распространено среди немецких социальных мыслителей начала XX в. Георг Зиммель, которому Вебер оказал всемерную поддержку при его назначении таким же, как он сам, профессором Гейдельбергского университета, высказывал горестные мысли по поводу «трагедии культуры». Согласно Зиммелю, человек создавал объективные культурные «формы» и структуры, которые, накапливаясь, оказывали все большее влияние на последующие поколения. С одной стороны, Зиммель настаивал на том, что душа может «найти себя» только с помощью этих «культурных кристаллизаций»⁷⁶. С другой стороны, индивид, родившийся при современном укладе и сталкивавшийся с этими формами, но способный понять не более одного фрагмента, по необходимости воспринимал их как репрессивные. Самоутверждаясь, жизнь разрывает эти формы на части, и тем не менее культура не может твориться без них — отсюда трагедия.

Многие современники Вебера и Зиммеля жили с таким же обостренным чувством. Роберт Музиль в своем «Человеке без свойств» писал: «Штука эта держит нас в своих руках. Едешь в ней днем и ночью, да еще делаешь при этом всякую всячину — брешьешься, ешь, любишь, читаешь книжки, выполняешь свои профессиональные обязанности, как если бы четыре стены стояли на месте, и страшно то тут

74. Ibid.

75. Weber, «Wissenschaft», 109–10; Вебер М. *Наука как призвание и профессия*. С. 734.

76. И, строго говоря, «культура» была взаимодействием между «душой» и «формой».

только, что стены едут, а ты этого не замечаешь»⁷⁷. И в менее занятой прозе: мы не жили, это нами жили.

И все же как оценка Зиммелем трагедии культуры, так и взгляд Вебера на рационализацию отличались крайней двусмысленностью. Все современные институты имели две стороны: бюрократия могла быть весьма репрессивной, но в то же время представляла собой безусловное достижение как самая рациональная форма власти. Веберовская безличная бюрократическая *Menschenmaschine* могла быть демонтирована только ценой возвращения к более авторитарным формам правления (еще и поэтому не было смысла пытаться полностью отделять массовую демократию от бюрократии)⁷⁸. Избавиться от музилевской «штуки» было невозможно: в частности, путь назад к *Gemeinschaft* — органическим сообществам, обещавшим более простую и одновременно более целостную жизнь, о которой так тосковали многие немецкие корреспонденты Вебера, был закрыт и потому нежелателен.

Исключение составляют случаи, когда этот путь казался таковым. И Вебер, и Зиммель были, по-видимому, готовы отказаться от своего скептического отношения к национальному *Gemeinschaft* в 1914 г., приветствуя, по словам Вебера, «великую» и «чудесную» войну. Лейтенант запаса Вебер, достигший к тому времени 50-летнего возраста, был слишком стар для фронта. Вместо этого на него возложили задачу снабжения военных госпиталей Гейдельберга (после чего он был повышен в звании до капитана запаса). В своем отношении к войне он не был наивным шовинистом, считая конечной целью политики — и войны как одного из ее аспектов — создание или защиту определенных форм культуры. Эти формы культуры, в свою очередь, обосновывались индивидуальными качествами характера, разными в различных культурах. Вебер даже заявлял, что ему вообще было «наплевать» на форму государственности, поскольку Германия появилась на свет с большим достоинством и с более желанной культурой. Не всем суждено было вести себя как

77. Musil, *Mann ohne Eigenschaften*, 32.

78. Как формулировал это Вебер: «Es gibt nichts in der Welt, keine Machinerie der Welt, die so präzise arbeitet, wie diese Menschenmaschine es tut — und dazu noch: so billig!»

Herrenvölker: «мелкие государства» вроде Швейцарии могли себе позволить более моральную политику, но не способны были дать высокой культуры. В этом ключе Вебер оправдывал Первую мировую войну, которая в конечном счете была войной за культуру будущего, в частности за предотвращение дележки мира между «русской бюрократией» и «англо-саксонским обществом и его условностями»⁷⁹.

Этот поиск культурной значимости и коллективного смысла — «высших и последних целей», которые, как полагал Вебер, исчезали из публичной жизни, — служил также объяснением того, почему политику следовало отделять от других сфер современной жизни, таких как экономика. Политика никогда не должна заниматься переговорами, преследующими материальные интересы, или добиваться гарантий бесперебойного функционирования рынка. Государство и публичная сфера, согласно Веберу, имеют свое собственное достоинство⁸⁰. Политика с позиции силы как таковая бессмысленна и может быть оправдана только как способ достижения чего-то более значимого. Вебер считал также, что государству следует заботиться не столько о повышении благосостояния народа, сколько о «качестве» будущего народного характера⁸¹. «Отечество» было для него землей не отцов, а потомков.

Великий эксперимент

Помимо войны, существовал еще один жестокий театр политического действия, в котором борьба шла за характер будущего народа, а по сути дела, за саму возможность создания абсолютно «нового человека». Вебер давно и внимательно наблюдал за событиями в России и даже изучал русский язык, чтобы получать самую последнюю информацию о революции 1905 г. Он надеялся на появление прочной формы рос-

79. Weber, *Max Weber*, 626.

80. Chris Thornhill, *Political Theory in Modern Germany* (Cambridge: Polity, 2000), 18–54.

81. Этот (долго не замечавшийся) аспект Веберовой мысли лучше всего изложен в книге: Wilhelm Hennis, *Max Weber: Essays in Reconstruction*, trans. Keith Tribe (London: Allen & Unwin, 1988).

сийского либерализма (хотя и не считал Россию частью Запада), но полагал, что различные реформы, предпринятые после 1905 г., были не более чем «псевдоконституционализмом». Де-факто сохранялось самодержавие — дополняемое систематической *Volkseintmannung*, буквально — «кастрацией народа». Поэтому в 1917 г. в Гейдельберге падение Николая II и конец царизма отмечались как праздник.

При этом Вебер скептически относился к Александру Керенскому, премьер-министру временного правительства, и к тому, что он считал триумфом «думской плутократии», созданной для того, чтобы держать под контролем крестьянство. Еще больший скепсис вызывали у него большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 г. Он не мог знать, что его собственное правительство передавало Ленину значительные денежные средства на его предприятие и даже направило его в Санкт-Петербург в plombированном вагоне. Немецкие бюрократы, несомненно, с лихвой окупили эту выгодную, как тогда казалось, инвестицию: в марте 1918 г. большевики заключили унижительный мирный договор с рейхом. Ленин долгое время проповедовал «революционное пораженчество», призывая рабочих разных стран свергнуть свои находящиеся в состоянии войны правительства и превратить «империалистическую войну в войну гражданскую». По мнению ученика Вебера Георга Лукача, Ленин один защищал честь международного социализма, поскольку почти все другие социалистические партии поддерживали свои правительства, предав мировой рабочий класс, соединяющийся невзирая на национальные границы⁸².

Вебер не подозревал, что Октябрьская революция на самом деле была не столько революцией или даже путчем, сколько захватом власти в ситуации, когда никто не хотел ее брать. В Зимнем дворце для защиты правительства Керенского осталось какое-то количество кадетов и женский батальон. Ленин был самым решительным образом настроен свергнуть законную власть прежде, чем начнется работа учредительного собрания (в котором большевики имели только около четверти голосов), и бомбардировал коллег

82. Кроме русских, против войны голосовала только парламентская сербская социалистическая партия. По сути дела, речь шла о двух народах.

из Центрального Комитета угрозами и посулами, и даже рискнул позицией лидера партии, чтобы осуществить свой план немедленного восстания.

Достигнутый успех, казалось, подтверждал правильность общей политической теории Ленина: по меньшей мере с рубежа веков он доказывал, что серьезно относящиеся к революции люди должны уверовать в авангард, состоящий из самых преданных революционеров, обладающих особыми навыками и высокоразвитым социалистическим сознанием. Без таких профессионалов, знающих, как делать революции, согласно Ленину, рабочий класс, как бы его ни угнетали, способен прийти лишь к «тред-юнионистскому сознанию». В том же духе Ленин высмеивал «экономизм», т.е. попытки добиться улучшения материального положения для рабочих, отказываясь при этом от реального социализма, а также, с не меньшей страстью, отвергал «стихийность», т.е. политические действия рабочих масс, не руководимых детально разработанной теорией партии-авангарда⁸³.

Ленин считал, что в «партии нового типа» должны состоять не массы, но горстка самых преданных революционеров, по сути дела — «новых людей», как гласил подзаголовок его любимого романа «Что делать?» В нем Николай Чернышевский прославлял «новую личность», обладающую сильной волей, в высшей степени рациональной, полностью контролирующей свое сознание и свое тело⁸⁴. Ленин, конечно, и сам стремился к идеалу преданного делу профессионального революционера, хотя и не следовал практическим рекомендациям героев Чернышевского, которые ели только недожаренное мясо и спали на гвоздях. Однако, как заметил один умеренный социалист по поводу Ленина, «нет больше такого человека, который все двадцать четыре часа в сутки был бы занят революцией, у которого бы не было других мыслей, кроме мыслей о революции, и который даже во сне видит только революцию»⁸⁵.

83. Roberts, *Totalitarian Experiment*, 116–30.

84. Nikolai Chernyshevsky, *What is to be Done? From Tales about New People*, trans. Michael B. Katz (1863; Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989); Чернышевский Н. *Что делать?* М.: Худож. лит., 1969.

85. Слова Федора Дана, цит. по: Robert Service, *Lenin: a Biography* (Cambridge,

Но преданности было недостаточно. Члены партии должны были руководствоваться правильной революционной теорией, тем, что Ленин называл «самой передовой теорией», которая стала бы «гранитной теоретической базой» большевизма⁸⁶. В отличие от временного и тактического, теоретический компромисс с менее радикальными силами был верным путем к поражению революции. Доказывая это, Ленин приводил красочный пример: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения»⁸⁷.

Ленин сумел создать один из самых новаторских и мощных политических инструментов Европы XX столетия. Это было сочетание — по словам Эрика Хобсбаума, который сам участвовал в коммунистическом движении, — «дисциплины, деловой эффективности, полного эмоционального отождествления и *тотальной преданности*»⁸⁸. Вынесем за скобки сомнительную «деловую эффективность» (хотя и верно, что Ленин всегда требовал от партии строгого централизма, как на «огромной фабрике»)⁸⁹. Но в ленинской «сталь-

Mass.: Harvard University Press, 2000), 195; Сервис Р. *Ленин: биография*. Минск: Попурри, 2002. С. 222.

86. V. I. Lenin, «Left-Wing» Communism. — An Infantile Disorder // Robert C. Tucker (ed.), *The Lenin Anthology* (New York: W. W. Norton, 1975), 550–618; here 554; Ленин В. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В. *Полн. собр. соч.* Т. 41. С. 8.

87. V. I. Lenin, What is to be Done? Burning Questions of our Movement // *ibid.*, 2–114; here 15; Ленин В. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В. *Полн. собр. соч.* Т. 6. С. 9.

88. Eric Hobsbawm, *Interesting Times: A Twentieth-Century Life* (London: Allen Lane, 2002), 133.

89. Цит. по: David Priestland, *The Red Flag: A History of Communism* (New York: Grove Press, 2009), 77; Пристланд Д. *Красный флаг. История коммунизма*. М.: Эксмо, 2011. С. 140; Ленин В. Шаг вперед, два шага назад. Кризис в нашей партии // Ленин В. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 9.

ной партии», отмечал Хобсбаум, несомненно, не было ничего от романтической утопии.

Тем не менее партия все же предлагала кое-что для тех, кому был нужен харизматический институт, а не харизматическая личность⁹⁰. Члены партии проявляли высокую степень преданности и готовность к самопожертвованию, как если бы, писал Вебер, их вдохновляли индивидуальные лидеры или пророки⁹¹. Как писал историк Рафаэль Самуэль, описывая жизнь в (и для) британской компартии, «амбиции коммунистической партии и самовосприятие ее членов носили явный теократический характер. В организационном плане мы считали себя общиной избранных, связанных священной целью... Власть в партии была тоже теократической, институализированной формой харизмы, действовавшей на каждом уровне партийной жизни»⁹².

Разумеется, дело было не в том, что личная харизма не играла вообще никакой роли в «ленинской секте» (как ее называли критики). Ленин сам пользовался исключительным доверием со стороны своих приверженцев: ему было всего тридцать три года, а его уже называли «стариком», мудрецом наподобие древних пророков, которых Вебер приводил в качестве лучших примеров харизматического лидерства. И многие большевики позднее вспоминали, что практически влюбились в своего вождя⁹³.

Тем не менее, согласно самому Ленину, существенную роль в октябре сыграла не харизма «вождя» (или «руково-

90. Kenneth Jowitt, *New World Disorder: The Leninist Extinction* (Berkeley: University of California Press, 1992). Дальнейшее изложение опирается на работу Джовитта.

91. На первый взгляд концепция коллективной или институциональной харизмы кажется странной. Однако первоначально Вебера на его теорию харизмы вдохновила книга о «харизматической организации» — изложение Рудольфом Сомсом в его «Kirchenrecht» истории раннего христианства. Ранние христиане были всецело преданы своему делу как группа, однако у них не было ничего подобного должностям или постам — и потому они не были церковью.

92. Raphael Samuel. *The Lost World of British Communism* (London: Verso, 2006), 58. В терминологии Вебера, они были сектой, а не церковью, в которой харизма соединена с должностями и не зависит от религиозного рвения занимающих эти должности индивидов.

93. Robert C. Tucker, Introduction // Tucker (ed.), *Lenin Anthology*, xxv–lxiv; here xlv–xlvi.

дителя высшего типа», как Ленина называли после революции), но правильная организация. Правильная организация, в свою очередь, означала правильную теорию. Согласно Ленину, «нельзя отделять политическое от организационного». Ленин постоянно раскалывал свою собственную партию (как и другие), требуя предельно жесткой дисциплины, и с одинаковой яростью набрасывался на прямых оппонентов и тех, кто призывал к компромиссам ради организационного единства⁹⁴. Следствием этого было то, что теория должна была все время меняться, реагируя на конкретные вызовы. И хотя Ленин указывал в качестве своего основного занятия до революции профессию «литератора», его никогда не интересовало абстрактное теоретизирование, оторванное от сиюминутных практических вопросов⁹⁵.

Таким образом, в конечном счете не лидер, но партия, вооруженная правильной теорией, была настоящим «героем», и истинный революционер следовал правильной партийной линии, а не личности. Это было также реакцией на нелепое обвинение, будто марксизм не оставил места для героев-одиночек, играющих важную роль в истории. И в полном соответствии с этими взглядами при появлении первых признаков культа личности Ленин с горечью заявил: «всю жизнь мы идейно боролись против возвеличения личности... Давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг опять возвеличение личности. Это никуда не годится»⁹⁶.

Тем не менее консолидировать власть большевикам помогла не столько правильная теория или харизма — коллективная или индивидуальная, — сколько два политических решения: во-первых, отдать землю крестьянам (или санкционировать захват земель, который уже произошел стихийным образом); а во-вторых, и это самое важное, просить о мире Германию, т. е. тех, кого Ленин позднее называл «бандой империалистов».

Ленин отвечал на очевидное возражение, что социалистическая революция должна была произойти не в России,

94. Leszek Kolakowski, *Main Currents of Marxism*, trans. P. S. Falla (1976; New York: W. W. Norton, 2005), 733.

95. В том же духе он настаивал, что истина и партийность едины — в противовес любым утверждениям буржуазной мысли.

96. Цит. по: Tucker, Introduction, lx.

а в развитых капиталистических странах вроде Великобритании и Германии, говоря, что война подготовила Россию к прямому переходу к социализму. Оставаясь верным «русскому якобинству», он заявлял, что, взяв власть в свои руки, его партия минует буржуазную стадию и сразу приступит к установлению «диктатуры пролетариата и крестьянства». При этом он настаивал, что революции в Западной Европе необходимы для окончательной победы русской революции, которая станет революцией поистине мирового масштаба.

Разумеется, это не означало, что большевики должны как бы ждать своего часа, пока, как говорил Ленин, «пламя нашей революции» не перекинется на Европу. За несколько месяцев до октябрьского переворота Ленин составил амбициозную программу реорганизации экономики, которая должна была положить конец «паразитическому» государству и установить «самую полную демократию». Ленин превозносил — подумать только! — почтовую службу как «образец социалистического хозяйства». Да, в тот момент она все еще была государственно-капиталистической монополией. Но: «Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства — и перед нами освобожденный от „паразита“ высоко технически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие, нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу *всех* их, как и *всех* вообще „государственных“ чиновников, заработной платой рабочего»⁹⁷.

«Паразитическое» государство с его бюрократией и постоянной армией, обслуживающей интересы капитализма, будет уничтожено — а с ним умрет не только «буржуазный парламентаризм», «настоящая суть» которого, согласно Ленину, в любом случае «раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавливать народ в парламенте». Умрет и демократия, по крайней мере в ее традиционном понимании как политической формы, узаконивающей (временное) угнетение одних слоев насе-

97. V. I. Lenin, *The State and Revolution*, trans. Robert Service (1918; London: Penguin, 1992), 45; Ленин В. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 50.

ления другими. В своей буржуазной дефиниции, объяснял Ленин, демократия есть «признающее подчинение меньшинства большинству *государство*, т. е. организация для систематического насилия одного класса над другим». Большевики же ставят перед собой в качестве конечной цели «уничтожение государства... Мы не ждем пришествия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался принцип подчинения меньшинства большинству. Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в *подчинении* одного человека другому... ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности *без насилия и без подчинения*»⁹⁸.

Таким образом, при полном коммунизме не будет нужды в отдельной публичной власти, монополизирующей средства легитимного насилия (определение государства по Веберу). Однако политическое представительство не исчезнет. Ленин настаивал на том, что «без представительных учреждений мы не можем себе представить демократии, даже и пролетарской демократии, без парламентаризма можем и *должны*, если критика буржуазного общества для нас не пустые слова». Он даже писал, что «об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до конца не может быть речи. Это — утопия». Но тут же добавлял, что «разбить сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую постепенно сводить на нет всякое чиновничество, это не утопия...»⁹⁹.

Эти фразы из «Государства и революции» не следует воспринимать слишком серьезно. Летом 1917 г. Ленин вынужден был бежать из Петрограда и писал в спешке. Большевиков надо было вернуть на путь истинный, разъяснив им суть социалистической и в конечном итоге коммунистической позиции; вряд ли он всерьез полагал, что кухарка способна управлять тем, что должно было остаться от государства.

Тем не менее некоторые наиболее утопически звучащие заявления в «Государстве и революции» прямо опирались

98. V. I. Lenin, *The State and Revolution*..., 73–4; Ленин В. Детская болезнь «левизны»... С. 83.

99. *Ibid.*, 44; Там же. С. 48.

на произведения Маркса, посвященные Парижской коммуне 1871 г., когда рабочие перешли к самоуправлению, официальные лица, включая полицейских, избирались, а традиционные государственные структуры были распущены и заменены сочетанием законодательной и исполнительной власти (идеал, практические очертания которого так до конца и остались невыясненными, поскольку очень скоро коммуна была разгромлена французским правительством). Конечно, своим недолгим триумфом и вдохновением коммуна была обязана не марксистам, а, скорее, анархистам. Комментарии же Маркса не указывали однозначно, будет ли коммунистическое общество похоже на Парижскую коммуну. Тем не менее Ленин не преминул вызвать к жизни идеал «государства-коммуны», а сразу после революции поддержал «Советы» в форме рабочего контроля над производством и выборность офицеров в армии.

Но позже он решил, что «демократия Советов» все же является утопией или, во всяком случае, несовместима с задачей выживания нового режима. Ленин объявил об «отходе от принципов Парижской коммуны»¹⁰⁰ и признал, что вся трудность русской революции в том, что «в Европе неизмеримо труднее начать, а у нас неизмеримо легче начать, но будет труднее продолжать, чем там, революцию». Сделал он и еще одно открытие: русский рабочий на самом деле плохой рабочий в сравнении с рабочими развитых стран, и поэтому ему нельзя доверить рабочую демократию¹⁰¹. По-видимому, доверия заслуживали только французские анархисты.

В произведениях Маркса и Энгельса брезжили смутные догадки насчет того, что после захвата власти пролетариат должен провести широкомасштабную индустриализацию. Ленин был с этим согласен и заявлял, что «война многому научила... что берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины... Надо преодолеть высшую технику, или быть раздавленным»¹⁰². Реальной моделью послужил... «немецкий государствен-

100. David Priestland. Soviet Democracy, 1917–91//*European History Quarterly*, vol. 32 (2002), 111–30; here 114–15.

101. Priestland, *Red Flag*, 93; Пристланд Д. *Красный флаг*. С. 167.

102. *Ibid.*; Там же.

ный капитализм». Русский социализм должен перенять способ управления, использованный немцами во время войны. А «плохие» русские рабочие должны быть превращены в хороших немецких. Это означало также, что новая культура — особенно новая культура труда как призвания — должна была служить не дополнением, а необходимой предпосылкой социализма.

Макс Вебер считал, что победившие революционеры должны привести с собой новую бюрократию, в противном случае они, скорее всего, попадут в зависимость от существующего госаппарата, или тех, кого в России вскоре стали называть «бывшими». Ленин и другие вожди октябрьской революции отказывались признавать это официально, но понимали, что управление чем-то вроде «немецкого госкапитализма» требовало «специалистов», которых просто не было среди членов «партии нового типа». Поэтому Лев Троцкий, командуя Красной армией, распустил солдатские комитеты и запретил выборы офицеров. В строй были возвращены «военспецы». Иначе говоря, он восстановил в должности бывших офицеров царской армии.

Идея, позднее часто приписывавшаяся Сталину, — что государство должно набрать силу, прежде чем «отмереть», — была высказана Троцким вскоре после революции. «Как лампа, прежде чем потухнуть, вспыхивает ярким пламенем, так и государство, прежде чем исчезнуть, принимает форму диктатуры пролетариата, т. е. самого беспощадного государства, которое повелительно охватывает жизни граждан со всех сторон»¹⁰³. «Самое беспощадное государство» оправдывалось тем, что режим, окруженный враждебным внешним миром, должен был идти на все, чтобы выжить в гражданской войне. Вскоре был объявлен систематический «массовый террор», прямо санкционированный Лениным и поддержанный Троцким как действенное средство «против реакционного класса, который не хочет сойти со сцены»¹⁰⁴. «Самое беспощадное государство» вдохновлялось этикой революционного насилия, в соответствии с которой

103. Цит. по: Priestland, *Red Flag*, 96; Пристланд Д. *Красный флаг*. С. 171.

104. Leon Trotsky, *Terrorism and Communism: A Reply to Karl Kautsky* (1920; Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961), 58; Троцкий Л. *Терроризм и коммунизм*. М.: Госиздат, 1920. С. 61.

конечные цели безусловно оправдывали средства. Согласно печально известной формулировке Троцкого, отвергавшего критику большевистского террора одним из ведущих немецких социал-демократов, «никогда мы не занимались кантиански-поповской, вегетариански-квакерской болтовней о «святости человеческой жизни». Мы были революционерами в оппозиции и остались ими у власти. Чтобы сделать личность священной, нужно уничтожить общественный строй, который ее распинает. А эта задача может быть выполнена только железом и кровью»¹⁰⁵.

«Военный коммунизм» давал также мандат на полную централизацию партии — не по образцу «фабрики», как предлагал Ленин, но наподобие жесткого армейского командования. Троцкий до своего перехода на сторону большевиков предсказывал последствия: «аппарат партии замещает партию, Центральный комитет замещает аппарат и, наконец, диктатор замещает Центральный комитет»¹⁰⁶.

Это вероятное развитие событий и особенно угрозы, которые нес с собой «немецкий госкапитализм», не остались полностью не замеченными революционерами. Кроме бюрократизации, еще одной, не столь очевидной проблемой оказалось то, что успешный госкапитализм не нуждался в сопровождающей его харизматической силе (после революции появились даже предложения упразднить партию). Получилось не вполне то, что Ленин называл «гибкой связью» партии и правительства. Скорее, это был роковой дуализм: с одной стороны — постоянно растущее государство с «экспертами» и «специалистами», а с другой — партия профессиональных революционеров и опытных идеологов, роль которых заключалась во внедрении во все институты, особенно государственные, «партийности», или партийного духа¹⁰⁷. Государство и (по нарастающей) общество были полностью бюрократизированы, в то время как партия, официально не являвшаяся органом управления, про-

105. *Ibid.*, 63; Там же. С. 66.

106. Leon Trotsky, *Our Political Tasks* // Robert V. Daniels (ed.), *A Documentary History of Communism: From Lenin to Gorbachev* (Hanover, NH: University Press of New England, 1993), 16–17; here 16.

107. Steven Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization* (Berkeley: University of California Press, 1997), 293.

должала действовать, по крайней мере в свои самые харизматические моменты, подобно радикальной секте¹⁰⁸.

А демократия? Ленин официально не отвергал государство-коммуну как цель. Большевики не отказывались от лозунга «вовлечения масс» в непосредственное управление государством и экономикой. По молчаливому соглашению, однако, считалось, что на данный момент «демократия» должна означать диктатуру пролетариата (крестьянство уже выпадало из общей схемы), а это предполагало, среди прочего, что в политике, начиная с выборов, участвуют только те, кто входит в «производительные силы»¹⁰⁹. Правами наделены только «трудящиеся и эксплуатируемые»; «бывшие» же, т. е. все, кто считался буржуазией, должны быть как минимум лишены избирательных прав или подлежать еще более суровому наказанию.

Внутри партии те, кто считал продвижение к коммуне и полному слиянию государства и народа слишком медленным, постоянно жаловались на «бюрократизм»¹¹⁰. Те же, кто считал, что никакого «продвижения» не наблюдается, и хотел вернуться к демократии Советов в том виде, как она недолгое время существовала в 1917–18 гг., — иначе говоря, к выборам и рабочему контролю над производством, — были жестоко подавлены. Когда в 1921 г. рабочие и моряки в Кронштадте неподалеку от Петрограда потребовали «Советов без большевиков», Ленин направил туда войска. Теперь жестоко пресекалась даже внутрипартийная критика: «фракции» были официально запрещены, и, конечно, не существовало никакой свободы прессы. Все эти меры неизменно оправдывались тем, что строительству социализма «в одной, отдельно взятой стране» (фраза не Сталина, а Ленина) угрожают могущественные враги, внешние и внутренние.

Ленин, конечно, не мог не видеть признаков «бюрократизма», однако, как и в случае с русским рабочим и его «недостатками», он, по-видимому, считал, что борьба потребу-

108. Steven Kotkin, *Magnetic Mountain...*, 293–4. Официально она должна была составить «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».

109. Manfred Hildermeier, *Geschichte der Sowjetunion 1917–1991: Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates* (Munich: C. H. Beck, 1998), 133.

110. Priestland, *Soviet Democracy*, 116.

ет ни много ни мало изменения национального характера: «Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые всё заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности. Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени, Россия проделала три революции, а все же обломовы остались... Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что *старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел*»¹¹¹.

В конечном итоге, однако, единственное практическое решение, которое Ленин (подобно Веберу, юрист по образованию со склонностью к формализму) предложил, чтобы противостоять вытягивавшей все соки бюрократизации, свелось к усилению контроля, иначе говоря, к еще большей бюрократии¹¹².

Вся эта динамика и послужила конечной причиной, по которой Макс Вебер отвергал социализм. По его мнению, побочным следствием социализма является кошмар универсальной бюрократизации: социализм объединяет то, что, по крайней мере на Западе, существует по отдельности, а именно экономическую и государственную бюрократию, и приводит к «диктатуре бюрократа»¹¹³. Вебер следил за большевистским «великим экспериментом» с нарастающим ужасом. В 1918 г. на встрече с Феликсом Зомари и экономистом Йозефом Шумпетером в венском кафе «Ландман» речь зашла о русской революции. Шумпетер радостно заявил, что социализм наконец перестал быть «бумажной дискуссией» и теперь вынужден будет доказывать

111. V. I. Lenin, *Oblomov Still Lives — on Mayakovsky // Not by Politics Alone... — the Other Lenin*, ed. and intr. by Tamara Deutscher (London: Allen & Unwin, 1973), 187; Ленин В. О международном и внутреннем положении Советской Республики // Ленин В. *Полн. собр. соч.* Т. 45. С. 13.

112. Kolakowski, *Main Currents*, 767.

113. Max Weber, *Sozialismus // Max Weber-Gesamtausgabe 1:15: Zur Politik im Weltkrieg — Schriften und Reden 1914–1918*, ed. Wolfgang Mommsen, in collaboration with Gandolf Hübinger (Tübingen: Mohr Siebeck, 1984), 599–633; here 621; 3. Вебер М. Социализм // Вебер М. *Политические работы (1895–1919)*. М.: Праксис, 2003. С. 329.

свою жизнеспособность¹¹⁴. Вебер возразил, что попытка ввести социализм в России, учитывая уровень развития этой страны, есть, по сути дела, преступление и закончится катастрофой. По воспоминаниям Зомари, Шумпетер холодно заметил, что это вполне может случиться, но что Россия представляет собой «прекрасную лабораторию». Вебер взорвался: «Лабораторию с горой трупов». Шумпетер сказал: «Как и любой анатомический театр». Спор приобретал все более ожесточенный характер, Вебер повысил тон, Шумпетер отвечал колкостями. В конце концов Вебер вскочил на ноги, воскликнув: «Это невыносимо!», и в сильном волнении выбежал на Рингштрассе. Шумпетер подытожил: «Ну можно ли поднимать такой крик в кофейне?»

Ответы Вебера (для некоторых)

Но что же Вебер предлагал в качестве предпочтительной или, по крайней мере, сносной политической этики, и какие институты должны были воплотить или, по крайней мере, защитить либеральные институты в новую эпоху «массовой жизни»? В свое время Вебер прибег в «Протестантской этике» к аллегорическому изображению немецкого общества. Приводя в пример автономную и ответственную личность, которой он восторгался, и критикуя лютеранство за то, что оно воспитало в немцах покорность, Вебер призывал буржуазию выйти из сонного состояния и вступить в борьбу, чтобы наконец обрести самостоятельность¹¹⁵. Вообще говоря, Вебер считал наилучшей формой государственности монархию. Но политическая система германской империи закрепила состояние политической незрелости: было сделано ошибочное предположение, что монарх способен править в ситуации, когда все решения на самом деле принимают не за что не отвечающие государственные служащие. Неуклюжее и почти ребяческое поведение Вильгельма II было имитацией харизматического лидера, хотя иногда он пы-

114. Об этом см.: Somary, *Erinnerungen*, 178–80.

115. Harry Liebersohn, *Fate and Utopia in German Sociology, 1870–1923* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988), 82 and 96.

тался показать власть, а иногда сопровождал это шумной политической саморекламой. Не способный к оценке политической ситуации, Вильгельм как дилетант делал в лучшем случае нелепые и смехотворные ошибки, а в худшем случае нации приходилось платить за них высокую политическую цену. Современная монархия, считал Вебер, предполагает господство бюрократии, если только случайно на сцене не появляется исключительно одаренный король или император. Вопрос лишь в том, находится ли бюрократия под контролем. В Германии эпохи Вильгельма такого контроля не было, более того, правительства состояли из лиц, которым никогда ранее не приходилось доказывать свои достоинства в партийной борьбе или в парламенте.

Рекомендация Вебера была прозрачной: парламенты, располагающие реальной властью, должны играть решающую роль в нейтрализации бездарных монархов, сдерживать бюрократию и служить полигоном для обкатки политических решений. В идеальном случае они должны также способствовать селекции харизматических лидеров с помощью механизма конкуренции. Такого рода лидеры могли бы задавать политический вектор и вносить оживление в политическую жизнь, помогая тем самым противостоять угрозам бюрократического правления. Но за все это приходилось бы платить: харизматические лидеры по необходимости должны заручаться поддержкой антидемократических, бездушных и, конечно же, бюрократических политических машин, мобилизующих для них избирателей. На деле парламентарии попадают в зависимость как от «плебисцитарного диктатора в парламенте» (по словам Вебера), так и от поддерживающей его партийной машины; они низведены до положения «прикормленного и дисциплинированного лобби».

Вебер выступал однозначно за расширение избирательных прав. В конце концов, признание равенства было неотъемлемой частью современного порядка. Политическая система XIX в., состоявшая из аристократов, которые занимались политикой для себя, стала попросту нежизнеспособной. Вебер считал также неприемлемым, что солдаты, возвращавшиеся с фронта, получали в итоге меньше политических прав, чем богатые люди, которые вели комфортную жизнь в тылу. Вебер страстно отвергал модную идею

о предоставлении большего количества голосов людям, имеющим высшие ученые степени; по его мнению, образование, особенно гуманитарное, часто приводит к политической безграмотности (как произошло с Эйснером, который был философом, пока не занялся журналистикой и партийной политикой и не стал «заложником своего успеха в качестве демагога»).

Лучшим способом воспитания политической ответственности, полагал Вебер, является участие в политике. Но Вебер никогда не считал народ способным к власти. «Непосредственная демократия», доказывал он, возможна лишь в очень небольших сообществах, где все знают друг друга, как в некоторых швейцарских кантонах (и даже там правительствами заправляют квазиаристократы, имеющие достаточно много времени и денег, чтобы не заниматься постоянным *Beruf*). Во всех иных случаях демократия с необходимостью предполагает делегирование — и, следовательно, господство одних над другими. Она предполагает также бюрократизацию, и вновь реальный вопрос заключается не в том, иметь ее или не иметь, но в том, как ее сдерживать.

Совершенно независимо от практических соображений о размерах государств Вебер считал, что большинство граждан не способно разобраться в сложностях современной общественной жизни. Все, что они могут и должны делать, — это голосовать на выборах. Поэтому Вебер не признавал общей воли народа или народного мандата на реализацию правительственных программ. В одном из писем он замечал, что «концепции вроде „воли народа“, „истинной воли народа“ и т. п. давным-давно перестали для меня существовать. Это *фикции*»¹¹⁶. В лучшем случае выборы награждали лидеров, обладавших развитыми политическими навыками и проявлявшими минимальный интерес к пожеланиям населения, обратную связь с народом. Борьба за голоса гарантировала, что наверх попадали лишь те политики, которые, в отличие от бюрократов, обладали решимостью и, в отличие от чистых демагогов, политической ответственностью.

116. Письмо Роберту Михельсу от 4 августа 1908 г.: *Max Weber-Gesamtausgabe* 11:5, ed. M. Rainer Lepsius and Wolfgang J. Mommsen, in collaboration with Brigitte Rudhard and Manfred Schön (Tübingen: Mohr Siebeck, 1990), 615.

В этом смысле аргумент, говоривший, что участие в политике воспитывает ответственность, дополнялся еще одним аргументом — что элемент борьбы повышает качество политического лидерства¹¹⁷.

Итак, основываясь на категориальном делении легитимности на традиционную, харизматическую и юридико-рациональную, Вебер рекомендовал комбинацию из двух последних типов, объединяя рационализацию закона и бюрократию с предполагаемым за вождем личным героизмом. По его глубокому убеждению, единственной альтернативой «демократии лидерства», опирающейся на партийную политическую машину, остается «демократия без лидера» — закулисная борьба партийных бюрократов и аристократов за собственное влияние, не сулящая ничего хорошего для любого режима.

Но демократия лидерства налагала на лидеров нелегкое бремя ответственности, а возможно, и ложных надежд. Вебер должен был, выступая перед своей аудиторией, объяснить, как следует себя вести лидерам, какие этические границы и рекомендации им следует соблюдать, особенно если политика служит также источником коллективного смысла. Его доклад 1919 г. должен был восполнить недостающие ответы.

Любому политику, согласно Веберу, необходимо обладать тремя качествами: страстью, чувством ответственности и пониманием меры. Страсть означает не романтический культ переживаний, а преданность избранному делу. Однако страсть слепа, если не опирается на чувство меры и чувство ответственности, иначе говоря, на способность соблюдать дистанцию по отношению к вещам и людям и проявлять сдержанность в проявлении чувств. И наоборот, недостаток объективности — и бездумное поклонение власти — смертный грех для политика.

Студентам, слушавшим доклад Вебера «Политика как призвание и профессия», могло вначале показаться, что он проводил четкое различие между «этикой убеждения»

117. И все же существовало противоречие между постулатом политической инфантильности масс и требованием, чтобы они обеспечивали обратную связь для политиков и даже становились для них сдерживающим фактором.

(или чистых намерений) и этикой ответственности, отдавая явное предпочтение последней. Этика убеждения носила безусловный характер, делая практика ответственным лишь перед своей собственной совестью. Политики убеждения, такие как радикальные пацифисты и утопические социалисты, превыше всего стремились хранить чистоту намерений. С точки зрения Вебера, они наивно верили в то, что из блага следует только благо, а из зла одно лишь зло. Они просто не могли понять автономного характера политики и признать этическую иррациональность мира, кишащего непредвиденными последствиями. Однако, отрицая, они все же не могли избежать внутренней логики политики, а именно неизбежного присутствия насилия. Люди, придерживавшиеся этики убеждения, никогда не брали на себя ответственность за последствия, ведь их намерения были чисты. Вебер считал такую позицию неприемлемой: «Если последствия действия, вытекающего из чистого убеждения, окажутся скверными, то действующий считает ответственным за них не себя, а мир, глупость других людей или волю Бога, который создал их такими»¹¹⁸.

Напротив, этика ответственности означала, что политик учитывает непредвиденные последствия своих действий, идет на компромисс и признает этические опасности, заключенные в его решении позволить сделать из себя игрушку парадоксальных, даже демонических сил, проявляющих себя в политике. Но какова должна быть мера оценки последствий и решений о том, какие последствия приемлемы либо неприемлемы? Веберу не хотелось рисовать образ политика, разделяющего этику ответственности, как чистого прагматика или даже оппортуниста. Политик такого рода должен принять решение о своем мировоззрении, выбор которого не имеет рациональных оснований. К тому же, скорее всего, в какой-то момент он оказывается в ситуации, когда, не в состоянии оправдать свою позицию рационально, он вынужден будет воскликнуть: «На том стою и не могу иначе».

Но не означал ли этот крик души, что этика ответственности терпит крах и становится этикой убеждения? Вебер настаивал на том, что это не этическая проблема, но «нечто

118. Weber, *Politik*, 237–8; Вебер М. Политика как призвание и профессия. С. 697.

человеческое и трогательное». «Ибо такое именно состояние, для каждого из нас, кто, конечно, внутренне не умер, должно когда-то иметь возможность наступить. И постольку этика убеждения и этика ответственности не суть абсолютные противоположности, но взаимодополнения, которые лишь совместно составляют подлинного человека, того, кто *может* иметь „призвание к политике“»¹¹⁹.

Подлинная этика ответственности поэтому располагает-ся между эгоцентричным бегством от политического мира и безжалостным оппортунизмом.

Но каким образом эта интуиция могла быть претворена в либеральную политическую практику? Вебер остро, испытывая тревогу, сознавал, что социальный базис либерализма разрушен и в глазах многих современников целый ряд его идеалов — прежде всего прогресса и прав человека — дискредитирован. При этом он считал, что отказ от идей Просвещения, даже вполне искренний, является крайне безответственным шагом, предупреждая реакционеров всех мастей: «величайший самообман верить, что без достижений Эпохи Прав Человека кто-либо из нас, включая крайних консерваторов, мог бы продолжать жить своей теперешней жизнью». Но вера в природный закон или любое другое метафизическое основание прав более невозможна в мире, утратившем иллюзии. Если уж на то пошло, Вебер был даже готов историзировать и релятивизировать либеральные достижения. И, конечно, он не мог прибегнуть в обосновании либерализма к утилитаристскому «счастью», которое казалось ему равнозначным стадному счастью толпы.

Но что же может служить обоснованием либерализма в эпоху массовой демократии? Наиболее правдоподобным теоретическим ответом, с учетом политических и социологических позиций, которые занимал Вебер, мог стать следующий: либерализм должен дать новую концепцию культуры (которая для Вебера с необходимостью означала культуру национальную) и ее задач. Достичь этого можно только с помощью политики: публичная политика, исполненная чувства своего достоинства (и потому покидающая поле силовой политики и мелких споров о пользе), могла бы

¹¹⁹ Ibid., 250; Там же. С. 705.

отвоевать некоторые из «самых высоких ценностей», которые из нее ушли¹²⁰. Кроме того, либералы могли бы апеллировать к плюрализму. В известных обстоятельствах и учитывая волю человека к свободе, плюрализм ценностей может стать оправданием либерализма, но не в качестве надежного философского фундамента, а чисто прагматически. Признайте разнообразие ценностей и человеческую потребность в выборе смысла из числа этих ценностей, и индивидуализм (и толерантность) будут по меньшей мере выглядеть привлекательными предложениями¹²¹. Каждому индивиду должна быть предоставлена возможность выбора ценностей (и жизненных мучений, к которым может привести такой выбор). Любой сделанный индивидом выбор должен в каком-то смысле получить признание, и не потому, что он объективно правилен, но потому, что мы должны, по словам Вебера, «считать объективно ценными те глубочайшие внутренние начала „личности“, те высшие и самые последние ценностные суждения, которые определяют наше поведение и придают смысл... нашей жизни».

Однако общие соображения — это одно, а уважение к политическому выбору, совершаемому в реальных обстоятельствах, — другое. В трагических обстоятельствах 1919 г. Вебер выносил суровые оценки. Вскоре после сделанного Вебером доклада Курт Эйсер потерпел поражение на первых выборах, устроенных в Баварской республике. В день, когда он собирался уйти в отставку, его застрелил юный аристократ правых взглядов. Начались революционные волнения, была провозглашена советская республика, занявшая место высмеивавшейся коммунистами «псевдосоветской республики». Как мы видели, Вебер ни секунды не верил в непосредственную демократию, в Советы как способ политического самоуправления или в «народных депутатов», не имевших права на собственное мнение и отзываемых в любой момент. И дело было не в поверхностности обывателей. В Гейдельберге Вебер служил в Совете и позднее уважительно высказывался о порядочности, дисциплинированности и *Sachlich-*

120. Thornhill, *Political Theory*.

121. Richard Bellamy, *Liberalism and Modern Society: An Historical Argument* (Cambridge: Polity, 1992), 211–16.

keit, т. е. реализме, простых рабочих и солдат (радуясь тому, что немцы все же остаются *Disziplinvolk*)¹²².

Но в баварском эксперименте, полагал Вебер, было что-то несерьезное. После подавления советской республики он стал свидетелем по делу писателя Эрнста Толлера — поэта и социалиста, превратившегося в пылкого пацифиста после того, как он побывал на западном фронте. Толлер посещал воскресные собрания, которые Вебер устраивал в Гейдельберге для студентов и интеллектуалов; возможно, находился в аудитории и слушал доклад «Политика как призвание и профессия». Весной 1919 г. Толлер недолго командовал баварской «Красной армией» и теперь обвинялся в государственной измене, за которую полагалась высшая мера наказания. В глазах Вебера Толлер был просто литератором, потерявшимся в политике, и даже чистым *Gesinnungsethiker* (политиком убеждения). По словам жены Вебера, тот говорил о Толлере: «Бог в своем гневе сделал его политиком». В суде Вебер свидетельствовал в пользу Толлера и мог даже спасти ему жизнь; впрочем, адвокат Толлера считал, что акцент на политической неопытности его клиента, который делал Вебер, лишь ухудшил положение подсудимого. В то же время Вебер приветствовал рыцарственное поведение в суде убийцы Эйснера, хотя и сожалел, что после вынесения приговора тот не был расстрелян, а стал вместо этого предметом обсуждений в кофейнях, в то время как Эйснеру поклонялись как политическому мученику¹²³.

Раздраженный карьерной неудачей в демократической партии (из которой он вышел в апреле 1920 г.), Вебер продолжил нападки на бездушных партийных политиков. Тем не менее ему все же удалось оказать влияние на составление новой немецкой конституции. В целом конституция наделяла парламент гораздо большей властью, чем, как он считал, было необходимо, но в которую все же было включено право больших и малых групп на *enquête* (контроль над бюрократией), как и предложение Вебера о сильном, избирае-

122. Weber, *Max Weber*, 681.

123. Joachim Radkau, *Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens* (Munich: Hanser, 2005), 779–81. Вебер всегда ставил в вину Эйснеру, что тот опубликовал секретные документы августа 1914 г., которые, похоже, доказывали правоту союзников — войну развязала именно Германия.

мом на прямых выборах президенте как противовесе парламенту, — пост, который в идеале должны были занимать те, кого Вебер не колеблясь называл «героями». И все же конституция угождала всем, предлагая либеральный парламент с пропорциональным представительством, народные референдумы и квазимонарха в виде президента. Как заметил теоретик права Франц Нейман, это была не систематически построенная основа политической жизни, а, скорее, «совокупность договоров между могущественными общественными и политическими силами Германии», в частности между трудом и капиталом, а также между армией и государством¹²⁴.

Макс Вебер умер в 1920 г., став свидетелем первых шагов злополучной Веймарской республики. Падение монархии и успехи либеральной демократии укрепили его во мнении, что государство в форме бюрократии готово служить кому угодно, пока само ее существование гарантировано правителями. Вебер был убежден также, что настоящие революции достигают цели только в том случае, если революционеры приводят с собой аппарат. Последний должен создать контргосударство (иначе революционеры превратятся в совет управляющих для контроля над специалистами, делающими то, что они всегда делали; Вебер полагал, что именно это, по всей видимости, и происходит в России). В конечном счете революционерами движут те же мотивы, что и буржуазными политиками: последние кормятся за счет политики, первые — за счет революции. Именно поэтому, согласно Веберу, большевикам так нравилась идея перманентной революции.

Либерализм Вебера отличался своеобразием, и трудно вообразить, что он сказал бы, если бы прожил дольше и застал глубокий кризис Веймарской республики начала 1930-х гг. Друзья и последователи искренне считали (и распространяли эту свою точку зрения), что он находился бы тогда в центре политической жизни; жена видела его в роли канцлера¹²⁵. Но сам Вебер с грустью замечал, что слишком

124. Цит. по: Charles S. Maier, *Recasting Bourgeois Europe* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), 57.

125. Radkau, *Max Weber*, 738.

эмоционален и начисто лишен необходимых для политика «крепких нервов». В научном мире он всегда был возмутителем спокойствия, способным страстно ненавидеть и совершенно не склонным к компромиссу (да и зачем ученому иметь склонность к компромиссу?). Призывая к реализму в политике, он не колеблясь отстаивал национальный престиж и достоинство как высшие политические ценности. Однако новая демократическая эпоха требовала как раз готовности к компромиссу и определенной сдержанности в выражении националистических чувств. Это хорошо понимал и сам Вебер.

Война оставила после себя новые нормы, но не привела к появлению работоспособных институтов для их выполнения или придания им силы закона. Новые конституции создали основу для хрупкого баланса общественных сил, но не давали политике общего морального базиса, а тем более не обеспечивали долговременного конституционного урегулирования. Идеал национального самоопределения через образование однородных государств побуждал к дальнейшим действиям по «национальному очищению», не приводя к гармоничным отношениям между самоуправляемыми автономиями. Новый международный порядок, предугаданный «философом» Вудро Вильсоном, который стремился, по формулировке Кейнса, «подчинить мировых государей», с самого начала содержал в себе внутренние конфликты. В частности, хотя международное и внутреннее всегда были связаны друг с другом, теперь эта связь стала еще более явной в применении к слабым государствам, образованным в 1919 г. Это означало, что неудачи в проведении политики коллективной безопасности — и системы защиты малых групп, предложенной Лигой Наций, — почти сразу привели к резкому ухудшению качества всего, что могло быть связано с либеральной демократией. Уже в 1922 г. Кейнс отмечал: «вопиющий парадокс состоит в том, что первый опыт международного управления содействует усилению национализма»¹²⁶.

Проживи Вебер дольше, его постигло бы крайнее разочарование, особенно в связи с судьбой институтов, которые

126. Keynes, *Revision*, 14; Кейнс Дж. М. Общая теория... С. 627.

должны были составить демократию лидерства: парламенты продолжали терять власть, уступая ее государственным бюрократиям, а также бизнесу и представителям рабочих, которые вступали в компромиссы под эгидой государства (что еще больше стирало границы между публичной политической и частной экономической властью)¹²⁷. А это, в свою очередь, подрывало остатки веры в парламентаризм. Уже в 1923 г. немецкий мыслитель-правовед правого толка Карл Шмитт, некогда участник веберовского семинара молодых лекторов в Мюнхене, опубликовал интеллектуальное свидетельство о смерти парламента и его главных принципов — открытости и свободы дискуссий: «Положение парламентаризма в наши дни столь критично, потому что развитие современной массовой демократии сделало публичную дискуссию с использованием аргументов пустой формальностью. Поэтому многие нормы современного парламентского права, прежде всего предписания относительно независимости депутатов и публичности заседаний, выглядят как избыточные декорации, ненужные и даже сомнительные, как если бы кто-то разрисовал батарею современного центрального отопления красными языками пламени, чтобы создать иллюзию живого огня»¹²⁸.

Парламент стал фасадом. Реальная власть была возложена на могущественные общественные группы. Никакие другие оправдания парламента, согласно Шмитту, больше не работали. Шмитт не признавал дополнительной роли, которую Вебер отводил законодательным собраниям: «Если же кто-то все еще верит в парламентаризм, он должен привести новые аргументы. Ссылок на Фридриха Наумана, Гуго Прејса и Макса Вебера уже недостаточно. При всем уважении к этим мужам, сегодня больше никто не разделяет их надежды на то, что парламентом как таковым гарантировано образование политической элиты»¹²⁹.

127. Maier, *Recasting*.

128. Carl Schmitt, *The Crisis of Parliamentary Democracy*, trans. Ellen Kennedy (1923; Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988), 6; Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма. Предварительные замечания. (О противоположности парламентаризма и демократии) // *Социологическое обозрение*. Т. 8. № 2. 2009. С. 9.

129. *Ibid.*, 7; Там же. С. 10.

Под ударом оказались и другие либеральные институты. Обеспокоенность тем, что власти закона приходит конец, — уже высказанная Вебером, который диагностировал деформализацию права, — была усилена появлением у государства множества новых задач, что в глазах либералов означало делегирование еще большей власти совершенно неподконтрольным бюрократиям. В 1929 г. лорд Хьюарт, лорд — главный судья Англии, предупредил своих сограждан, заявив, что усиление управленческих функций государства порождает «деспотическую власть, которая ставит министерства над суверенитетом парламента и одновременно выводит их из-под юрисдикции судов»¹³⁰. Власть «министерского деспота», опытного бюрократа, «одновременно искусного и великодушного», разрушает «самоуправление» и приводит к «беззаконию управленцев».

Интересно было бы сравнить новую политику воли, которая появилась после Первой мировой войны в двух версиях: ленинской и националистической, с либеральной веберовской политикой, восславлявшей разумный компромисс. Однако представление Вебера о современной массовой политике базировалось также на необходимости веры в лидеров, а его представление о новом либеральном государственном управлении, которое могло бы объединить всю нацию в целом, по-видимому, предполагало националистическую внешнюю политику. Либеральных ответов на вызовы новой демократической эпохи не появилось и к середине 1920-х гг., когда тенденция к демократии дала задний ход и, как заметил Поль Валери, распространилась «зараза» диктатуры. В отсутствие сколько-нибудь прочного конституционного урегулирования европейцы продолжали экспериментировать с политическими формами и принципами.

¹³⁰ The Rt Hon. Lord Hewart of Bury, *The New Despotism* (London: Ernest Benn, 1929), 14.

ГЛАВА 2

Межвоенные эксперименты: новые люди, переделка душ

Кризис в том и заключается, что старое умирает, а новое не может родиться. В этом междуцарствии возникают самые разнообразные феномены.

Антонио Грамши

Повсюду люди ждут мессию, воздух наполнен обещаниями больших и малых пророков... у нас одна судьба: мы несем в себе больше любви и еще больше желаний, чем способны удовлетворить сегодняшнее общество. Мы все созрели для чего-то, но нет никого, кто соберет урожай...

Карл Маннгейм

Мы стремимся еще больше расширить ряды партии... и сделать ее истинной, великой партией народа, которая при поддержке большинства осуществит мечту о... народном доме [folkhemmet]. Предпосылкой этого сплочения служит политика, учитывающая потребность в различных группах и без предвзятости экспериментирующая с различными способами удовлетворения законных требований, откуда бы такие требования ни поступали.

Пер Альбин Ханссон

Пытаться сегодня практически предвосхитить этот грядущий результат вполне развитого, вполне упрочившегося и сложившегося, вполне развернутого и созревшего коммунизма, это все равно что четырехлетнего ребенка учить высшей математике... Мы можем (и должны) начать строить социализм не из фантастического и не из специально нами созданного человеческого материала, а из того, который оставлен нам в наследство капитализмом. Это очень «трудно», слов нет...

В. И. Ленин

«Период разного рода экспериментов» — так французский философ Поль Рикёр однажды описал годы своей молодости — период между двумя войнами¹. Томаш Масарик, за-

1. Paul Ricoeur, *Critique and Conviction: Conversations with François Azouvi and Marc de Launay*, trans. Kathleen Blamey (Cambridge: Polity, 1998), 13.

няв пост первого президента нового чехословацкого государства, назвал Европу после 1918 г. «лабораторией, построенной на гигантском кладбище, которое оставила после себя мировая война»². В каком-то смысле европейцы были вынуждены экспериментировать: как традиционная, так и династическая легитимность уже не работали, а новые принципы еще не прижились. Либеральная реставрация была невозможна: в политике появилось слишком много новых людей, которые предъявили слишком много новых требований. Невозможной оказалась и социалистическая революция, теоретически предсказанная Лениным. Не только коммунисты были глубоко разочарованы тем, что «непомерно самодовольная власть организованного труда»³ (по выражению британской социалистки Маргарет Коул) в послевоенный период так и не была использована для осуществления фундаментальных политических изменений. В частности, социалисты, критически оценивавшие русскую революцию, говорили о забвении института, который мог, в их глазах, стать многообещающим инструментом революции и позволял обойтись без авторитарной партии-авангарда. Имелись в виду рабочие и солдатские Советы, которые сыграли свою роль не только в период непосредственно до и после Октябрьской революции, но возникали в то время по всей Западной Европе. К 1920 г. они были либо распущены, либо поглощены парламентским плюрализмом.

Таким образом, социалистическая и коммунистическая политическая мысль после 1919 г. должна рассматриваться через призму ее поражения: левые интеллектуалы почти повсюду считали, что в борьбе политических сил наступила патовая ситуация и надо решать, что делать дальше: работать в структурах парламентской демократии или готовить революцию. Многие начали поиски путей осуществления фундаментальных перемен, не предполагающих насильственного переворота по советскому образцу. В частности, появилась идея захвата культуры и «перевоспитания» больших групп населения в духе соответствующих общих ценно-

2. Karel Čapek, *Talks with T. G. Masaryk*, trans. Dora Round, ed. Michael Henry Heim (1935/8; North Haven, Conn.: Catbird, 1995), 247.

3. Margaret Cole, *The Life of G. D. H. Cole* (New York: St Martin's, 1971), 62.

стей с последующим использованием политических институтов для преобразования экономики. Например, правовед и социалист Отто Киркхаймер доказывал, что власть большинства оправдана только в том случае, если граждане разделяют общие моральные ценности, а механизм голосования используют для того, чтобы найти наилучшие способы их реализации⁴. Иначе говоря, в отсутствие ценностного консенсуса внешне демократические процедуры на деле означают угнетение меньшинства, и поэтому подлинная социалистическая демократия зиждется на предварительном терпеливом выстраивании такого консенсуса. А такое выстраивание консенсуса с необходимостью носит как моральный, так и *культурный* характер.

Плюрализм и его проекты

Когда Муссолини заявил: «Это век коллектива, следовательно, век государства», — он не сказал ничего специфически фашистского. Как мы видели в предыдущей главе, в Западной Европе Первая мировая война придала сильный импульс идее социализма как централизованного, направляемого государством экономического уклада. На Востоке Ленин очень скоро отказался от идеала децентрализованного государства-коммуны в пользу немецкого военного социализма. Но что было бы, если бы эта тенденция не получила развития, а способом преобразования общества начали считать не использование государства, а полное его дезагрегирование? Эта мысль явно не совпадала с направлением, в котором развивалась Европа в XX в. В лучшем случае она подошла бы Южной Европе, где традиционно сильные позиции продолжал занимать анархизм. Впрочем, самая рафинированная версия этой интуиции принадлежала на самом деле ряду английских ученых-джентльменов, а именно плюралистам.

Плюрализм не был исключительно левым феноменом. Британский историк церкви Дж. Н. Фиггис, которого никак

4. Ricardo Bavaj, Otto Kirchheimers Parlamentarismuskritik in der Weimarer Republik // *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, vol. 55 (2007), 33–51.

не назовешь социалистом, но работы которого стали источником вдохновения для плюралистической мысли, настаивал на том, что в современных условиях роста могущества государств групповой плюрализм является единственным средством, позволяющим спасти самоуправление. В 1913 г. он заявил, что «битва за свободу в этом столетии ведется мелкими сообществами за сохранение своей внутренней жизни против всепожирающего Левиафана общества в целом»⁵. Индивид сам по себе уже проиграл это сражение, но для групп надежда на победу не утрачена.

Глубокое впечатление на плюралистических мыслителей произвела немецкая *Kulturkampf*. На их взгляд, конфликт между Бисмарком и католиками, который, как считали многие, закончился поражением железного канцлера, доказал, что казавшийся всемогущим государственный суверенитет является иллюзией. Государства, судя по всему, могли функционировать в отсутствие культурной однородности, предоставляя группам, таким как союзы и церкви, гораздо большую свободу действий, чем считалось возможным в государственных традициях политической мысли.

В подкрепление этого антиэтатистского взгляда на свет были извлечены старые правовые формы. В конце XIX в. немецкий историк права Отто фон Гирке проводил различие между «единством во множестве» как «антично-современной» концепцией политической ассоциации и «множеством в единстве» как концепцией средневековой⁶. Аналогичное различие проводилось между *Herrschaft*, или правлением на основе права, и *Gemeinschaft*, или общиной и братством. Древнегерманский идеал братства должен был служить моделью групповой жизни и противостоять современной тенденции к единообразной правовой регуляции по вертикали, основанной на римском праве.

Английские плюралисты заимствовали название своего движения у американского философа Уильяма Джемса, а не у Гирке. Но они соглашались с его амбициозным планом дезагрегации государственности и критикой кон-

5. J. N. Figgis, *Antichrist, and other Sermons* (London: Longmans, Green and Co., 1913), 226.

6. David Runciman, *Pluralism and the Personality of the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 37.

цепций единого суверенитета. А еще они полагали, что Англия — лучшее место для реализации такого проекта⁷. Плюралисты доказывали, что их страна на самом деле никогда не разделяла традиционной континентальной идеи государства как единовластия. В 1915 г. Эрнест Баркер в статье с характерным названием «Дискредитированное государство» заявил, что английское государство давно «привыкло к недоверию» и что, «говоря по правде, оно никогда особенно не стремилось к тому, чтобы завоевывать доверие, не возвеличивало и не превозносило своего положения»⁸. Английская жизнь, писал Баркер, всегда тяготела к созданию слабо сплоченных групп с частично совпадающим членством: «Англия похожа на Оксфордский университет или, в этом смысле, на любую другую амебу и способна быстрым процессом деления избавляться от коллегий и советов»⁹. По очевидным причинам идея Англии как «компанейской страны» в противовес присущему «прусской философии» культу государства пользовалась популярностью во время Первой мировой войны. Война усилила также опасения, что государство превратится в «тиранического господина» (выражение социалистического мыслителя Дж. Д. Г. Коула).

Плюралисты предлагали децентрализацию и демократию внутри групп, а также между группами, которых должно было быть как можно больше. Источником вдохнове-

7. David Runciman, *Pluralism and the Personality...*, 84. Судебные процессы по делам Шотландской свободной церкви и У. В. Осборна оказали на Великобританию такое же влияние, какое Kulturkampf оказала на Германию. На первом процессе палата лордов запретила слияние Шотландской свободной церкви с Объединенными пресвитерианами, несмотря на то что подавляющее большинство в обеих церквях выступали за союз. Осборн был секретарем подразделения Союза железнодорожных служащих и отказался выполнить требование профсоюза о пожертвовании в пользу лейбористской партии (он выиграл дело, после чего апелляционный суд и палата лордов поставили вопрос о большей степени участия государства в четком определении группами и ассоциациями своих целей). Оба этих процесса поставили серьезные вопросы о природе групп (имеют ли они свою собственную жизнь, цели и «дух», независимые от индивидуальных членов?), а также продемонстрировали попытки государства регулировать деятельность ассоциаций.

8. Ernest Barker, *The Discredited State* // *Political Quarterly*, no. 5 (1915), 101–21; here 106.

9. *Ibid.*, 108.

ния служил, в частности, пример Соединенных Штатов, которые процветали во всем в отсутствие традиции сильного государства. Профессор политологии и политик-лейборист Гарольд Ласки во время войны изучал в Гарварде федерализм. Там он впервые высказал мысль, что необходимо отказаться от германской концепции государства с его «мистическим монизмом» и от любой идеи государства как «современного Ваала, перед которым гражданин должен беспрекословно склонять усердное колено». Государство, настаивал Ласки, не может требовать автоматического послушания, оно должно доказывать свою правоту¹⁰. Ласки приводил в качестве примера неподчинение Акту 1916 г. тех, кто отказывался от несения военной службы по идейным соображениям: на практике понятие всемогущего государственного суверенитета оказывается фиктивным¹¹. Плюрализм содержал в себе радикальный и даже анархический элемент, и Ласки навлек на себя серьезные неприятности в 1919 г., поддержав забастовку бостонской полиции и призвав полицейских создать свой собственный профсоюз. Названный коллегами по кафедре государственного правления «будуарным большевиком», он покинул Гарвард, хотя руководство университета поддерживало его вопреки развернувшейся публичной критике и не обращало внимания на требования выпускников о его увольнении (президент университета позднее подсчитал, что британский социалист стоил Гарварду примерно 300 тысяч долларов недополученных пожертвований)¹².

Самая радикальная (и последовательная) концепция плюрализма была предложена Коулом, преподававшим в Лондоне, а затем в Оксфорде. Подобно Ласки, Коул считал, что государство — не просто средство классового угнетения, но что оно органически не способно к подлинной демократии. Он доказывал, что «обладающее всеобъемлющими полномочиями государство со своим обладающим всеобъемлющими полномочиями парламентом... не подхо-

10. Isaak Kramnick and Barry Sheerman, *Harold Laski: A Life on the Left* (New York: Allen Lane, 1993), 93.

11. Andrew Vincent, *Theories of the State* (Oxford: Blackwell, 1987), 184.

12. Kramnick and Sheerman, *Laski*, 136.

дит ни одному истинно демократическому обществу и должно быть уничтожено либо просто отменено»¹³. Коул защищал «гильдейский социализм», согласно которому рабочие должны самоорганизоваться в гильдии и установить контроль над производством. Наилучшим является прямой контроль, но в случае абсолютной необходимости приемлемо делегирование (и, следовательно, представительство). Правда, Коул призывал к новому принципу представительства, основанному на функциональном, а не на территориальном признаке: это, по сути дела, означало деление людей по профессиям или другим объединяющим их интересам, а не по месту жительства (как разъяснял Ласки, «каждый может убедиться, что железные дороги не менее реальны, чем графство Ланкашир»)¹⁴. Коул считал также необходимым многократное голосование: «Человек должен располагать таким количеством различных и отдельно подаваемых голосов, сколько у него различных общественных целей или интересов»¹⁵. Короче говоря, только в том случае, если будут представлены все интересы и цели человека в различных ассоциациях, и в качестве производителя, и в качестве потребителя, можно говорить о реальной демократии и о том, что Коул называл «обществом, которое является самоуправляющимся в этом полном смысле, во всем объеме его деятельности»¹⁶. Таким образом, гильдейский социализм и плюрализм рассматривались в более широком плане как альтернативы и государственным моделям социализма, и либеральному индивидуализму.

Впрочем, вскоре выяснилось, что групповой плюрализм сталкивается с целым рядом теоретических проблем, а в практической плоскости — с конкуренцией со стороны массовых партийных систем, получивших развитие после Первой мировой войны. В плане теории получалось, что «дискредитированное государство» все же неизменно возвращается, как его ни гони, через «заднюю дверь».

13. G. D. H. Cole, *Guild Socialism Restated* (1920; London: L. Parsons, 1921), 32.

14. Harold Laski, *The Foundations of Sovereignty and Other Essays* (New York: Harcourt, Brace & Company, 1921), 70.

15. Cole, *Guild Socialism*, 33–4.

16. *Ibid.*, 12–13.

Коул заявлял, что государство больше не должно заниматься принуждением, его задача заключается в «координации» деятельности саморегулирующихся групп. Однако для определенных общенациональных задач, признавал он, все же требуется центральная власть, или, как он говорил, национальная «Коммуна». Критики отмечали, что слушающие, стоявшие во главе таких органов власти, могли бы, «посмеиваясь, говорить „l'état c'est moi“»¹⁷. Иначе говоря, по всему выходило, что современное сложное общество не может обойтись без централизованного бюрократического государства в духе Вебера. Это могло затушевываться имевшими средневековый привкус разговорами о гильдиях и т. п., но ничего не меняло в существе дела.

Карл Шмитт, критикуя Ласки и Коула, заявлял, что, по сути дела, суверен имеет место всегда, что государство не просто одна из ассоциаций или групп наряду с другими. Даже если ему не удастся во всех случаях добиваться своего, в любом случае оно одно может распоряжаться жизнью граждан (и своей властью решать, кто друг, а кто враг государства). Согласно Шмитту, «плюралистическая теория государства сама является плюралистичной, т. е. не имеет своего собственного центра, а заимствует идеи из различных интеллектуальных сфер (религии, экономики, либерализма, социализма и т. д.)». Впрочем, в конечном счете, говорил Шмитт, это еще одна версия либерального индивидуализма: государство и любые уже сформированные ассоциации «могут быть отозваны» индивидом¹⁸.

Критики менее суровые — в частности, не столь обремененные идеей, что политические институты должны пониматься и определяться в горизонте чрезвычайной ситуации жизни и смерти, — отмечали, что плюрализм возможен лишь при условии всеохватывающего морального консенсуса в отношении границ политики, а также высокой степени взаимной толерантности. Иначе говоря, он может подходить для Англии (или даже одного лишь Оксфорда), где самые острые конфликты не выходят за цивилизованные

17. Т. Р. Пауэлл цит. по: Stears, *Progressives*, 176.

18. Carl Schmitt, *The Concept of the Political*, trans. George Schwab (1932; Chicago: University of Chicago Press, 1996), 44–5.

рамки. Но он не способен решить фундаментальных проблем в эпоху укрепления государства, когда группы с конфликтующими целями находятся в состоянии постоянной мобилизации, а консенсус в отношении политики в целом отсутствует. Неудивительно, что некоторые мыслители, например Эрнест Баркер, впоследствии отказались от плюрализма и занялись вопросом, как лучше всего сохранить особые британские «традиции цивилизованности».

В конечном счете Ласки и Коул согласились с критикой этатистов и в середине 1920-х гг. начали отходить от плюралистических идей. К тому времени послевоенный экономический бум закончился, «великая стачка» шахтеров в 1926 г. потерпела поражение и все, что ранее могло быть сочтено полезными инициативами в области производственной демократии, было отвергнуто¹⁹. Ласки вообще отрекся от возвышенно-интеллектуального образа жизни, из которого, в первую очередь, и проистекал плюрализм. По одной из его формулировок, «мыслить [таким образом] легче среди мечтательных шпилей Оксфорда или гуляя в июне по прелестной окраине Кембриджа, чем делать это, находясь в положении шахтера из Уэльса, занесенного в черный список, или издольщика, который пытается извлечь хоть какие-то деньги из своего крошечного надела в Алабаме»²⁰.

Бывшие плюралисты делали теперь ставку на «парламентский метод», т.е. на поддержку лейбористской партии с целью завоевания большинства, как на главный инструмент в деле осуществления социализма. Это было возвращением к идее государства как главного средства политики, а также к фабианской идее централизации реформ. Последнюю Г. К. Честертон высмеял, нарисовав образ Беатрис Уэбб, которая «решает проблемы методом указаний — граждане получают распоряжения так же, как ее служанки на кухне»²¹.

19. В формулировке Маргарет Коул: «„Прямое действие“ и мечты синдикалистов поникли и умерли в мае того года. И только когда начались беспорядки 1968 г., стачка как политический инструмент вновь вышла на сцену». Cole, *Life*, 54.

20. Ласки. Цит. по: Julia Stapleton, *Englishness and the Study of Politics: The Social and Political Thought of Ernest Barker* (New York: Cambridge University Press, 1994), 5.

21. Цит. по: Kramnick and Sheerman, *Laski*, 156.

Коул и его жена Маргарет, по словам самой Маргарет, питали «романтические чувства к профсоюзам». Излечившись от романтизма, они присоединились к Ласки, полагая, что если лейбористская партия получит достаточно мест в парламенте, то может получиться «революция по согласию»²². Но одного количества мест в парламенте было недостаточно. Чтобы революция произошла и не обратилась вспять, настоятельно требовалось кое-что еще, а именно образование. Поэтому Коул и Ласки прилагали теперь громадные усилия, способствуя развитию системы образования взрослого населения, в частности образования рабочих. Этот путь не сулил быстрых результатов, в отличие от прямой дороги производственной демократии в период после 1918 г., но они все же были уверены, что он пусть медленно, но приведет к победе социализма.

Педагогическая политика

Идея социалистической массовой партии, которая завоевывает государственную власть через парламент и осуществляет радикальные перемены, вряд ли могла считаться новой в 1920-х гг. С конца XIX в. она являлась главной альтернативой с одной стороны анархическому идеалу массового восстания (с Парижской коммуной в качестве важнейшего исторического примера), а с другой стороны — ленинской партии-авангарду, отказывавшейся от массового членства. И начиная с того же времени представление о социалистической массовой партии страдало остро ощущавшейся неоднозначностью. В чем все-таки состоит конечная цель: в реформе либеральных буржуазных институтов, таких как парламент, или в их свержении?

Маркс и Энгельс не дали ясного ответа на этот вопрос. Иногда они как будто считали, что существует законный путь к революции («революции по согласию», в терминах Ласки) в стране вроде Великобритании, имеющей прочные либеральные институты и постоянно растущий рабочий класс. В других случаях они рекомендовали мятежную

22. Cole, *Life*, 58.

стратегию Коммуны. В 1891 г. Энгельс продолжал настаивать на том, что немецкие социал-демократы (самая крупная и в электоральном смысле наиболее успешная социал-демократическая партия континентальной Европы) официально придерживаются марксистского учения, т.е. связывают себя с революцией.

Однако, как оказалось, связать себя с революцией — не то же самое, что связать себя с ее организацией. Согласно ортодоксальной интерпретации марксизма как науки об исторических законах, кодифицированной Энгельсом (который заявлял, что «подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории»), социал-демократы могли лишь дожидаться того времени, когда капитализм перейдет в мир иной (а пока этого не произошло, делать свое скромное дело в парламенте ради облегчения участи рабочих). Лидер социал-демократов Карл Каутский произнес знаменитую фразу: «В нашу задачу входит не организация революции, но организация самих себя для революции»²³. Таким образом, марксизм, казалось, служил оправданием «пассивного радикализма», т.е. вполне уютной позиции революционной, но при этом не организующей и не совершающей революцию партии (еще одна любимая и не менее парадоксальная формула Каутского).

Но не все чувствовали себя столь комфортно, и не все были уверены, что необходимо дожидаться обострения внутренних противоречий капитализма. Еще один лидер СДПГ, Эдуард Бернштейн, посмел заявить, что многие предсказания марксистской науки оказались ложными. Британский пролетариат, например, становится все более буржуазным; сама буржуазия участвует в серьезных общественных реформах; общество в целом не спешит поляризоваться. Марксистская экономическая теория не в состоянии объяснить, почему заработная плата растет именно в тех отраслях, где наблюдаются высокие прибыли. В конце концов Бернштейн решил произвести ревизию марксиз-

23. Цит. по: Dick Geary, *The Second International: Socialism and Social Democracy* // Terence Ball and Richard Bellamy (eds), *The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 219–38; here 224.

ма, включив в него полное признание парламентской демократии — и не в качестве трамплина для последующей революции, но как строительного блока в здании самого социализма. Еще больший скандал в среде ортодоксальных марксистов вызвало его заявление, что социальная демократия есть полное осуществление *либеральных* ценностей, таких как автономия личности. По его словам, «демократия есть... одновременно средства и цель. Это оружие в борьбе за социализм и это форма воплощения социализма»²⁴. Бернштейн считал, что демократия как «школа компромисса» морально преобразовывает тех, кто в ней участвует: «Право голоса в демократии делает ее членов потенциальными партнерами в обществе», «и это потенциальное партнерство должно в конце концов привести к реальному партнерству». Он отвергал «диктатуру класса» как «политический атавизм» и доказывал, что «нет ни одной либеральной идеи, которая не входит в интеллектуальный инструментарий социализма»²⁵.

Эти заявления вызвали настоящий скандал, и в великом споре о ревизионизме (Масарик назвал его общим «кризисом марксизма») победил не Бернштейн. Его оппоненты, такие как Роза Люксембург, считали, что отказ от революции в пользу реформы равнозначен спасению капитализма и отречению от социализма. Второй Интернационал продолжал настаивать на неучастии в буржуазных правительствах. Как заявлял еще в 1900 г. один социалистический лидер, «социалист, вступающий в буржуазное министерство, либо перебежчик, либо капитулянт, сдающийся на милость врагу»²⁶.

Вопросы о «реформе или революции» и о том, возможно ли совершить революцию через согласие и образование, продолжали преследовать социал-демократов и после Первой мировой войны, когда их массовые партии, казалось, стали очевидными претендентами на доминирующую роль в европейской политике. Споры и практические дилеммы, связанные с выбором между реформой и революцией, на-

24. Eduard Bernstein, *The Preconditions of Socialism*, trans. Henry Tudor (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 142.

25. *Ibid.*, 148.

26. Карл Либкнехт. Цит. по: Geoff Eley, *Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000* (New York: Oxford University Press, 2002), 88.

шли самое яркое выражение у так называемых австромарксистов²⁷.

Кто такие были эти австромарксисты? Краткий, но совершенно правильный ответ заключается в следующем: это была группа студентов, которые вращались в высокоинтеллектуальной венской среде начала XX в. и регулярно встречались в кафе «Централь». По замечанию Гюнтера Неннинга, «в Вене того периода выбор нового кафе ясно указывал на приближение новой эры»²⁸.

Австромарксисты были не просто теоретиками. Карл Реннер занял пост президента первой Австрийской Республики, а после Второй мировой войны — пост президента второй Австрийской Республики. Отто Бауэр был не только оригинальным марксистским теоретиком национализма, но и лидером Социал-демократической партии Австрии, а также недолгое время министром иностранных дел.

Бауэр, в частности, принимал деятельное участие в урегулировании межнациональных проблем, особенно остро стоявших в Габсбургской империи, которая для социалистов сама представляла собой нечто вроде Интернационала. Он смело заявил, что социализм ни в коем случае не является антитезой национализму. Социализм не отменяет национальные различия, но подчеркивает их, поскольку впервые интегрирует «массы» в национальное культурное сообщество, из которого они с необходимостью были исключены в классовом обществе. Бауэр спрашивал: «Что знают наши рабочие о Канте? Наши крестьяне о Гёте?»²⁹ Только обобществленное производство освободит время для чтения Канта и Гёте, и только социализм создаст систему национального образования и, в конечном счете, новых людей. Впервые

27. Дальнейшее изложение основано по большей части на материале следующих книг: Helmut Gruber, *Red Vienna: Experiment in Working-Class Culture, 1919–1934* (New York: Oxford University Press, 1991), Anson Rabinbach (ed.), *The Austrian Socialist Experiment: Social Democracy and Austromarxism, 1918–1934* (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985), and Martin Kitchen, *The Coming of Austrian Fascism* (London: Croom Helm, 1980).

28. Цит. по: Том Bottomore, Introduction // Tom Bottomore and Patrick Goode (eds), *Austro-Marxism* (Oxford: Clarendon, 1978), 1–44; here 13.

29. Otto Bauer, *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie* (Vienna: Ignaz Brand, 1907), 92; Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия // *Нации и национализм*. М.: Праксис, 2002. С. 66.

в человеческой истории творцы и потребители культуры будут тождественны друг другу. Бауэр заявлял, что «социализм делает нацию автономной, ее судьбы — делом ее сознательной воли, приводит к *растущей дифференциации национальностей* в социалистическом обществе, к более резкому разграничению их характеров, к более отчетливой выработке их коллективных индивидуальностей»³⁰. С другой стороны, говорил он, чрезмерный национализм есть не что иное, как скрытая форма классовой ненависти. Он без следа исчезнет вместе с крушением капитализма.

Бауэр считал, что великое разнообразие наций следует холить и лелеять. Однако для него это не выливалось в требование государственного самоопределения каждой национально-однородной группы населения. Напротив, такие требования, считал Бауэр, являются на самом деле еще одним симптомом классового угнетения, а также губительной бюрократической централизации. В многонациональных империях, где господствует класс капиталистов, революционная энергия переводится в плоскость борьбы национальностей за централизованную власть. При социализме же национальности будут жить вместе в одном федеративном государстве и пользоваться культурной автономией. Бауэр предлагал ввести вместо территориального персональный принцип национальности. Поскольку Австро-Венгерская империя отличается крайней этнической пестротой, каждый гражданин, по Бауэру, должен выбрать свою национальную принадлежность самостоятельно. Компактные меньшинства получают статус независимых субъектов и будут сами управлять своими делами.

Эта мирная картина отвечала общему взгляду австромарксистов. Марксизм — это наука, но в еще большей степени язык универсальных моральных ценностей, потенциально обращенных ко всем «рациональным умам», а не только к разгневанным пролетариям³¹. Понимание того, что насильственная революция далеко не самый лучший способ осуществления человеческих ценностей, было развито в теориях Рудольфа Гильфердинга. Педиатр по образованию, он

30. *Ibid.*, 105; *Там же*. С. 71.

31. Kolakowski, *Main Currents*, 550–1.

в конце концов получил известность как наиболее влиятельный марксистский экономист XX в. В условиях «финансового капитализма» (термин Гильфердинга) монополии и картели в союзе с банками уже занимаются экономическим планированием на общенациональном уровне. Это позволяет государству играть гораздо более важную роль в экономическом управлении и планировании. И поскольку государство, согласно Гильфердингу, располагает высокой степенью автономности и само занимается планированием, революционеры должны захватить государство и использовать государственную власть для всемерного развития планирования. Таким способом «организованный капитализм» (термин Гильфердинга) обеспечит относительно мирный переход к социализму.

Все это была теория, которая расцветала в период, предшествовавший Первой мировой войне. После войны, когда монархия и империя Габсбургов пали, социалисты были призваны к практической деятельности. Предложенную Бауэром национальную политику можно было осуществить в некоторых новых государствах, имевших значительные по численности меньшинства. Однако потребности в таких экспериментах, мягко говоря, не было. Столь же проблематичным оказался и вопрос о социализме. С одной стороны, австромарксисты вроде бы занимали исключительно сильные позиции как крупная левая партия — образцовая и, в отличие от немецких социал-демократов, не имевшая конкурентов слева, со стороны коммунистов. По мере развития своих теорий эти интеллектуалы должны были на каждом шагу решать, защищать ли им социалистические завоевания, достигнутые при парламентской демократии, или переходить в революционное наступление (к которому их все еще обязывала теория). Поэтому на самом деле они находились в поисках чего-то вроде революции через реформы. В конце войны, как и следовало ожидать, они создали своего рода компромиссную организацию, получившую известность как Двухполовинный Интернационал (вскоре распущенный). Отчасти (но лишь отчасти) их общая стратегия потерпела поражение из-за нерешенности теоретических вопросов.

В 1920-х гг. Бауэр утверждал, что в отношениях между Веной, находившейся в руках социалистов, и остальной частью страны, остававшейся сельскохозяйственной, католи-

ческой и политически консервативной, сложилась своего рода демократическая патовая ситуация. Согласно разработанной им теории «равновесия классовых сил», власть надо было разделить между прогрессистами и консерваторами так, чтобы никто не получил явного преимущества. При этом он считал, что с помощью образования и через создание в австрийской столице привлекательной социалистической культуры партия могла постепенно привлечь на свою сторону высококвалифицированных рабочих и средний класс. Бауэр говорил о «медленной революции».

Однако, как отмечал тогда же правовед Ганс Кельзен, а позже признавал и сам Бауэр, идея равновесия классовых сил могла быть реализована только на самом первом этапе республики. После 1922 г., или примерно в это время, консерваторов уже не интересовал раздел власти. Социалисты же сосредоточили усилия на превращении Вены в витрину пролетарской культуры: улучшение условий жизни и образование должны были послужить развитию каждого отдельного рабочего, или, как говорил Бауэр, «революции душ». Почти все стало организовываться с помощью партии, от Симфонического оркестра рабочих и рабочего спорта (всегда командного и избегающего соревновательного индивидуализма) до Пролетарского клуба нудистов и Общества рабочих-кролиководов³². Эта культура должна была стать прообразом здоровой и рациональной жизни, основанной на ценностях братства и взаимопомощи. Но то, что историки называют сегодня «предварительным социализмом» или «политикой прообраза», не могло заменить настоящей власти. Революция душ в своем развитии так и не смогла дойти до революции политических институтов³³. Красная Вена превратилась в крепость, осажденную крестьянским консерватизмом, а социалисты все больше переходили на оборонческие, а то и прямо капитулянтские позиции. Эта ментальность нашла яркое выражение в архитектуре Карл-Маркс-Хоф. Хоф представлял собой квартал жилых зданий с дешевыми квартирами для рабочих. Но при этом выглядел как крепость.

32. Eley, *Forging*, 213.

33. *Ibid.*, 212–15.

Партийное руководство так никогда и не смогло разрешить противоречия между желанием соблюдать правила парламентской демократии и возможностью насильственного нарушения равновесия классовых сил с использованием *Schutzbund*, социалистических вооруженных отрядов. Конечно, не все тактические и стратегические ошибки можно было объяснить недостатками австромарксистской теории. Но, возможно, они все же были как-то связаны с тем фактом, что в философском плане лидеры так и не решили: следует ли считать социализм вопросом политической воли, вопросом универсальной, рациональной морали, или же это вопрос исторических законов?

Наступил момент, когда Троцкий обвинил австромарксистов в «консерватизме» и оппортунизме, а Ленин высмеял их как «мелкобуржуазных демократов», считающих, что вначале следует сотворить новые человеческие существа, а потом совершать революцию, вместо того чтобы совершить как можно быстрее революцию, которая создаст новых людей. Виктор Серж, в 1920-х гг. пылкий социалист (а впоследствии проницательный критик коммунистических пороков), замечал: «организующий и направляющий более чем миллион пролетариев, хозяин Вены, способный за несколько часов вывести на ринг пятьдесят тысяч шуцбундовцев в юнгштурмовках, неплохо вооруженных, как было известно, руководимый наиболее способными теоретиками рабочего мира, австромарксизм... благодаря мудрости, благоразумию, буржуазной умеренности избегал своей судьбы»³⁴.

Судьба настигла их 12 февраля 1934 г., когда австрийское государство, к тому времени «постлиберальный» режим во главе с христианско-социалистическим канцлером Энгельбертом Дольфусом и при де-факто упраздненном парламенте, вступило в вооруженное противостояние с остатками шуцбунда (который к тому времени был объявлен вне закона). До самого конца Бауэр верил в возможность сотрудничества, ради сохранения парламентской республики, даже с таким авторитаристом, как Дольфус. И тем не менее номинальная сила социалистов и остатки шуцбунда не спасли

34. Victor Serge, *Memoirs of a Revolutionary* (New York: Oxford University Press, 1963), 189; Серж В. *От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера*. М.: Праксис; Оренбург: Оренбургская книга, 2001. С. 230.

положения, несмотря на жестокие бои, которые шли вокруг Карл-Маркс-Хоф и других социалистических крепостей. Сотни человек были убиты, некоторых рабочих лидеров линчевали, а почти все «самые способные теоретики мирового рабочего класса» отправились в ссылку. Серж вспоминал, как в Париже более чем через десять лет он «не узнал Отто Бауэра, так сильно поражение избородило морщинами его полное, с правильными чертами лицо, некогда отмеченное такой благородной уверенностью. Вскоре он скоропостижно скончался от сердечного приступа, а на самом деле из-за поражения рабочей Австрии»³⁵.

Поражение социализма в одном, отдельно взятом городе нашло отклик по всей Европе (Ласки, например, направил послание, в котором «сальтовал мученикам Вены»). Появился миф о том, что стойкое пролетарское классовое сознание было предано некомпетентным руководством. Многие наблюдатели заключили также, что несмотря на то, что социалисты пытались почти любой ценой избежать гражданской войны, им в конце концов все же пришлось на нее пойти. Отчасти поражение было вызвано именно тем, что социалисты из всех сил стремились избежать столкновения. Однако на самом деле уроки Красной Вены не столь однозначны. С одной стороны, стало лучше понятно, что в странах с глубокими политическими разногласиями успешная трансформация в направлении социализма требует создания широких коалиций, основанных на убеждениях, которые не сводятся к пролетарской солидарности. С другой стороны, это как будто еще раз подтверждало ленинский императив, требовавший создания воинствующих партий-авангардов и решительного разрыва с буржуазной демократией.

Некоторые из самых новаторских марксистских политических мыслителей XX в. в Европе усвоили оба эти урока и разработали теории, в которых речь шла о завоевании не только средств производства, но и «культуры» и которые не отказывались при этом от в высшей степени эффективного политического орудия — харизматической партии. Самый важный мыслитель в этом ряду — Антонио Грамши,

35. *Ibid.*; Там же. С. 231.

который был не просто теоретиком, но, подобно Бауэру, сочетал в себе роли интеллектуала-новатора и лидера массовой партии.

Грамши вырос в Сардинии, известной своими шахтерскими волнениями и разгулом бандитизма. Его отец, госслужащий, был обвинен в растрате; заключение отца в тюрьму и финансовый крах семьи привели к тому, что Грамши пришлось потратить несколько лет на работу в местной налоговой инспекции, вместо того чтобы ходить в школу. Как и его преемник в руководстве итальянской компартии Пальмиро Тольятти, Грамши получил стипендию на обучение в Туринском университете, где увлекся лингвистикой, а параллельно занимался журналистикой, работая на социалистические газеты. Первые впечатления от столкновения с итальянским материком (и индустриальным обществом) оказались шоком для «законченного провинциала». Грамши писал в первом письме домой, что «короткая прогулка обращает меня в страх и трепет всякий раз, как приходится уворачиваться от наезда бесчисленных автомобилей и трамваев»³⁶.

Первой реакцией Грамши на угнетение и эксплуатацию, свидетелем которых он был на родном острове, стала своеобразная форма сардинского национализма, которой он поначалу придерживался. Впрочем, когда он начал лучше понимать проблемы материка, то превратился в марксиста. Но Грамши никогда не забывал о национальных и культурных противоречиях, с которыми столкнулся в юности. В течение всей жизни он сохранял острое ощущение того, что национальное объединение Италии осталось незавершенным: широкая пропасть продолжала разделять не только процветающий индустриальный Север и бедный аграрный Юг, но и «Италию по закону» (как называл ее Грамши), страну государственных институтов, и «реальную Италию», страну социальной и культурной раздробленности.

Во втором десятилетии XX в. Грамши превратился в ведущего социалиста-интеллектуала, вдохновлявшего и вдохновленного *biennio rosso*, красным двухлетием 1919–1920 гг., когда численность профсоюзов выросла с двухсот пятиде-

36. Цит. по: Giuseppe Fiori, *Antonio Gramsci: Life of a Revolutionary*, trans. Tom Nairn (1965; London: Verso, 1990), 70.

сяти тысяч до двух миллионов человек, весь Север Италии был охвачен забастовками, а социалисты стали крупнейшей партией в парламенте. Самым важным событием Грамши считал возникновение рабочих советов на фабриках и заводах Севера. Как и в других европейских странах во время Первой мировой войны, на производстве были созданы специальные органы, которые должны были вовлекать в планирование рабочих. В Италии их называли «внутренними комиссиями». В июне 1919 г. Грамши писал, что «внутренние фабрично-заводские комиссии» «ограничивают произвол капиталиста на предприятии и играют роль арбитражного и дисциплинарного органа. Завтра, разившись и приняв на себя новые функции, они станут органами пролетарской власти, которые заменят капиталиста в выполнении всех полезных функций по техническому руководству и административному управлению предприятием»³⁷.

Молодой сардинец сыграл важную роль в организации фабрично-заводских советов в Турине, своего рода «Петрограде итальянской революции». По мнению Грамши, эти советы должны были стать одновременно институтами рабочего самоуправления, *autogestione*, и базовыми ячейками политической демократии. Неявно предполагалось, что власть следует передать производителям: демократия — не абстрактная идея гражданского равенства, а социализм — не традиционные тред-юнионы (неизменно раскалывавшие рабочих различных профессий и квалификаций и быстро попадавшие под влияние бюрократических элит). Для Грамши советы должны были стать общественными институтами (в отличие от социалистических партий и профсоюзов) и выполнять производственные, законодательные и исполнительные функции. «Фабрично-заводской совет — прообраз пролетарского государства»; это «национальная территория» для «класса, не имеющего отечества». И это также, мечтал оптимист Грамши, — первый строительный блок совершенно новой интернациональной коммунистической экономики³⁸.

37. Antonio Gramsci, *Workers' Democracy* // Antonio Gramsci, *Pre-Prison Writings*, ed. Richard Bellamy, trans. Virginia Cox (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 96–100; Грамши А. *Избранные произведения*. Т. 1: Ордине nuovo. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957, С. 30.

38. Здесь я обязан работе Дарроу Шектер и особенно главе о советском ком-

Грамши с энтузиазмом выступал за модернизацию фабрик и заводов, за введение «тейлоризма» и других, как он выражался, «американизмов». Все это должно было ускорить отмирание остатков феодализма в итальянском государстве и итальянской экономике, сделать рабочих более дисциплинированными и стать предпосылкой возникновения пролетарского государства, в котором труд будет более эффективным и в то же время каким-то образом более свободным. Ленин хотел, чтобы русские рабочие стали немцами, а Грамши — чтобы итальянцы стали американцами. Впрочем, он так и не объяснил, как же в конце концов будут сочетаться бóльшая индивидуальная автономия, достигаемая через самоуправление, и бóльшая эффективность, достигаемая через общенациональное планирование. Не очень беспокоило его и то, что «рационализация» в американском духе и то, что он называл социалистическим «регулируемым обществом», могут сделать веберовский стальной панцирь еще более твердым и привести к полному отчуждению рабочих если не от продуктов, то во всяком случае от процессов труда.

Что сам Грамши думал о своей деятельности? В 1919 г. он явно полагал, что следует примеру своего великого кумира Ленина, которого превозносил как «знатока жизни» и «человека, пробуждающего души». Грамши надеялся скопировать революцию 1917 г., которая, на его взгляд, стала революцией, совершенной *вопреки* «Капиталу» Маркса. Россия была отсталой страной, такой же, как Италия, но революционная воля могла одержать победу именно на периферии капиталистического мира. Впрочем, Ленин к тому времени уже перешел от лозунга «вся власть Советам» к лозунгу «вся власть партии» и настаивал на решающей роли партии-государства в осуществлении его собственной версии «американизма».

Как и в России, в Италии остро стоял вопрос: власть Советов или власть партии? Что такое Советы: школы революции или главное орудие революционного действия?³⁹

мунизме. См.: Darrow Schecter, *Radical Theories* (Manchester: Manchester University Press, 1994).

39. James Joll, *Gramsci* (London: Penguin, 1978), 39.

Грамши давал ясный ответ: и социалистическая партия, и профсоюзы должны сосредоточиться на создании благоприятных условий для роста и упрочения Советов. Но, конечно, ни партии, ни профсоюзам не нравилась подчиненная роль, которую он им отводил. В реальности профсоюзам пришлось довольствоваться относительно мелкими уступками, и они были обмануты парламентом, обещавшим изучить проблемы производственной демократии и принять соответствующий законопроект. Советы, в которых Грамши видел нечто вроде моста к новому социалистическому отечеству, оказались в конце концов низведены на положение подсобных инструментов «производственных отношений»⁴⁰.

Biennio rosso сделало вполне реальной возможность повторения русской революции в Италии. Этим обстоятельством не преминули воспользоваться фашисты. В 1919 г. они напали на помещения, в которых располагалась компартия, и уже в 1921 г. Грамши пришлось прибегнуть к услугам телохранителя, чтобы свободно перемещаться по стране. Позднее он заметил, что «классовая борьба всегда принимала в Италии очень суровый характер из-за „человеческой“ незрелости некоторых слоев населения. Жестокость и отсутствие сочувствия, обе эти черты свойственны итальянскому народу, который переходит от детской чувствительности к самой грубой и кровавой дикости, от страстного гнева к холодному безразличию к страданиям других людей»⁴¹.

Грамши пытался противопоставить фашизму единый фронт сопротивления «снизу», что вновь поставило вопрос о национальном единстве. Он внимательно наблюдал за подъемом после 1919 г. сравнительно прогрессивной Католической народной партии и возражал против понимания социализма как формы антиклерикализма. По его мнению, добиваясь союза рабочих и крестьян, как это делал Ленин в России, необходимо создать эквивалент духовенства, чтобы воспитывать и вести за собой крестьян⁴². На взгляд Грамши, интеллигенты должны посвятить себя делу «постоян-

40. Maier, «Political Crisis».

41. Joll, *Gramsci*, 56.

42. *Ibid.*, 71.

ного убеждения», они должны быть «органически» связаны с «народной массой»⁴³. «История и политика не могут быть беспристрастными, существовать без эмоциональной связи между интеллигенцией и народом». Впрочем, это не означало идеологической обработки рабочих социалистическими интеллектуалами. Речь шла о подлинной культуре, пестуемой прежде всего в институтах общества, в частности в школах. В отличие от профсоюзных лидеров, отводивших культуре второстепенную роль в классовой борьбе, Грамши уже в 1917 г. утверждал, что культура не означает «знать немножечко обо всем». «У меня сократическое понимание культуры, — писал он, — я считаю, что это правильное мышление, о чем бы ни мыслил человек...»⁴⁴.

Культура для Грамши означала самопознание, самоконтроль и, главное, независимое мышление. Он решительно выступал против любых образовательных инициатив, таких как партийные народные университеты, если в них проявлялось покровительственное отношение к простым людям. Суть дела состоит в том, писал он, что «каждой революции предшествует напряженная критическая деятельность, процесс приобщения к культуре и распространения новых идей в массах, которые до этого ими совершенно не интересовались»⁴⁵. Таким образом, «страстная» педагогика должна была стать сутью формирования того, что Грамши называл «историческим блоком» — сочетанием «базиса» и «надстройки». Понятие исторического блока серьезно корректировало достаточно грубое представление, распространенное среди многих марксистов, что второе является простым отражением первого.

Грамши доказывал, что социалистическая революция и сохранение пролетариатом своего господствующего положения требуют завоевания «гегемонии» (в ленинском значении «гегемонии» как революционного классового союза

43. Joll, *Gramsci*, 91–3.

44. Цит. по: Joseph Buttigieg, Introduction // Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, vol. 1 (New York: Columbia University Press, 1992), 19.

45. Antonio Gramsci, *Socialism and Culture* // Gramsci, *Pre-Prison Writings*, 10; Грамши А. Социализм и культура // *Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века*. М.: Прогресс, 1986. С. 170.

рабочих и крестьян в России)⁴⁶. Гегемония означала здесь не подчинение (к чему подталкивает современное словоупотребление), а направляющую роль, в результате которой революционные лидеры приведут несколько классов к фундаментальным преобразованиям. Любимым примером гегемонии для Грамши были французские якобинцы. Гегемония, писал Грамши, «с необходимостью влечет за собой и подразумевает интеллектуальное единство»⁴⁷. На практике это означало, что любой человек по праву может считать себя частью революционной коалиции и вступать в нее, потому что, как считал (справедливо и ничуть не легкомысленно) Грамши, «все люди интеллектуальны» (хотя и добавлял: «но не все они выполняют в обществе функции интеллигентов»). Партийные интеллигенты были специалистами в деле постоянного убеждения, но подвергаться постоянному убеждению могли все вместе и каждый в отдельности представитель угнетенных классов.

Эта стратегия была разработана прежде всего для Италии, с ее не доведенным до конца национальным объединением, с «космополитическими» буржуазными интеллектуалами, мало что делавшими для национального единства, и с широкими крестьянскими массами, готовыми к тому, чтобы стать не немцами или американцами, но итальянцами. Подобно Бауэру, Грамши относился к национализму со всей серьезностью, хотя, скорее, как к средству. В конечном счете, полагал он, решающим остается классовый фактор. В то же время, на его взгляд, ленинский подход не годится для развитых стран, где количество крестьян очень сильно уменьшилось и где партия, воплощая «коллективную волю» пролетариата, должна действовать иначе⁴⁸. В частности, чем дальше на запад, тем сильнее становилось буржуазное гражданское общество. Это означало, что простое ниспровержение буржуазного государства само по себе ни в коей мере

46. Peter Ghosh, *Gramscian Hegemony: An Absolutely Historical Approach* // *History of European Ideas*, vol. 27 (2001), 1–43.

47. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, ed. and trans. Quintin Hoare, and Geoffrey Nowell Smith (1971; London: Lawrence & Wishart, 1996), 333; Грамши А. *Избранные произведения*. Т. 3: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959, С. 23.

48. Ghosh, *Gramscian Hegemony*.

не гарантирует окончательной победы коммунизма. Грамши призывал не обманываться идеей о легкости повторения русской революции: «На Востоке государство было всем, гражданское общество находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и гражданским обществом существовали упорядоченные отношения, и, если государство начинало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов»⁴⁹. Но там, где фронтальная атака на государство (по выражению Грамши — «маневренная война») не приносит успеха, коммунисты должны вести «войну позиционную», ведя политическую и культурную осаду буржуазного государства.

В Италии не получилось ни революции, ни единого фронта сопротивления фашизму во имя «совокупной воли народа». Когда Муссолини захватил власть, Грамши находился в Москве. Позднее он согласился с требованием Коминтерна о «большевизации» партии, что помешало создать единый фронт борьбы против фашизма. В 1924 г. этот «немогущий калека, которого Муссолини ненавидел, но уважал» (по словам Виктора Сержа) был избран в парламент, хотя успел произнести там всего одну речь (с которой согласно легенде его поздравил в фойе его злейший враг дуче)⁵⁰. В ноябре 1926 г., после того как был принят закон о лишении Грамши депутатской неприкосновенности, он был арестован. На суде обвинитель потребовал: «Мы должны на двадцать лет лишить этот мозг возможности работать»⁵¹. И Грамши действительно был осужден особым трибуналом на двадцать лет, четыре месяца и пять дней тюремного заключения. Но остановить работу его мозга не удалось: в тюрьме Грамши написал, пользуясь шифром, знаменитые «Тюремные тетради», в общей сложности тридцать пять тетрадей, в которых содержалась большая часть его идей, касавшихся необходимости создания гегемонии. Спустя десять с небольшим лет после ареста фашисты добились

49. Gramsci, *Prison Notebooks*, 238; Грамши А. *Избранные произведения*. Т. 3. С. 200.

50. Serge, *Memoirs*, 186; Серж В. *От революции к тоталитаризму*. С. 227.

51. Цит. по: Fiori, *Gramsci*, 230.

своего. Потеряв в тюрьме здоровье, Грамши умер от инфаркта в апреле 1937 г. Незадолго до этого он вышел на волю по решению суда об условно-досрочном освобождении, которого удалось добиться в результате международной кампании в его поддержку. На похоронах присутствовали его брат и сестра жены, которых окружали многочисленные полицейские охранники и тайные агенты.

Народный дом

В конечном итоге широкая просоциалистическая коалиция, объединяющая рабочих и крестьян, город и деревню, а также полная культурная гегемония свершились только в одной стране. Этой страной стала Швеция. И достигла этого социалистическая массовая партия, вступившая в союз сначала с либералами, а затем с крестьянством. Лидер *Sveriges Arbetarparti* (SAP, Социал-демократической партии Швеции) в первые годы XX в. Яльмар Брантинг сам начинал скорее как либерал. Он сотрудничал со шведским либеральным движением в деле продвижения закона о всеобщем избирательном праве и, как и Бернштейн, считал социализм формой полной реализации либерализма⁵². Брантинг предлагал также заключать межклассовые союзы и защищал национальный взгляд на социализм: «Цель... в том, чтобы через борьбу прийти к сплочению, которое... охватывает всю нацию и благодаря этому... включает всех людей»⁵³. Номинально он оставался марксистом, но марксизм, с его точки зрения, следовало понимать как «учение о развитии» и учитывать «общественные условия, которые со времен [Маркса] полностью изменились»⁵⁴.

Стратегия Брантинга была развита Пером Альбином Ханссоном, председателем SAP с 1928 г. и автором идеи о социалистической Швеции как *folkhemmet*, народном доме. Эта концепция была связана с идеями националистического

52. Berman, *Primacy*, 152–3.

53. Цит. по: *ibid.*, 157.

54. Sheri Berman, *The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998), 49.

мыслителя Рудольфа Кьеллена, а также с предложениями, которые выдвигали на рубеже веков консерваторы, о предоставлении всем гражданам жилища и небольших земельных участков с тем, чтобы остановить эмиграцию⁵⁵. Социалисты взяли на вооружение понятие народного дома (хотя некоторые члены партии продолжали его отвергать, считая слишком патерналистским)⁵⁶. Ханссон описывал свой проект следующим образом: «В основании дома лежат партнерство и чувство единства. В хорошем доме не признают ни привилегированных, ни отверженных членов, там нет ни любимчиков, ни приемных детей. В хорошем доме царят равенство, вежливость, взаимопомощь. Применительно к великому дому народа и граждан это означает уничтожение всех общественных и экономических барьеров, разделяющих граждан на привилегированных и изгоев, на правителей и зависимых лиц, на богатых и бедных, имущих и нищих, грабителей и ограбленных».

Дом должен создаваться и управляться партией, которая понимает себя во все большей степени как представительницу не частных классовых интересов, но «народа» в целом. Дом должен обеспечить всем *trygghet* — «надежность» (или «чувство надежности», только с более теплым оттенком). Подобно «реформированным плюралистам», таким как Дж.Д.Г. Коул, Ханссон подчеркивал значение образования, которое поможет рабочему классу любить, строить и поддерживать социалистический дом: «Социализм не наступит... пока массы не получают образования... и не изменятся сами способы мышления»⁵⁷.

Считалось, что «дом для всех» может быть построен различными способами и что, как особенно настаивал теоретик-самоучка Нильс Карлеби, социализация — лишь один из методов, при этом не обязательно наилучший. Другие теоретики называли политику партии «условными утопия-

55. Mary Hilson, *Scandinavia* // Robert Gerwarth (ed.), *Twisted Paths: Europe 1914–1945* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 8–32; here 25.

56. Timothy Tilton, *The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through the Welfare State to Socialism* (New York: Oxford University Press, 1990), 128.

57. Цит. по: Berman, *Social Democratic Moment*, 53. Ласки был назван «реформированным плюралистом» (chastened pluralist) У. Эллиотом: W. Y. Elliott, *The Pragmatic Revolt in Politics* (New York: Macmillan, 1928), 10.

ми» — разумеется, преобразующими, но неизменно гибкими и открытыми для ревизии. Все это было очень далеко от марксизма, понятого в качестве точной общественной науки, которая позволяет понять прошлое и настоящее и предсказывать будущее, а также от догматических теорий модернизации, проводившихся в жизнь в Турции и других странах на периферии Европы.

Важнейшей причиной успеха SAP в долгосрочной перспективе стала ее коалиция с крестьянством, основанная на принятии социалистами протекционистских мер в аграрном секторе⁵⁸. В 1933 г. SAP и Аграрная партия заключили договор, получивший прозаическое название «коровьей сделки». А в 1938 г. в отеле в пригороде Стокгольма было подписано Сальтшёбаденское соглашение, ставшее прецедентом не только для Швеции, но и для европейской социал-демократии в целом. Профсоюзы признали право менеджеров управлять производством, менеджеры признали право профсоюзов представлять рабочих, и те и другие попытались договориться об условиях, которые обеспечивали бы одновременно полную занятость и высокую производительность⁵⁹. Стороны достигли ни больше ни меньше соглашения о том, что государство не должно навязывать свои решения в случае конфликтов, которые якобы не способны разрешить профсоюзы и работодатели⁶⁰. Вопросы о собственности и о контроле над менеджментом даже не затрагивались; с другой стороны, богатые компании принимали на себя обязательства, касающиеся повышения благосостояния населения. Более амбициозные требования производственной демократии и рабочего самоуправления были отложены на неопределенное будущее. Но при этом закреплялись принципы высокого уровня социальных расходов и активной политики государства на рынке труда.

В электоральном смысле шведская социал-демократическая партия оставалась в высшей степени успешной политической силой. SAP находилась у власти вплоть до 1970-х гг.,

58. Tilton, *Political Theory*, 41.

59. Donald Sassoon, *One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century* (New York: New Press, 1996), 44.

60. Franz-Xaver Kaufmann, *Varianten des Wohlfahrtsstaats: Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003), 175.

продолжая развивать государство благосостояния с помощью своей *folkpolitik*. После Второй мировой войны она вернулась к идеям совместного управления производством, осуществляемого рабочими и работодателями. В течение всего этого времени существование шведской социал-демократии зависело от весьма специфических условий: как отмечала Маргарет Коул в 1938 г. в докладе Нового фабианского исследовательского бюро, Швеция находилась «вне основного течения европейской жизни и европейской политики». Это означало также, что шведы «могли проводить такую внутреннюю политику, какую хотели». Национальная политическая культура Швеции, с точки зрения британской социалистки, совершенно не была затронута болезнями, которые поразили другие общества межвоенного периода: «Они не занимаются вечным оплакиванием былой славы и не лелеют фантастических грез о возвращении к прежним временам, как некоторые народы Восточной и Центральной Европы. Они не проводят замысловатых торжеств с церемониями тысячелетней давности, вроде британской коронации. И не заметно, чтобы шведская королевская семья стремилась вернуть лавры первого Бернадота»⁶¹.

Независимо от того, сколь точным было это описание шведских нравов, факт остается фактом: Швеция имела давние традиции не только конституционализма, но и выстраивания политического консенсуса. В стране просто не было серьезных конституционных конфликтов (по большей части потому, что не было необходимости в борьбе с феодализмом)⁶². Страна не сталкивалась с проблемами меньшинств, вроде тех, с которыми пришлось иметь дело многим другим обществам после заключения Версальского договора (исключение составляли Аландские острова). Шведы унаследовали сильный профессиональный госаппарат, политика которого издавна отличалась эгалитаризмом и тем, что можно бы было назвать «отсутствием суеты». Коул была потрясена, узнав, что премьер-министр Швеции

61. Margaret Cole, Introduction // Margaret Cole and Charles Smith (eds), *Democratic Sweden: A Volume of Studies Prepared by Members of the New Fabian Research Bureau* (London: Routledge, 1938), 1–7; here 2.

62. Kaufmann, *Varianten*, 161–70.

ездит на работу на трамвае⁶³. Впрочем, свою роль играли и другие, более весомые факторы: необычайная прочность шведской экономики в 1930-х гг., когда мир все еще зависел от продукции шведской лесной промышленности, и невероятная слабость и раздробленность буржуазного правого фланга.

SAP свершила то, чего хотел достичь Грамши. По сути дела, пролетариат и крестьянство, взятые вместе, можно было считать всей нацией в целом; казалось, культурная гегемония полностью достигнута. В 1940 г. программа SAP провозглашала, что социал-демократия «едина со всей шведской нацией»⁶⁴. И все это было сделано без героических усилий харизматической партии. Скорее, произошло примерно то, чего в начале века больше всего опасался коллега Макса Вебера по социальной теории Вернер Зомбарт: «героический социализм» был заменен на негероический *Volksheim*-идеализм⁶⁵.

И все же, как гораздо позднее осознали многие шведы, акцент на нации имел свои темные стороны: законы о широком применении евгеники привели к стерилизации тех, кто считался неспособным внести вклад в национальную общность. С 1935 г. более 60 тысяч шведских граждан были стерилизованы, почти все — женщины⁶⁶. Эта политика носила не столько расовый характер, сколько основывалась на соображениях «продуктивности»: аналогичные меры предпринимались в Дании, Финляндии и некоторых областях Швейцарии⁶⁷. Тем не менее ведущие социальные теоретики Гуннар и Альва Мюрдаль, поставившие на повестку дня вопрос о народонаселении в 1930-х гг., совершенно недвусмысленно

63. Cole, Introduction, 3. Коул указывала также, что в Швеции мнение о политике отличается «поразительной однородностью» и что предложения Хендрика де Мана насчет «социализированного сектора» там уже реализованы.

64. Berman, *Social Democratic Moment*, 46.

65. Koenen, *Der Russland-Komplex*, 228; Кенен Г. *Между страхом и восхищением*. С. 243.

66. Alberto Spektorowski and Elisabet Mizrachi, Eugenics and the Welfare State in Sweden: The Politics of Social Margins and the Idea of a Productive Society // *Journal of Contemporary History*, vol. 39 (2004), 333–52.

67. *Ibid.*

ленно рекомендовали не поощрять иммиграцию, а бороться с любым снижением уровня рождаемости и способствовать появлению здорового шведского населения. Страна отказалась от политики стерилизации лишь в 1975 г. Информация о существовании таких программ вызвала настоящий шок в шведском обществе. Неожиданно тезис Пер Альбина Ханссона о том, что «при социализме люди, как и общественные условия, должны быть полностью изменены», приобрел совершенно иной смысл⁶⁸.

Партия и евангелисты

Шведские и австрийские социалисты, плюралисты с их программой рабочих школ, Грамши и его сократическая концепция образования, — все проводили в послевоенной европейской лаборатории эксперименты, которые опирались на идею преобразования культуры. Понимание ими культуры носило по большей части консервативный характер. В частности, в Красной Вене предлагалось нечто похожее на мелкобуржуазные «культуры духовного роста». Никто, однако, не приводил убедительных объяснений, почему именно этот, а не какой-то иной конкретный тип культуры — «высокой», соцреалистической или любой другой — является действительным решением проблемы, которую ставили марксисты, утверждая, что рабочих не просто эксплуатируют, но и подвергают отчуждению.

Именно констатация отчуждения послужила отправным пунктом для ряда мыслителей, обладавших значительно более радикальным культурным воображением. Первая мировая война казалась им огненной прелюдией к нарождающемуся новому миру. Кроме того, конец Эпохи Надежности освободил Европу от невыносимых буржуазных условностей. Многие из этих мыслителей видели политическое спасение в коммунистических партиях. Но это означало,

68. Преемственность некоторых биополитических проблем в демократическом государстве благосостояния и фашистском Volksstaat не означает их тождественности. Об этом важном моменте см.: Edward Ross Dickinson, *Biopolitics, Fascism, Democracy: Some Reflections on our Discourse about «Modernity»* // *Central European History*, vol. 37 (2004), 1–48.

что, когда они вступали в партию, интеллектуальное освобождение оборачивалось строгими рамками, часто определяемыми непосредственно Москвой. Конечно, большинство компартий в Западной Европе не было особенно заинтересовано в интеллектуалах. Но сами интеллектуалы очень интересовались коммунизмом, несмотря на то что партии-авангарды становились невероятно тяжелой проблемой для тех, кто стремился играть роль «промежуточных фигур».

Два человека служат особенно ярким примером проблем, проистекавших из соединения двух позиций: свободного мыслящего интеллектуала и официального либо неофициального адепта организации, претендующей на обладание единственно верным планом революции. Это — Георг Лукач и Эрнст Блох.

Дьёрдь Бернат Лёвингер родился в 1885 г. в Будапеште в либеральной еврейской семье⁶⁹. Его отец, со временем мадьяризовавший свое имя, был директором венгерского Всеобщего кредитного банка и, следовательно, опорой общества в Пеште времен *fin-de-siècle* (в 1901 г. ему был пожалован дворянский титул фон Сегеда). Подобно многим другим отпрыскам ассимилированных еврейских предпринимателей, Лукач рано отрекся от своего буржуазного происхождения и примкнул к плившей по течению и становившейся все более радикальной интеллигенции, которая скиталась по Европе благодаря щедрым пособиям (своих впадших в отчаяние отцов). Лукач наполовину путешествовал, а наполовину скрывался. Любимой и совсем не случайной формой выражения мысли стало для него эссе как жанр, который лучше всего подходил человеку, переезжавшему с места на место. Как и Блох, профессором он стал уже в зрелом возрасте: после Второй мировой войны Будапештский университет назначил его на должность заведующего кафедрой эстетики. Лукач казался болезненным

69. Последующее изложение истории жизни Лукача основано по большей части на материале следующих книг: Arpad Kadarkay, *Georg Lukács: Life, Thought, and Politics* (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1991), Georg Lukács, *Record of a Life: An Autobiographical Sketch*, ed. Istvan Eörsi, trans. Rodney Livingstone (London: Verso, 1983), and Michael Löwy, *Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires: l'évolution politique de Lukács 1909–1929* (Paris: PUF, 1976).

человеком, одно мышление и никакого тела, как отмечали некоторые наблюдатели. Но при этом он был весьма харизматичной личностью и не испытывал недостатка в окружающих его блестящих учениках. Томас Манн, вполне вероятно, нарисовал портрет Лукача, выведя его в «Волшебной горе» в образе демонического Нафты, который восклицает во время разговора о пролетариате: «Его миссия устрашать ради оздоровления мира».

В 1906 г. Лукач бежал в Германию, прочь от удушливой атмосферы Австро-Венгерской империи. Он пытался писать стихи и романы, но решил, что у него не хватает таланта, и в восемнадцать лет сжег все рукописи. Известность ему принесла литературная критика, особенно работы по истории романа и драмы. В те годы он был глубоко погружен в то, что позднее называл «романтическим антикапитализмом»: мучительное ощущение трагедии перед лицом современной рационализированной жизни и неспособность объяснить саму эту жизнь, не говоря уже о том, чтобы понять, как можно преодолеть трагедию. Став в Берлине студентом Зиммеля, он практически полностью впитал зиммелевскую идею, что, хотя жизнь нуждается в форме для самовыражения, в этой форме всегда отсутствует то, что по-настоящему значимо для самой жизни.

До поры до времени Лукач оставался теоретиком литературы. Анализируя роман как типическую художественную форму буржуазной цивилизации, он констатировал в качестве главной особенности жанра «новое одиночество» «проблематичного человека». Главной она была потому, что, как позднее обнаружил Лукач, появилась вместе с капитализмом. В романе герой испытывает «трансцендентальную бездомность»; он связан или даже угнетен «второй природой». «Вторая природа» — или то, что Лукач в другом месте называл «созданной человеком окружающей средой», «тюрьмой вместо отчего дома», — еще одна вариация на зиммелевскую тему подавляющего человека множества культурных форм и Веберову тему стального панциря безличных сил.

Кризис не может быть преодолен в рамках самого романа. Скорее (как Лукач заключил, стоило ему обнаружить мыслителя, способного поправить Зиммеля, а именно Маркса), роман сам — всего лишь индикатор «овеществления», ре-

дукции человеческих существ к вещам. Лукач взял за основу анализ Марксом «товарного фетишизма», феномена обретенного капиталистическими товарами некоей магической способности, позволяющей им вступить в отношения друг с другом в качестве «вещей», абстрагированных от своих создателей и своей потребительной стоимости. Венгерский философ распространил эту трактовку на человеческое сознание, заявив, что и оно тоже характеризуется овеществлением при капитализме. Где происходит фетишизация товаров, там происходит и овеществление сознания. И дело не ограничивается рабочим, который, согласно традиционному марксизму, отчужден как от продуктов своего труда, так и от своих собратьев, других человеческих существ.

Из Берлина Лукач перебрался в Гейдельберг, где часто бывал в салоне Вебера и его жены. Вебер ценил молодого венгерского денди, отмечая: «каждый раз, поговорив с Лукачем, я обдумываю это несколько дней», — и надеялся, что его протеже пойдет по университетской стезе в Германии. Лукача же все больше привлекала Россия, он хотел написать книгу о Достоевском — единственном писателе, указывавшем путь выхода за пределы буржуазного романа. Но Россия была важна и в политическом плане: в гармоничной русской деревенской общине Лукач видел предвестие социальной утопии — этики братства, очень похожей на этику убеждения, которую Вебер считал саму по себе весьма проблематичной (и политически безответственной). Вместе с Эрнстом Блохом Лукач стал в Гейдельберге своего рода рупором славянской культуры, а также мистицизма и того, что оба считали «силой русской идеи», как альтернатив превалирующей на Западе прагматической рациональности. Когда разразилась война, Лукач сетовал: «Срединные державы [германская и австро-венгерская империи], вероятно, нанесут поражение России; это может привести к падению царизма — с чем я согласен. Существует также некоторая вероятность, что Запад победит в войне с Германией; если это приведет к падению Гогенцоллернов и Габсбургов, я тоже буду рад. Но возникает вопрос: кто спасет нас от западной цивилизации?»⁷⁰

70. Georg Lukács, *The Theory of the Novel*, trans. Anna Bostock (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971), 11.

Может ли быть ответом на эту проблему некое политическое действие? Способна ли вообще политика, по словам Лукача, «целиком заполнить душу»? Могут ли правильные политические инструменты создать другую культуру, не загустевая во «вторую природу» и не становясь репрессивными? На некоторое время Лукач увлекся идеями синдикализма и враждебно относился к русской революции. Подход Ленина, писал он в эссе под названием «Большевизм как моральная проблема», основывается на аморальной посылке, что зло может порождать добро, а также что классовая борьба каким-то образом приведет к ее отсутствию.

Эссе «Большевизм как моральная проблема» было опубликовано в декабре 1918 г. И в том же месяце Лукач внезапно с головой окунулся в политическую деятельность. Крайне удивив друзей, этот до мозга костей буржуазный эстет вступил в венгерскую компартию всего через неделю после ее основания. Впоследствии он объяснял свое решение (или, скорее, ставку) тем, что нельзя просто «попробовать марксизм на вкус»: либо ты его принимаешь, либо остаешься в плену «буржуазных предрассудков»⁷¹. И Лукач решил: «Октябрь дал ответ»; он может спасти от западной цивилизации и того, что Лукач в своей теории литературы называл «эпохой абсолютной греховности». Это решение также вынудило его выехать из родительского особняка. Когда в марте 1919 г. коммунисты пришли к власти в Будапеште, «этот сумасшедший гейдельбергский философ», как называл его венгерский коммунистический лидер Бела Кун, был назначен заместителем комиссара по культуре и образованию. Лихорадочно занимаясь множеством дел, он все же находил время, чтобы напомнить молодым рабочим: «Главной целью вашей жизни должна стать культура»⁷². Благодаря ему в театрах ставились пьесы Ибсена, а для детей рабочих были устроены бесплатные общественные бани.

Венгерская социалистическая республика оказалась неудачным экспериментом. Это была, писал Отто Бауэр, «диктатура безрассудства», и она быстро скатилась к хаосу.

71. Lukács, *Record*, 63.

72. Speech at the Young Workers' Congress // Georg Lukács, *Tactics and Ethics: Political Essays, 1919–1929* (New York: Harper & Row, 1972), 39–40; here 40.

су⁷³. Выступив против вильсоновских схем, которые предлагали западные союзники, режим добился определенной националистической легитимности. Но по той же причине он попал под постоянное военное давление, прежде всего со стороны румынской и чехословацкой армий. Подобно тому как это произошло во время русской революции, власть сама упала венгерским большевикам в руки. В отличие от русских, венгерские революционеры совершили множество тактических ошибок: они не провели перераспределение земель и решили, что социалистически верной культурной политикой должно стать запрещение алкоголя. Они потерпели поражение в гражданской войне и так и не смогли приступить к строительству контргосударства с помощью партии (впрочем, они развязали террор, за которым последовал гораздо более жестокий белый контртеррор).

Лукач побывал на фронте и получил известность тем, что инкогнито инспектировал кухни на предмет качества пищи (которую наряду с доставкой писем считал существенным фактором поддержания морального духа армии). Он наладил работу военного суда, благодаря чему на рыночной площади в Поросло было расстреляно восемь дезертиров. В качестве политического комиссара Лукач читал солдатам лекции: «Если кровь может быть пролита, — а кто станет отрицать, что это возможно, — тогда нам позволено ее проливать. Но мы не можем позволить другим делать это вместо нас. Мы должны взять на себя всю ответственность за проливаемую кровь. Мы должны также дать возможность пролиться нашей собственной крови... Короче говоря, террор и кровопролитие суть моральный долг, или, проще говоря, наша добродетель»⁷⁴.

Как отмечали многие критики, этика, которую в конце концов предлагал Лукач, была в каком-то смысле очень простой: добро *может* порождаться злом, а линии партии необходимо следовать потому, что она представляет собой ни больше ни меньше, как «объективацию воли пролетариата» (по его собственному выражению).

73. Arno J. Mayer, *Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counterrevolution at Versailles, 1918–1919* (New York: Knopf, 1967), 591.

74. Цит. по: Kadarkay, *Lukács*, 222.

После падения Советской республики Лукач задержался в Будапеште, в то время как большая часть других членов руководства (включая Куна, прихватившего из казны столько золота, сколько он смог увезти) бежала из страны. Позднее Лукач говорил, что Кун, вероятно, определил его на роль мученика. Однако семья Лукача подкупила какого-то подполковника, чтобы тот отвез его в Вену. Философу следовало разыграть роль офицерского шофера; проблема, правда, заключалась в том, что он не умел водить машину; тогда ему забинтовали руку и придумали историю о несчастном случае, чтобы объяснить, почему офицер везет собственного шофера. Несколько раз Лукача едва не депортировали обратно в Будапешт, однако ему удавалось избежать этого благодаря вмешательству знаменитостей, таких как Томас Манн. Депортация означала верную смерть на виселице. Защищал Лукача в Красной Вене и Отто Бауэр, приводивший доводы в пользу «исторического права эмигранта» на то, чтобы заниматься пропагандой⁷⁵.

Напротив, Макс Вебер, отказавшись поставить подпись под петицией в защиту Лукача, писал ему с чувством разочарования: «... (Я абсолютно убежден, что эти эксперименты *могут* иметь и будут иметь в качестве своего следствия одну лишь дискредитацию социализма на ближайшие сто лет)... когда я думаю о том, *чем* мы заплатили за происходящие (с 1918 г.) события в смысле *несомненно* ценных людей, независимо от „направления“ их выбора, например Шумпетера и теперь Вас, и конца всему этому не видно, и ничего не достигнуто... то не испытываю ничего, кроме горечи, в отношении столь бессмысленной судьбы»⁷⁶.

Не произвел Лукач впечатления и на большевиков. Ленин и его последователи в массе своей отвергали ранние марксистские работы Лукача как проявление «детской болезни левизны в коммунизме». В частности, они призвали его к ответу за заявление, что коммунистические партии не должны работать в парламентах. Ленин хотел, чтобы революционные энтузиасты выучили тот урок, что парламент

75. Цит. по: Kadarkay, *Lukács*, 265.

76. Max Weber to Lukács // *Georg Lukács: Selected Correspondence 1902–1920*, ed. and trans. Judith Marcus and Zoltán Tarr (New York: Columbia University Press, 1986), 281–2.

исторически не «изжил» себя в развитых европейских странах, как считали его инфантильные или по крайней мере незрелые обожатели.

В 1922 г. Ленин объявил также, через пять лет после революции, что самое важное дело для товарищей сейчас — «учиться и еще раз учиться»⁷⁷. Пытаясь преодолеть «левое сектантство», за которое его упрекал вождь, Лукач наконец нашел время, чтобы исправить те эссе, которые должны были войти в «Историю и классовое сознание», в направлении, более соответствующем ленинской мысли. Книга вышла в 1923 г. в серии «Библиотечка революционера» («Kleine Revolutionäre Bibliothek») берлинского издателя Малика одновременно с работой Георга Гросса «Лицо правящего класса». Труд Лукача стал, вне всякого сомнения, самым важным произведением марксистской философии первой половины XX в. В каком-то смысле он открыл, или по крайней мере переоткрыл, возможность существования марксистской философии — в отличие от марксистской «науки».

Состоялось это благодаря тому, что Лукач проявил, как признавали даже его оппоненты, выдающиеся диалектические способности в критике как экономического детерминизма Второго Интернационала, так и реформизма Бернштейна и других «социал-демократических оппортунистов»⁷⁸. Он начал со смелого тезиса, что марксизм — это метод, а не догма. Марксистом можно остаться даже в том случае, если будет доказана ложность всех утверждений и предсказаний Маркса. Эти рассуждения адресовались Бернштейну и другим социал-демократам, заявлявшим, что эмпирические факты просто не соответствуют марксистским схемам (хотя, не столь очевидным образом, это позволяло ревизионистам не чувствовать себя предателями марксизма — показательно, что некоторые шведские социалисты говорили примерно то же, что и верный ленинец Лукач).

77. Kadarkay, Lukács, 270.

78. См. также: Georg Lukács, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, trans. Rodney Livingstone (1923; Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999); Лукач Дьердь (Георг). *История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике*. М.: Логос-Альтера, 2003.

Лукач настаивал также на том, что выведение «исторических законов» развития (позиция, вдохновленная энгельсовским сравнением Маркса с Дарвином) является, по сути, буржуазным «созерцательным» подходом. Этот подход заставляет марксистов приспосабливаться к тому, что выглядит историческими эквивалентами законов природы, вместо того чтобы творить историю. На самом же деле все, что происходит в развитых странах, — не нечто «природное», а всего лишь следствие капитализма, а мнимые «природные законы» могут быть опровергнуты политическим действием.

Тем самым, считал Лукач, он давал реформистскому ревизионизму и косному «научному социализму» аутентичную марксистскую трактовку и восстанавливал роль революционной воли. Он попытался также разрешить давний спор о том, что такое марксизм: наука или преобразование мира? Сделав еще один смелый шаг, Лукач заявил, что то и другое неразрывно связаны друг с другом. Только пролетариат способен увидеть в истинном свете угнетающие его силы. Но подлинное постижение (в отличие от буржуазного «созерцания») возможно только в ходе революции: рабочие — одновременно субъект и объект познания, а также субъект и объект истории. Поэтому в корне неверно разделять марксизм на науку об объективных законах и на политику железной воли (иллюстрацией которой, с точки зрения критиков, служил ленинский путчизм).

Согласно Лукачу, пролетариат конституирует себя как первый в истории всеобщий совокупный субъект, осознающий себя в качестве всеобщего класса и преданный тому, что Лукач называл объективной возможностью исторического освобождения. Тем самым пролетариат как группа людей, наделенных уникальной способностью видеть капитализм в истинном свете, постигает мир в его тотальности, частью которого он является. Лишь таким способом теория и практика достигают единства. Лишь таким способом могут человеческие существа, как говорил Вико, по-настоящему осмыслить мир, который они сами создали, преодолевая трагедию культуры и заставляя человечество наконец почувствовать, что этот мир является его домом.

Но не все было так просто. Главная трудность возникала с понятием пролетариата и его способностей. Лукач со-

глашался с Лениным, что правильный путь может указать лишь коммунистическая партия, понятая как братская община⁷⁹. По сути дела, венгерский философ сформулировал наиболее философски изощренное оправдание доминирующей роли партии-авангарда. Если «величайший мыслитель из всех, кого выдвигало революционное рабочее движение со времен Маркса» (Лукач имел в виду Ленина) писал от случая к случаю и оставлял многие теоретические нити не связанными друг с другом, то Лукач привел ленинские интуиции в систему и придал им философски утонченный вид. Казалось, что он понял большевиков 1917 года лучше, чем они понимали себя сами.

Это понимание не носило академического характера: подобно Ленину, Лукач настаивал на том, что успешная партийная организация должна опираться на правильную теорию революции. В «потустороннем мире» теории на разногласия можно было не обращать внимания, а неверные политические диагнозы могли оставаться без последствий, но в организационной практике все обстояло иначе. Лукач утверждал, что не существует чисто пролетарской революции. Необходима ведущая роль партии как «объективации воли пролетариата». Партия должна увлекать за собой другие классы и не поддающиеся убеждению слои пролетариата, она должна доносить до рабочих, что кризис капитализма не приведет автоматически к социализму. Лукач снова и снова повторял, что, если пролетариат не выполнит своей исторической задачи и откажется следовать правильной линии партии, дело может закончиться новым состоянием варварства.

Всемирно-историческая необходимость и решающая роль партии как организации оправдывали не только репрессии в отношении класса буржуазии, но и «отказ от индивидуальной [т. е. буржуазной] свободы». Лукач настаивал на дисциплине и тотальной включенности как характеристиках партии, имея в виду, прежде всего, «сознательное подчинение себя той совокупной воле, которая действительно способна

79. На самом деле аргументация была значительно более тонкой и опиралась на различие эмпирического сознания пролетариата и того, что Лукач называл «вменным» сознанием пролетариата, или различия субъективной и объективной возможностей.

претворить в жизнь действительную свободу... Эта сознательная совокупная воля есть коммунистическая партия»⁸⁰.

Слова Лукача не расходились с его делами. Венгерский эстет, ставший революционером, выполнял все, что приказывала партия с ее подавляющей безличной харизмой. Прежде всего, это была опасная практическая работа — тайные миссии в контрреволюционную Венгрию. Но поступали и указания, касавшиеся корректировки идеологического курса. Ленин был в это время слишком болен, чтобы прочитывать «Историю и классовое сознание», и, хотя книга давала прекрасное теоретическое оправдание ленинской партии, ко времени смерти вождя тон начали задавать его преемники. Так, в 1924 г. глава Коминтерна Григорий Зиновьев заявил: «Этот теоретический ревизионизм не мог у нас остаться безнаказанным. Когда венгерский товарищ Г. Лукач делает то же самое в философской и социологической области, то этого мы тоже терпеть не будем... Если придут еще некоторые такие профессора... то дела будут обстоять плохо»⁸¹. В конечном итоге Лукач отрекся от своей главной работы как «субъективистской». Не встретило понимания и его предложение работать с крестьянством и умеренными социалистами для проведения демократической реформы в авторитарной Венгрии конца 1920-х гг. Коминтерн как раз в это время обдумывал идею борьбы с социал-демократией как с «социал-фашизмом». Лукач получил строгий выговор за то, что предлагал «бороться с фашизмом на поле буржуазной демократии». И вновь ему пришлось отказаться от своих идей как «оппортунистических», и сделал он это способом, который позднее сам назвал «совершенно лицемерным»⁸².

В начале 1930-х гг. Лукач обосновался в Берлине, а когда к власти пришли нацисты, бежал в Москву. Как и большинство коммунистических эмигрантов, он рисковал жизнью в период сталинских показательных процессов середи-

80. Lukacs, *History*, 315; Лукач Г. *История*. С. 382. Это заметно отличалось от других утверждений, например таких: «Коммунистическая партия должна быть главным олицетворением царства свободы; кроме того, дух товарищества, истинной солидарности и самопожертвования должен играть руководящую роль во всем, что она делает».

81. Цит. по: Kadarkay, *Lukács*, 280.

82. Michael Löwy, Lukacs and Stalinism // *New Left Review*, no. 91 (1975), 25–41.

ны 1930-х гг. Кун в них не выжил (последнее, что он сказал жене при аресте: «Не волнуйся. Это какое-то недоразумение. Я вернусь через полчаса»)⁸³. Лукач старался вести себя незаметно, работал в Институте Маркса — Энгельса, своего рода «отстойнике для нежелательных философов», и занимался невинными литературными темами. И все же он был арестован и подвергнут допросам, которые велись на немецком языке, поскольку он так никогда и не научился сносно говорить по-русски. По приказу Москвы он на год уехал в Ташкент. Сын его жены был отправлен в лагерь. Позднее Лукач заявит, что стал единственным венгерским писателем, вышедшим целым и невредимым из сталинского террора.

Лукач был твердо убежден, что Сталин и безличная харизма партии — единственная действенная сила в борьбе с гитлеровским национал-социализмом. Исключение себя из партии означало отказ от борьбы с фашизмом. Таким образом, его саморазоблачения, несмотря на все их лицемерие, служили необходимым «входным билетом», позволявшим принимать участие в единственном эффективном противодействии фашизму. Уже в конце 1920-х гг. он говорил, что не следует делать глупостей и из чувства гордости пренебрегать партией. Главное — не терять терпения, объяснял он Виктору Сержу, и сохранять стойкое убеждение, что «история еще призовет нас». Серж впоследствии размышлял: «Я считал его одним из тех перворазрядных умов, которые могли бы придать коммунизму настоящее интеллектуальное величие, если бы тот развивался как общественное движение, а не выродился в движение поддержки авторитарной державы»⁸⁴.

В 1945 г. Матьяш Ракоши, венгерский лидер, назначенный генсеком вошедшей в Будапешт Красной Армией, писал Лукачу: «Мы ждем Вас в Венгрии, надо помочь партии повлиять на лучших представителей интеллигенции»⁸⁵. Лукач вылетел домой, убеждая себя, что коммунисты все же ре-

83. Archie Brown, *The Rise and Fall of Communism* (London: Bodley Head, 2009), 169.

84. Во всяком случае согласно Виктору Сержу: Serge, *Memoirs*, 191–192; Серж В. *От революции к тоталитаризму*. С. 228.

85. Kadarkay, *Lukács*, 364.

шили поработать, пусть ненадолго, с буржуазными силами, как он и предлагал в конце 1920-х гг. На его лекциях нельзя было найти свободного места. Лукач закончил книгу о «разрушении разума» в современной немецкой мысли, в которой нападал на Зиммеля, своего бывшего учителя, за пропаганду «философии империалистических рантье-паразитов» и утверждал, что не существует никакого невинного *Weltanschauung*. Партия была счастлива его возвращению.

Эрнст Блох не был членом партии или партийной личностью. Он родился в 1885 г. в Людвигсхафене в мелкобуржуазной еврейской семье. Подобно Лукачу, он был харизматиком, но далеко не тщедушным человеком. Напротив, Блох был полон жизненной энергии и, войдя в роль древнего пророка, источал нечто вроде философского *эроса*. Его студенты утверждали, что понять его по-настоящему невозможно, не услышав, как он говорит, или, скорее, как извергает словесные громы.

По словам Блоха, еще в Людвигсхафене он был глубоко поражен уродливой личиной капитализма. По вечерам улицы заполняли изможденные, болезненно выглядевшие пролетарии, и, возможно, именно тогда он решил быть марксистом. Человек, который стал своего рода марксистским философом *Heimat*, отчизны, всегда ненавидел свой родной город.

Блох начал с осуждения всей философии своей эпохи, возвещая тем, кто хотел услышать, что наступило время совершенно новой метафизики. Все, что ему было нужно для решения этой задачи, объявил Блох, он вычитал у Гегеля, а также у Карла Мая, автора романов о Диком Западе. «Остальное, — заявлял Блох, — «мутная смесь из того и другого», т. е. из Гегеля и, так сказать, низкопробной литературы. «И зачем мне это читать?» — вопрошал он⁸⁶.

Согласно легенде, которую он распространял о самом себе, главная идея посетила его давным-давно: в отличие от психоанализа, предлагавшего идею «больше-не-сознательного» как части бессознательного, Блох сделал открытие, касавшееся роли «еще-не-сознательного». На этом оза-

86. Erbschaft aus Dekadenz? Ein Gespräch mit Iring Fetscher und Georg Lukács // Werner Traub and Harald Wieser (eds), *Gespräche mit Ernst Bloch* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1975), 28–40; here 32.

рении основывались его философия надежды и того, что он называл «еще-не». В центре его произведений — неизменный образ перехода через пустыню, подобный тому, какой совершали ковбои на Диком Западе. За переходом следовало возвращение домой, в *Heimat*.

Блох отправился в Берлин, чтобы стать участником семинара Зиммеля, и там впервые встретился с Лукачем. Если последний увлекся идеей трагедии культуры, то Блох перенял у Зиммеля идею постоянного выхода жизни за свои пределы. По словам Лукача, Блох произвел на него глубокое впечатление, убедив в том, что есть еще возможность философствовать так, как философствовали древние или, по крайней мере, Гегель. Лукач и Блох вошли в состояние, близкое к симбиозу. Им даже пришлось очертить «защищенную область различий» (а иногда создавать искусственные различия), чтобы не говорить одно и то же на публичных собраниях⁸⁷.

В Гейдельберге они представляли весьма своеобразную пару. Блоху, этому *enfant terrible*, нравилось шокировать буржуазию громогласными пророчествами. Лукач был гораздо более сдержанным и любезным человеком, хотя и оказался втянутым в составленные Блохом планы женитьбы на богатой наследнице. Блох, которого Пауль Хонигсхайм называл «еврейским апокалипсистом», сознательно исповедовал мессианизм, раздражавший Вебера, но одновременно приводивший его в восторг, поскольку Веберу, как известно, нравилось все крайнее, божественное, экзотическое и, возможно, даже политически безответственное: однажды он заявил, что хотел бы видеть на своих «воскресниках» только русских, поляков и евреев. Философ Эмиль Ласк даже пошутил: «Как звали этих четырех евангелистов? Матфей, Марк, Лукач и Блох?»⁸⁸ И действительно, Блох разгуливал по Гей-

87. *Ibid.* Их отношения со временем значительно охладились, и не столько из-за политики, сколько из-за расхождения во взглядах на отношения между искусством и политикой. Лукач, ярый приверженец реализма, критиковал экспрессионизм, заявляя, что тот проложил дорогу фашизму, а Блох в течение всей своей жизни был не кем иным, как экспрессионистом.

88. Michael Löwy, *Georg Lukács: From Romanticism to Bolshevism* (London: New Left Books, 1979), 93.

дельбергу, возглашая: «человеческие существа, которым я послан, почувствуют и поймут возвращение бога внутри самих себя»⁸⁹. В конце концов Вебера начала раздражать чрезмерная риторика Блоха, как и его поведение, в то время как Блох был шокирован тем, что, когда разразилась война, Вебер встретил гостей в форме офицера-резервиста. Подобно Лукачу, Блох был глубоко обеспокоен ура-патриотизмом, особенно среди рабочих. Он с энтузиазмом воспринял русскую революцию, называл Ленина мессией: «*ubi Lenin, ibi Jerusalem*» — где Ленин, там Иерусалим, и в типичной для литератора манере заявлял: большевизм есть «категорический императив с револьвером»⁹⁰.

В межвоенный период Блох стал экспертом по фашизму, хотя придерживался необычной позиции. В отличие от компартии, которая официально называла фашистов агентами гибнущего капитализма, Блох указывал на феномен «несинхронности». Он доказывал, что, хотя крестьяне и средний класс объективно приближаются к общественно-экономической ситуации, аналогичной ситуации пролетариата, эти группы не обладают пролетарским сознанием и в какой-то степени застряли в доиндустриальных формах жизни. Их вполне оправданное недовольство находит выражение в романтической, антисовременной тоске по прошлому. И вместо того чтобы читать им лекции об их объективных интересах, считал Блох, коммунистам следует серьезно отнестись к этой тоске и, в частности, к содержащимся в ней утопическим моментам. Вместо того чтобы отвергать мифы, романтическую символику и даже волшебные сказки, отдавая их на откуп фашистам, марксисты должны взять на воору-

89. Цит. по: Éva Karádi, Ernst Bloch und Georg Lukács im Max Weber-Kreis // Wolfgang J. Mommsen and Wolfgang Schwentker (eds), *Max Weber und seine Zeitgenossen* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988), 682–702; here 687.

90. Примерно в это время Блох опубликовал свою первую значительную работу, «Дух утопии», представлявшую собой не столько анализ, сколько экспрессионистическую, даже мистическую тираду против «машинной» культуры. Он противопоставлял свою утопическую философию реформизму социал-демократов. Утопия должна была противостоять любым чисто материалистическим обещаниям и состояла в обожествлении человека. Цензор в баварском военном министерстве разрешил публикацию, заявив, что не увидел в книге никакой связи с практической политикой.

жение их революционный потенциал. Блох дошел даже до того, что предлагал отобрать у фашистов понятие Третьего рейха и вернуть его левым.

Несмотря на пронизательные суждения, касающиеся фашизма, антифашизм привел Блоха к безоговорочному оправданию сталинских показательных процессов 1930-х гг. Однако, в отличие от Лукача, он никогда не вступал в партию и не жил в Советском Союзе. Вместо этого, с остановками во Франции и Праге, он нашел убежище в Соединенных Штатах — стране, которая вызывала у него крайнюю неприязнь. Друзья Блоха даже не были уверены, понимал ли он, что люди в Массачусетсе не говорят по-немецки: до такой степени он отгородился от жизни приютившей его страны (хотя все же придумал историю, будто в какой-то момент ему пришлось работать посудомойкой).

В еще большей степени, чем Лукач, Блох отвергал экономический детерминизм научного социализма и подчеркивал значение не только воли, но также чувств и интуиций, особенно относящихся к «еще-не». Блох четко различал вульгарное ощущение «еще-не» и подлинные утопические надежды, обнаруживаемые прежде всего в искусстве и религии. Он доказывал, что, «если мы гуляем по улице и знаем, что через три четверти часа дойдем до пивной, тогда это — вульгарное „еще-не“». Однако на улице, по которой мы разгуливаем в этом нашем сомнительном мире, пивная... пока даже не построена...»⁹¹.

Реальное бытие, заявлял Блох, находится не в начале, а в конце. Все подлинные религии носили в этом смысле мессианский характер, как и все подлинно утопические образы, которые люди создавали в прошлом, включая Рай, Страну молочных рек с кисельными берегами, великие музыкальные произведения, например бетховенскую Девятую симфонию, а также чуть менее возвышенные концепты, такие как Большая леденцовая гора и Шервудский лес — убежище Робин Гуда. Все это он подытоживал в одном слове: *Heimat*, родной дом⁹².

91. Ernst Bloch, *Tübinger Einleitung in die Philosophie* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1977), 224.

92. После Второй мировой войны Блох какое-то время преподавал в Восточной Германии, но был вынужден уволиться и преследовался за свои

Таким образом, поиски культурной общности и ощущения родного дома занимали и беспокоили мыслителей левого фланга в период между войнами. Их не оставляла тревога, что другие политические идеологии, в частности фашизм, предлагали весьма привлекательные концепции причастности и солидарности. По иронии судьбы ответ на стратегически важный вопрос об отношении социалистов к крестьянству, или, иначе говоря, о самой возможности гегемонии (в изначальном ленинском смысле как союза рабочих и «беднейшего крестьянства»), смогли дать только либо самые прагматичные, либо самые утопические социалисты. Воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, шведы сделали фермеров союзниками рабочих. Блох, несмотря на всю экзотическую риторику, имел в виду то, что могло сыграть очень важную роль в Европе (где в таких странах, как Италия, крестьяне все еще составляли более половины всей рабочей силы), а именно консервативный социализм (вдохновленный русской деревенской коммуной), в котором находилось место для не-промышленного рабочего и его ценностей. Но это были исключения, и во многом подтвердилась правота Вебера, утверждавшего, что марксизм не способен дать ответ на аграрный вопрос.

В то время как во многих европейских странах в 1920-х и 1930-х гг. социалистические и социал-демократические партии терпели поражение (как и итальянский фашизм, первоначально обещавший «суверенитет для крестьянина»), проводился еще один великий эксперимент по социалистическому человекотворчеству и созданию всеохватывающей социалистической цивилизации. В конституции Российской Советской Республики 1918 г. он назывался «диктатурой городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства». Для многих левых, даже если они видели, что реальный большевизм весьма отличался от государства-коммуны, Советский Союз казался последним бастионом

неортодоксальные взгляды. В конце концов он уехал в Западную Германию, но прежде чем сделать это, вновь и вновь бросал вызов правительственным чиновникам и философам, повторяя слова Ленина, что «умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм». Когда Блох покидал в 1961 г. ГДР, он взял с собой одну-единственную книгу. Это был детектив Агаты Кристи.

на пути поднимавшего голову фашизма и авторитаризма. И здесь тоже на первый план вышел вопрос, что делать для крестьянства, с крестьянством и, как оказалось, *против* крестьянства.

Новые люди

Сталинизм был самым далеко идущим экспериментом межвоенного периода. Тем не менее далеко не очевидно, что термин «сталинизм» обозначает какую-либо идеологию. Однажды Муссолини на вопрос «что такое фашизм?» заявил: «Я фашизм». В рамках этой логики понятно, кто лучше всех мог ответить на вопрос «что такое сталинизм?» Но термин «сталинизм» использовался, прежде всего, противниками Сталина, критиковавшими бюрократизацию и культ личности. В отличие от термина «тоталитаризм», он не был присвоен теми, против кого был направлен. В сущности, обозначение «сталинизм» получило широкое распространение только после смерти Сталина. Можно даже утверждать, что «сталинизм» — понятие постсталинистское.

Конечно, сам Сталин, как все люди, одержимые своей ролью в истории, вряд ли мог внести ясность в этот вопрос. По словам Хрущева, когда Лазарь Каганович однажды произнес этот термин при Сталине в 1920-х гг., тот сказал: «Разве можно сравнивать член со сторожевой башней?»⁹³. А получив нарекание за использование имени отца, сын Сталина Василий воскликнул: «Я ведь тоже Сталин». На что сам Сталин заметил: «Нет, ты не Сталин, и я не Сталин. Сталин — это советская власть! Сталин — это то, что пишут о нем в газетах и каким его изображают на портретах. Это не ты, и даже не я!»⁹⁴.

На первый взгляд, термин «сталинизм» обозначает вполне определенный режим, существовавший сначала при самом Сталине, а затем в центрально- и восточноевропейских странах, фактически оккупированных Советским Союзом

93. James, *Europe*, 168.

94. Simon Sebag Montefiore, *Stalin: The Court of the Red Tsar* (New York: Knopf, 2004), 6; Себаг Монтефиоре С. *Сталин: Двор Красного монарха*. М.: Олма-Пресс, 2006. С. 15.

после 1945 г. Режим характеризовался массовым террором, культом личности, бюрократизацией, форсированной индустриализацией и, что важно в контексте дискуссий о сути марксистской доктрины, трактовкой мировой революции как второстепенной по сравнению с построением «социализма в одной, отдельно взятой стране». Кроме того, его можно рассматривать, как и ряд других режимов межвоенного периода, в качестве еще одного экспериментального варианта диктатуры.

Несмотря на перечень характеристик, сталинизм в некоторых аспектах остается более загадочным режимом, чем нацизм. Большой террор и чистки середины 1930-х гг. продемонстрировали столь высокую степень иррациональности, что сам собой возникал вопрос: не дьявол ли прибыл в Москву, чтобы перевернуть все вверх дном — как в знаменитом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? В нацизме имела отвратительная прогнозируемость в том, что касалось массовых убийств (и, следовательно, по мнению некоторых наблюдателей, в нем была некая извращенная «рациональность»). Мишенью служили вполне конкретные группы, но других групп это не касалось. Как отмечал Цветан Тодоров, «узники нацистских лагерей знали, почему они там находятся, а советские политзаключенные — зачастую искренние коммунисты — не знали; они не понимали, чем заслужили такую судьбу»⁹⁵. Иначе говоря, нацисты были безумны, но в их безумии имел место метод. Сталинизм же, судя по всему, был и безумен, и никакому методу не следовал.

Любое исследование сталинизма должно начинаться с самого Сталина, в том числе с его идей. Ибо у Сталина были идеи, или, как настаивал его верный пособник Каганович, Сталин вообще был, в первую очередь, идейной личностью: «Он весь был в идее»⁹⁶. На самом деле, как хорошо знало

95. Tzvetan Todorov, *Hope and Memory: Lessons from the Twentieth Century*, trans. David Bellos (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), 84. Впрочем, как заметил Гарольд Джеймс, на уровне международных отношений все было иначе: Советский Союз был относительно предсказуем в выборе друзей и врагов, в то время как гитлеровский расизм лишь отчасти определял его внешнюю политику. См.: James, *Europe*, 178.

96. Цит. по: Erik van Ree, *The Political Thought of Joseph Stalin: A Study in Twentieth-Century Revolutionary Patriotism* (New York: Routledge, 2002), 2.

большинство его ближайших приспешников, Сталин был не особенно силен в теории, и иногда это даже становилось предметом шуток. В 1920-х гг. ему пришлось учиться марксизму (учитель был потом расстрелян). Среди многочисленных льстивых титулов, которыми его награждали, был титул «величайшего теоретика современности». Но считать, что главным вкладом Сталина в теорию социализма являлся, как полагала Ханна Арендт, тезис «нельзя разбить яйца, не сделав омлет» (sic!), означало бы недооценивать Сталина и заблуждаться в отношении его режима⁹⁷. В частности, Сталин стремился систематизировать свою интерпретацию «ленинизма» (слово, которое сам Ленин никогда не употреблял), чтобы стать последним арбитром в спорах о том, какой курс считать истинно «ленинским», и отодвинуть в сторону настоящего теоретика (и, по словам Ленина, «любимца») партии Николая Бухарина. Для Сталина, как, оглядываясь назад, отмечал Лукач, самые незначительные тактические маневры должны были объясняться и подкрепляться никак не меньше, чем принципиальнейшими и абстрактнейшими теоретическими концепциями⁹⁸.

Подобно тому, как это происходило со многими другими успешными политиками, главное достоинство Сталина систематически недооценивалось. Троцкий называл Сталина «выдающейся посредственностью». В молодости, после исключения из духовной семинарии и попыток заняться поэтическим творчеством, Сталин принимал участие в колоритной революционной деятельности: грабил банки, пополняя партийную казну. Завоевав репутацию человека крутого нрава, он придумал себе псевдоним «Сталин» — человек из стали. Но главное заключалось не в этом, а в том, что он оказался превосходным бюрократом, получив партийную кличку «товарищ Картотека»⁹⁹. К власти Сталин пришел благодаря комитетам: в отличие от более харизма-

97. Hannah Arendt, *The Eggs Speak Up* // Hannah Arendt, *Essays in Understanding, 1930–1954: Formation, Exile, and Totalitarianism*, ed. Jerome Kohn (New York: Schocken, 1994), 270–84; here 275.

98. Georg Lukács, *Privatbrief über Stalinismus: Brief an Albert Carocci* // *Forum*, nos 115–16 (July/August 1963), 335–7, and Idem. *Stalin ist noch nicht tot* // *Ibid.*, no. 117 (September 1963), 407–11.

99. Piers Brendon, *Dark Valley: A Panorama of the 1930s* (London: Pimlico, 2001), 196.

тичных (и тщеславных) революционеров, главный «комитетчик» рано понял, что в советской системе кадры комитетов и секретариатов решают всё. Его звездный час настал, когда Ленин назначил его генеральным секретарем партии, что дало чудесному грузину доступ к широкой системе патронажа. Ленин в конце концов это понял. В своем «политическом завещании» он назвал Сталина «слишком грубым» для должности генсека и попытался предотвратить раскол между Троцким и Сталиным.

В каком-то смысле оппоненты Сталина были правы, когда указывали в 1929 г., что он установил не диктатуру пролетариата, а диктатуру секретариата (сам Ленин никогда не был генеральным секретарем партии). Тем не менее считаться в конце 1920-х гг. «*практиком*, политиком, опирающимся на партийную машину, и государственным деятелем, имеющим репутацию человека, доводящего дело до конца», было совсем неплохо¹⁰⁰. Власть бюрократии, как и другие методы и стили правления межвоенного периода, казалась адекватным ответом на специфическую констелляцию практических вызовов. Сталин должен был продолжить строительство нового государства (в идеале — с новым, а не «бывшим» народом) и решить, как управлять социалистическим производством (чего никто ранее не делал). Это весьма отличалось от ситуации, в какой оказался в 1933 г. Гитлер. Фюрер унаследовал действующие государственные структуры и мог рассчитывать на сотрудничество по меньшей мере некоторых традиционных элит. Нацисты получили институты, но не имели реальной теоретической программы. У Сталина же была (пусть и очень общая) программа (даже если концепции вроде государства-коммуны к тому времени были дезавуированы), но почти не было испытанных и надежных институтов. Проект Сталина заключался, по сути дела, в том, чтобы превратить континентальную империю, приходящую в себя от революционных потрясений и гражданской войны, в работающее государство. А проект Гитлера заключался в расширении границ традиционного национального го-

100. Yoram Gorlizki and Hans Mommsen, *The Political (Dis) Orders of Stalinism and National Socialism* // Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick (eds), *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* (New York: Cambridge University Press, 2009), 41–86; here 85.

сударства и превращении его в расистскую империю совершенно нового типа. Сталин считал первоочередной задачей идеологического очищения в рамках существующего политического режима, а Гитлер — задачу расового очищения континента в процессе расширения границ государства.

В частности, Сталину пришлось иметь дело с результатами ленинской новой экономической политики. НЭП породил множество независимых, владеющих землей крестьян, городских торговцев и массу рэкетиоров и коммерсантов, так называемых нэпманов. В сущности, это было хотя и краткое, но почти золотое время для русских крестьян, приведенных в движение идеей Николая Бухарина об обогащении крестьянства. Крестьянство, по его мысли, должно было завалить страну продовольствием и стать главным потребителем промышленных товаров. НЭП сопровождался появлением людей, которых можно было бы назвать классом нуворишей. Их показное сверхпотребление вызывало негативные эмоции у населения, но имело весьма прозаическую причину: положение нэпменов было таким непрочным, а налоги такими высокими, что не имело никакого смысла заниматься инвестированием. А вот потреблять, причем все подряд и как можно быстрее, был самый прямой резон¹⁰¹.

НЭП поставил серьезную теоретическую проблему. В чем будет заключаться роль партии в том случае, если продолжится модернизация через ограниченный рынок? Этот вопрос становился все более важным с учетом того, что харизма партии, в точности как предсказывала теория Вебера, приобретала все более «рутинный» характер: партия устанавливала собственные традиции, требовала пиетета к своим героическим основателям, теряла способность мобилизовывать или хотя бы вдохновлять. Ответом на эти угрозы и альтернативой ползучей маркетизации стали форсированные индустриализация и коллективизация, особенно когда они подавались как возвращение к пьянящим дням военного коммунизма. Это сулило и восстановление чистоты учения. В конце концов, Ленин говорил, что «коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны».

101. Gerd Koenen, *Utopie der Säuberung: Was war der Kommunismus?* (Frankfurt/Main: Fischer, 2000), 147.

Однако имелась и другая, более социологическая причина. В отсталой крестьянской глубинке партии еще предстояло создать пролетариат, от имени которого она выступала начиная с 1917 г. (и волю которого, согласно Лукачу, она объективировала). Имелась надстройка, а теперь предстояло создать, или по крайней мере расширить, базис¹⁰². И поскольку количество крестьян резко сокращалось, мог отпасть и старый ленинский вопрос о гегемонии, который Грамши вернул на повестку дня в Италии.

Итак, Сталин приступил к невероятно претенциозному проекту индустриализации. Проект требовал либо вложений капитала из-за рубежа, либо безжалостного выжимания из крестьянства продовольствия и необходимых рабочих рук (не предоставляя в обмен потребительские товары, как могло бы произойти, если бы проводилась иная стратегия). Сталин избрал второй курс и начал сгонять крестьян в колхозы. Это запустило процесс, который Сталин любил называть «ликвидацией кулачества как класса». «Кулаки» обозначали зажиточных крестьян, в частности тех, кто, воспользовавшись НЭПом, продавал зерно на свободном рынке. В начале 1920-х гг. Ленин не сумел силой отобрать зерно, в стране начались голод и волнения. Теперь развернулось новое и еще более жестокое наступление.

С точки зрения теории кулаки вряд ли вообще могли называться классом в марксистском смысле этого слова. Наиболее правдоподобным оправданием стало то, что кулаки имели постоянных работников, а не просто нанимали сезонных рабочих, и их можно было считать сформировавшейся и растущей мелкой буржуазией, которая грозила подорвать основы социалистического государства. В еще более простой формулировке, крестьяне представляли угрозу потому, что владели средствами производства. Не зря же Ленин предупреждал, что «мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе»¹⁰³. Конечно, все это было

102. Об этом см.: Martin Malia, *The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991* (New York: Free Press, 1994); Малиа М. *Советская трагедия. История социализма в России. 1917–1991*. М.: РОССПЭН, 2002.

103. Lenin, «Left-Wing» Communism, 551; Ленин В. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. С. 6.

натяжкой. Как заявил однажды Зиновьев, «любим мы любого крестьянина, который способен себя прокормить, называть кулаком»¹⁰⁴. Новый курс соответствовал общему антикрестьянскому настрою большевиков. Родные бабушка и дедушка Сталина были крепостными; писатель Максим Горький пренебрежительно отзывался о «зоологическом индивидуализме деревенского жителя»¹⁰⁵. Для предрассудков такого рода имелись прецеденты у классиков: сам Маркс высмеивал «идиотизм деревенской жизни» и называл крестьянство «мешком с картофелем».

На практике, вместо того чтобы стать частью централизованной и плановой социальной инженерии, эта политика вылилась в повсеместные погромы, взявшие в качестве лозунга слова комиссара по иностранным делам Максима Литвинова: «Продовольствие — это оружие»¹⁰⁶. Продотряды зачастую попросту забирали все, что можно было забрать, крали одежду и выпивали имевшуюся в доме водку. Кулаки же резали скот и портили инвентарь, лишь бы не отдавать их государству¹⁰⁷.

Результаты оказались во всех отношениях катастрофическими: повсеместное насилие (в том числе каннибализм) и беспрецедентный голод, во время которого погибли миллионы человек. На высоте оставалась только советская пропаганда, которой удалось более или менее успешно скрыть катастрофу как от внешнего мира, так и от многих российских граждан (благо Сталин снова ввел внутренние паспорта). Правительство продолжало продавать зерно на мировых рынках и отказывалось от любой помощи со стороны Красного Креста. В честь западных гостей, таких как писатель Андре Жид, устраивались пышные банкеты. Тайные агенты переодевались узниками лагерей, чтобы произвести хорошее впечатление на западных политиков своим здоровым и упитанным видом.

104. Цит. по: Brendon, *Dark Valley*, 202.

105. Цит. по: *ibid.*, 204.

106. *Ibid.*, 202 and 213.

107. Как заявил один партийный чиновник, «Карл Маркс, наш дорогой усопший партийный лидер, писал, что крестьяне — это мешки с картофелем. Мы посадили вас в наш мешок». Цит. по: *ibid.*, 214.

Однако неудачи коллективизации можно было скрыть, до какой-то степени, лишь внутри страны. И чем очевиднее становилась ошибочность этой политики, тем больше режим нуждался в козлах отпущения и теориях заговора. Поэтому усилился непрерывный, все более беспощадный поиск «вредителей», «саботажников» и «шпионов». Изменился и официальный язык: «классовые враги» были заменены на «врагов народа». Подразумевалось, что последние могут скрываться и в самой Коммунистической партии. Этот термин был даже закреплен в конституции.

Так начались показательные судебные процессы середины 1930-х гг. (Лукач называл их «концептуальными процессами»). Впервые коммунистическая партия требовала казнить и действительно казнила собственных вождей. Инициатором показательных процессов был в свое время Ленин (предлагавший их в качестве «примеров»). Но только при Сталине процессы стали расписываться заранее, планироваться вплоть до каждой детали. Сталин не хотел, чтобы его считали «правовым нигилистом», поэтому и устраивал процессы вместо тайных расстрелов. К процессу готовили и обвиняемых, и обвинителей; последние должны были даже изображать вспышки эмоций, например, когда Бухарин был назван «помесью лисы со свиньей».

Тем не менее поиск козлов отпущения может лишь отчасти служить объяснением террора и чисток. Сталин развернул преследования и в армии, которая вообще не могла нести ответственность за многочисленные аварии на производстве или голод. По сути дела, чистки приобрели характер масштабной попытки государственного самокалечения. Пошли слухи о параноидальной личности Сталина; люди начали обращать внимание на его макабрические высказывания (трудно назвать их афоризмами), отличавшиеся извращенной логикой. «Только на кладбище осуществимо полное тождество взглядов». «Смерть решает все проблемы. Нет человека, и нет проблемы». «Одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика».

Конечно, во всем этом имелась личная, властно-политическая сторона. Сталин убирал потенциальных соперников и всех «старых большевиков», которые знали о его относительно незначительной роли в революции и Гражданской войне. В этом смысле убийства не были случайными, как

заставляет думать приведенная выше цитата из Тодорова: речь шла о систематическом истреблении *свидетелей*. Правда, это относилось не только к товарищам, которые знали Сталина раньше, но и к коммунистам из внешнего мира, многие из которых бежали в Советский Союз из Германии, Венгрии и других стран, как оказалось, только для того, чтобы быть убитыми Сталиным в 1930-х гг. Среди немногих выживших был и Лукач. По его мнению, высказанному впоследствии, он избежал расстрела только потому, что его московская квартира не понравилась тайной полиции. Возможно, верхом извращения стало то, что многие из военнопленных 1940-х гг., т. е. тех, кто одним глазком увидел Запад, были расстреляны или отправлены в лагеря сразу после своего возвращения (или затребованной Сталиным насильственной репатриации) в СССР. Они тоже были своего рода свидетелями. Никогда ни одно государство в мире не обращалось так со своими солдатами.

Свидетелей следует убирать, а сообщников — рекрутировать. Сталин всегда стремился создать впечатление, что главные политические решения являются результатом консенсуса в руководстве. Иногда, как в случае массового убийства польских офицеров в Катыни, он заставлял ставить свои подписи всех, кто присутствовал при принятии решения. Логика партии как безличной харизматической силы, диктующей правильную линию исторического созидания, уступила место логике преступной банды или семьи, вовлекающей в преступления как можно большее количество сообщников¹⁰⁸. Печально известные ночные пиры Сталина стали символом этого причудливого неформального способа правления, когда всё — буквально всё, включая человеческую жизнь, — зависело от личных отношений. Ханна Арендт ухватила некоторые черты этого мафиозного характера сталинизма, когда назвала преступления террора «старомодными».

Внутренняя динамика режима тоже была характерна для тесно сплоченной банды, считающей нападение лучшим спо-

108. Jan Philip Reemtsma, *Vertrauen und Gewalt: Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne* (Hamburg: Hamburger Edition, 2008), 378, and Jörg Baberowski, *Der rote Terror: Die Geschichte des Stalinismus* (Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003).

собом защиты. Вероятно, это было сознательным выбором руководства, которое чувствовало постоянную опасность и предпочитало скорее пойти на риск самоуничтожения, чем подвергнуть эрозии свою власть. Власть все хуже и хуже понимала, что в действительности происходит в обществе. Отсюда одержимость «проверкой исполнения» (и установлением «истинного лица» членов партии). Однако доходить до «истинных лиц» и «проверенных» социальных фактов становилось все труднее, поскольку террор сверг партию и общество в состояние непрекращающейся тряски. Террор породил страх и восстановил людей друг против друга. Как объяснял один офицер госбезопасности, «каждый был предателем, пока не доказывал обратного, разоблачая кого-нибудь другого как предателя»¹⁰⁹. Такое положение вещей было выгодно существующему высшему руководителю и позволяло держать в узде подчиненных (пока те еще не были убиты). Без доверия людей друг к другу никакого инакомыслия просто не могло возникнуть, не говоря уже об оппозиции.

Но и это еще не вся история. Возможно, одним из спусковых крючков террора стало также принятие новой советской конституции. Конституция была обнародована в 1936 г. (и называлась Сталиным «единственной в мире до конца демократической конституцией»; Лукач рукоплескал ей, полагая, что она предоставляет «*реальные и конкретные гарантии*» для всех и дает «равные возможности развития неравным личностям»¹¹⁰). В частности, в ней было закреплено новое понятие «общенародности». Конституция составлялась при широком участии народа: ее проект опубликовали в июне 1936 г., после чего развернулось «общественное обсуждение». В конституционную комиссию поступили тысячи замечаний, и, по одной оценке, до пятидесяти миллионов советских граждан приняли участие в полумиллионных собраниях, на которых обсуждался проект¹¹¹. Это была

109. В этом коренное отличие от тайной полиции нацистов: гестапо стремилось выяснить правду, в то время как советским спецслужбам требовались признания.

110. Georg Lukács, *Die neue Verfassung der UdSSR und das Problem der Persönlichkeit* // *Deutsche Blätter*, vol. 6, no. 9 (1936), 50–3; here 52.

111. Karl Schlögel, *Terror und Traum: Moskau 1937* (Munich: Hanser, 2008), 600–1; Шлегель К. *Террор и мечта. Москва 1937*. М.: РОССПЭН, 2011. С. 577.

грандиозная попытка придать тексту массовую легитимность, особенно среди рабочего класса. Делалось это во имя демократии, но демократии, понятой, в сущности, не как возможность политического выбора, но как участие в безличной харизме партии. Как говорил Сталин, «для [оппозиции] свобода собраний и демократия неразрывно связаны. Мы понимаем демократию иначе. Мы понимаем демократию как подъем активности партийных масс, втягивание их не только в решение вопросов, но и в дело руководства партией, развития в них [способности] хозяина в партии»¹¹².

Все это было не так уж далеко от того, что говорил Лукач в начале 1920-х гг., а именно что «истинная демократия не есть формальная свобода, а есть внутренне связанная, солидарная *деятельность* членов совокупной воли»¹¹³, если не считать того, что теперь демократия не ограничивалась «партийной массой». Сталин сам утверждал в середине 1920-х гг., что «копошатся целые муравейники самочинных организаций, комиссий и совещаний, охватывающих миллионные массы беспартийных рабочих и крестьян, муравейники, создающие в своей повседневной, незаметной, кропотливой, нешумливой работе основу и жизнь Советов, источник силы Советского государства»¹¹⁴. Иначе говоря: через участие сначала в партии, а затем в государстве в широком смысле создавался совершенно новый тип советских людей.

В свете этой новой «общенародности» была изменена электоральная система — с не прямых выборов на прямые; неравное избирательное право и дискриминация в пользу рабочих были отменены, что положило конец институционализированному преимуществу городских избирателей и избирателей-рабочих¹¹⁵. К середине 1930-х гг. «классовый антагонизм» внутри Советского Союза считался практически преодоленным. Предпосылкой «общенародности» и того, что всегда оставалось декларируемой целью перехода от

112. Цит. по: Ree, *Political Thought*, 131.

113. Lukács, *History*, 337; Лукач Г. *История*. С. 400.

114. I. Stalin, *Bolshevism: Some Questions Answered* (London: Communist Party of Great Britain, 1926), 12–13; Сталин И. Вопросы и ответы: речь в Свердловском университете // Сталин И. *Сочинения*. Т. 7. С. 162.

115. Schlögel, *Terror*, 250–3; Шлегель К. *Террор*. С. 235–237.

«общества с диктатурой пролетариата к обществу безгосударственному», послужило то, что старое общество было стерто в пыль¹¹⁶. Теперь речь шла о совершенно новых людях, о *советском народе*, и совершенно новом патриотизме — советском патриотизме, которые следовало создать, чтобы построить социализм и в конечном счете коммунизм¹¹⁷. Как замечала Ханна Арендт, «прессуя людей, тоталитарный террор уничтожает пространство между ними». Однако отчасти причиной прессования было стремление создать совершенно новых людей, помимо «партийной массы», которая согласно ленинскому учению должна была всегда оставаться на положении элиты.

Весь в целом язык «класса» при этом становился все более приглушенным, и на первый план выходили добродетели «нового советского человека», в идеале — «ударника», высококультурного и обладающего безграничной энергией для строительства социализма¹¹⁸. Тезис Сталина о том, что в Советском Союзе остались только «рабочие, крестьяне и интеллигенция», демонстрировал, каким уверенным в себе был теперь главный *практик*. В начале 1930-х гг. он все еще сопротивлялся требованиям соблюдения большей «социалистической законности», опасаясь низведения на роль «главы исполнительной власти»¹¹⁹.

Вплоть до этого момента Сталин настаивал, что «уничтожение классов достигается не путем потухания классово-вой борьбы, а путем ее усиления... Надо иметь в виду, что рост мощи Советского государства будет усиливать сопро-

116. Stalin, *Bolshevism*, 10; Сталин И. *Вопросы и ответы*. С. 159.

117. Как сформулировал это сам Бухарин: «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная с расстрелов и кончая принудительным трудом, есть — как бы парадоксально это ни звучало — средства производства коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Цит. по: Daniel Beer, *Renovating Russia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008), 23.

118. Vadim Volkov, The Concept of Kul'turnost': Notes on the Stalinist Civilizing Process//Sheila Fitzpatrick (ed.), *Stalinism: New Directions* (New York: Routledge, 2000), 210–30.

119. Ronald Grigor Suny, Stalin and his Stalinism: Power and Authority in the Soviet Union, 1930–1953//Ian Kershaw and Moshe Lewin (eds), *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison* (New York: Cambridge University Press, 1997), 26–52.

тивление последних остатков умирающих классов»¹²⁰. Это наставление впоследствии часто считалось главным или даже единственным вкладом Сталина в политическую мысль: классовая война становится все более ожесточенной по мере приближения к социализму, и поэтому государство не отмирает, но должно крепнуть, становиться сильнее. Как объяснял Сталин в 1933 г., «отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения»¹²¹. Сталин продолжал твердо придерживаться тезиса о том, что социализм возможен (и развивается) в одной, отдельно взятой стране, а сам тот факт, что страна находится в окружении врагов, служил еще одним оправданием террора. Оппонент Сталина Бухарин, расстрелянный одним из сталинских поделников в марте 1938 г., обрисовал «логику» этой мысли: «Эта странная теория возводит самый факт теперешнего обострения классовой борьбы в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подохнуть с голоду и лечь костями»¹²².

В глазах многих современников как в самом Советском Союзе, так и за его пределами эта теория казалась не такой уж странной, поскольку враги действительно готовили последнее и решающее нападение на «великий эксперимент». Ничто не легитимировало Сталина в 1930-е гг. (и позднее) больше, чем подъем фашизма и особенно победа Гитлера в Германии, которые придавали убедительность идее, что История движется к своему последнему диалектическому конфликту¹²³.

120. Цит. по: *ibid.*, 39.

121. Цит. по: Ree, *Political Thought*, 136.

122. Цит. по: Roy A. Medvedev, *New Pages from the Political Biography of Stalin* // Robert C. Tucker (ed.), *Stalinism: Essays in Historical Interpretation* (New Brunswick, NJ: Transaction, 1999), 199–235; here 208.

123. Jochen Hellbeck, *With Hegel to Salvation: Bukharin's Other Trial* // *Representations*, no. 107 (2009), 56–90; here 74.

Таким образом, в 1936–1937 гг. на повестке дня стояли страх перед капиталистическим миром, террор, конституционное творчество и новая «общенародность». Советский Союз больше не подавал себя как исключительно пролетарское общество; теперь социализм следовало понимать как «систему, вырастающую из самого народа»¹²⁴. Однако «власть народа» несла с собой и риски. Когда было впервые объявлено о прямых выборах, партия внезапно осознала, что события могут пойти по непредсказуемому пути, учитывая хотя бы те полтора миллиона человек, которые были исключены из партии и могли стать гигантским ресурсом альтернативных кандидатов¹²⁵. Поэтому требование очищения было также попыткой сформировать людей, не способных к инакомыслию и «отклонениям», создать некую номинальную «демократию», из которой были бы раз и навсегда устранены разногласия (и неопределенность).

В конечном итоге руководство отказалось от веры в свою способность формировать новых людей. В последний момент партия допустила к выборам только заранее одобренных кандидатов (по большей части членов партии, но также отдельных беспартийных)¹²⁶. Несмотря на это, режим возвестил, что конституция получила «всенародное» одобрение. Новая конституция оказалась самой долговечной в советской истории и оставалась в силе до 1977 г.

Впрочем, кое в чем руководство со временем уверилось: террор не приводил автоматически к ослаблению лояльности в отношении системы. Даже те его жертвы, которые не были столь наивны, чтобы поверить, будто подчиненные Сталина действовали за его спиной, не ставили под вопрос свою приверженность советскому строю. Евгения Гинзбург после нескольких месяцев преследований (впереди ее ожидали долгие годы страданий) все еще размышляла в конце 1937 г.: «И даже сегодня, после всего, что уже было с нами, разве мы проголосовали бы за какой-нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем, который для нас так же естествен, как ды-

124. Ree, *Political Thought*, 275.

125. Schlögel, *Terror*, 28; Шлегель К. *Террор*. С. 15–16.

126. *Ibid.*, 601–2; Там же. С. 577–578.

хание. Ведь все, что я имела: и тысячи прочитанных книг, и воспоминания о замечательной юности, и даже вот эта выносливость, которая сейчас спасает меня, — ведь это во мне дано ею, Революцией, в которую я вошла ребенком»¹²⁷.

Некоторые из тех, кто был напрямую затронут Большим террором, спрашивали себя, не слишком ли они сами пропитаны нормами и идеями режима. Надежда Мандельштам, которая прошла через страдания и преследования и в конце концов гибель в ГУЛАГе ее мужа, поэта Осипа Мандельштама, говорила о себе: «„Наши нормы“, как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы недействующих, но все же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень туго, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи»¹²⁸. Возможно, самое страшное заключалось в том, что, по некоторым свидетельствам, Бухарин на процессе, признав под давлением какие-то фантастические «контрреволюционные преступления», одновременно пытался стать в единый строй с правильным пониманием Большеизма и, следовательно, Истории. Он, по-видимому, считал, что само его мышление, если и не субъективно, то объективно, представляло собой государственную измену. Ожидая в течение двенадцати месяцев суда, Бухарин написал книгу о социалистической культуре, трактат о диалектике, воспоминания и цикл стихов (и все это в нечеловеческих условиях тюрьмы), после чего обратился с просьбой: «Героическим маршем выступает отечество социализма на арену величайшей во всемирной истории победоносной борьбы. Внутри страны, на основе сталинской конституции, развивается широкая внутрипартийная демократия. Великая творческая и плодоносящая жизнь цветет. Дайте возможность, хотя бы за тюремной решеткой принять посильное участие в этой жизни. Дайте возможность расти новому, второму Бухарину... этот новый

127. Eugenia Semyonovna Ginzburg, *Journey into the Whirlwind*, trans. Paul Stevenson and Max Hayward (1967; New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975), 227; Гинзбург Е. *Крутой маршрут*. М.: Сов. писатель, 1990. С. 145.

128. Mandelstam, *Hope*, 96; Мандельштам Н. *Воспоминания*. М.: Согласие, 1999. С. 114.

человек будет полной противоположностью уже умершему. Он уже родился»¹²⁹.

Сталинизм бесспорно означал культ личности. Сталин был не единственным лидером в XX в., создавшим такой культ. Но Сталин отличался от других. У него не было яркой харизмы, и он даже не заботился о том, чтобы как-то обозначать свое присутствие. Гитлер находился в постоянных разъездах и верил в квазимистическое единение с *Volks-gemeinschaft*. Сталин, напротив, оставался затворником и фигурой, далекой от «масс» даже во время знаменитых московских парадов. Он настаивал на том, чтобы его собственная тайная полиция маршировала без револьверов, прослушивал записанные заранее приветствия. Гитлер постоянно что-то произносил. Сталин отличался немногословием и предпочитал наблюдать за другими, покуривая трубку. Большинство русских граждан вообще не слышали, как говорит Сталин, вплоть до 1941 г., и были удивлены слабостью его голоса, когда через две недели после начала войны с нацистской Германией вождь сказал: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья»¹³⁰. Гитлер опирался на подлинную харизматическую легитимность. Сталин как личность был незаметен и служил скорее иконой, или, как он сказал сыну, символом, или даже идеей «советской власти». И это имело место не только в СССР. По словам югославского коммуниста Милована Джиласа, Сталин стал «олицетворением идеи, трансформированной в умах коммунистов в чистую идею, и потому в нечто непогрешимое и святое. Сталин был олицетворением победоносных битв сегодняшнего дня и братства людей — завтрашнего»¹³¹. Это объясняет странную привычку Сталина аплодировать самому себе после произнесения речей: он аплодировал идее, а не себе как личности, совершая действие, немыслимое для фюрера¹³².

129. Hellbeck, «With Hegel», 79.

130. Иначе говоря, воля Сталина праздновала гораздо больший триумф, чем когда-либо воля Гитлера, но советского фильма, похожего на «Триумф воли», просто не могло существовать.

131. Milovan Djilas, *Conversations with Stalin*, trans. Michael B. Petrovich (New York: Harcourt, Brace & World, 1962), 57; Джилас М. *Беседы со Сталиным*. М.: Центрполиграф, 2002. С. 62.

132. Это наблюдение первым высказал Славой Жижек.

Во время Второй мировой войны Сталин мобилизовал глубокое чувство патриотизма, которое, впрочем, расходилось с его собственной идеологией. Теперь решающую роль должны были играть православная религия и русский национализм, а не «советская власть». Сталина прославляли теперь не столько как советского лидера, сколько как «объединителя земель». В молодости «Коба» придерживался собственного понимания национализма, многим обязанного австромарксистам, и рассматривал нации как «культурные общности», достойные сохранения (кульминацией стала знаменитая формула 1930 г. о «расцвете национальных по форме и социалистических по содержанию культур»). Но по иронии судьбы к настоящей идеологической цели — тотальному единству государства — можно было приблизиться лишь благодаря тому, что и Ленин и Сталин высмеивали как «великорусский шовинизм»¹³³.

Победа над фашизмом, хотя она и не была обязана ничему, что могло быть выведено из марксизма, легитимировала режим как ничто другое во всей истории Советского Союза, и не в последнюю очередь — за рубежом. Симона де Бовуар писала о послевоенном периоде: «Никакая настороженность не омрачала дружеских чувств, которые мы питали к СССР; жертвы, принесенные русским народом, доказали, что в его руководстве воплощалась народная воля»¹³⁴.

В отличие от нацизма, сталинизм оказался ходовой статьей экспорта. Существовал шаблон, совершенно независимый от Сталина как личности, который можно было использовать в Центральной и Восточной Европе после 1945 г. В него входили лагеря, чистки и показательные процессы (на которых обвинители произносили фразы, бравшиеся целиком из советских судебных заседаний 1930-х гг.). Возвращались и культы личности, причем вокруг совершенно нехаризматичных людей, часто таких же непубличных, как сам Сталин, и больше отвечавших образу честного бюрократа, засиживающегося по ночам на рабо-

133. Ree, *Political Thought*, 81.

134. Simone de Beauvoir, *Force of Circumstance*, trans. Richard Howard (1963; London: Penguin, 1987), 15; Бовуар С. де. *Сила обстоятельств*. М.: Флюид, 2008. С. 13.

те¹³⁵. В стандартный набор входили и форсированная индустриализация, и превращение в пыль целых групп населения, хотя террор касался скорее индивидов, чем масс (но включал в то же время и классическую сталинистскую переделку душ). Кроме того, какое-то время казалось, что режим «работает». Потом это впечатление меркло и большинство режимов переходило на неявный общественный договор, по которому минимальная лояльность граждан обменивалась на минимальное количество потребительских товаров.

Вплоть до 1989 г. — иначе говоря, еще долгое время после того, как Сталин и некоторые его преступления были осуждены его преемниками, — существовали государства, сохранявшие черты, которые можно было бы по праву назвать сталинистскими. Эти режимы исповедовали сталинизм и брали его в качестве образца для подражания. Николае Чаушеску, с середины 1960-х гг. лидер социалистической Румынии, в свое время считал, что должен сделать выбор между постсталинистским СССР и сталинизмом. Выбрав последний, он осторожно дистанцировался от Москвы (при этом Румыния никогда не пыталась выйти из Варшавского договора)¹³⁶. Самопровозглашенный «Кондукатор» все еще настаивал в интервью в 1988 г. журналу *Newsweek*, что работа Сталина доказана историей, хотя и признавался, что источником вдохновения служит для него также Северная Корея. И он действительно так думал, доказывая это своими делами: страна делала тот же акцент на развитии тяжелой промышленности и полной, с нуля, перестройке общества — в частности, на массовом уничтожении традиционных деревень и пригородов и масштабном переселении людей в только что построенные, но совершенно непригодные для жилья здания. Подобно Сталину, Чаушеску не уставал повторять, что стране угрожают внутренние и внешние враги, и прибегал к разжиганию национализма, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь поддержку своему режиму. В разговоре с западным дипломатом один высокопоставленный

135. Martin Sabrow, *Das Charisma des Kommunismus* // at http://www.zzf-pdm.de/Partals/_Rainbow/Documents/Sabrow/sabrow_charisma.pdf

136. Vladimir Tismaneanu, *Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism* (Berkeley: University of California Press, 2003), 187.

румынский чиновник заявил: «Независимость — вот наша легитимность»¹³⁷.

Чаушеску возвел монументальные памятники этому политическому стилю, с характерной для последнего эстетикой «чем больше, тем лучше». Таков, в частности, Дом Республики в Бухаресте, который до сих пор является самым большим гражданским административным зданием в мире (примечательно, что он должен был строиться исключительно из румынских строительных материалов)¹³⁸. Культ личности «кормчего» (еще один титул, которым наградил себя Чаушеску) не имел границ. Безграничен был и его комплекс неполноценности. Каждые пять лет в свет выходил официальный альбом под названием «Omăgiu» (Дань уважения), в котором приводились высказывания мировых лидеров о добродетелях и достижениях Кондукатора. Идеология и пропаганда не отставали, легитимируя этот якобы оригинальный, но на самом деле византинистский (а зачастую просто эксцентричный) режим. Переселения стали называться «систематизацией» в «многосторонне развитом социалистическом обществе». В этой фразе не было ни явного, ни скрытого смысла.

В каком-то смысле правление Чаушеску было больше похоже на личную тиранию, а не на сталинизм. В 1989 г. он произнес абсурдную фразу, что его «личным хобби» является «строительство социализма в Румынии». Его жена Елена правила совместно с ним и чем дальше, тем больше была одержима своей гениальностью как ученого-химика (настаивая, чтобы во всех странах, которые они посещали, ей присуждали почетные научные степени). Супруги назначили преемником одного из сыновей, и пошли разговоры о строительстве «социализма в одной, отдельно взятой семье». Все это выглядело, скорее, традиционной формой деспотии, в которой, по словам Маркса, государство представ-

137. Цит. по: Dagros Petrescu, *Communist Legacies in the «New Europe. History, Ethnicity, and the Creation of a «Socialist» Nation in Romania, 1945–1989»* // Konrad H. Jarausch and Thomas Lindenberger (eds), *Conflicted Memories: Europeanizing Contemporary Histories* (New York: Berghahn Books, 2007), 37–54; here 45.

138. Бульвар, который к нему вел, настаивал Чаушеску, следовало сделать ровно на один метр длиннее Елисейских полей.

ляет собой не что иное, как «произвол и каприз единичного лица». Жестокая и мстительная казнь правящей четы в конце 1989 г. тоже походила на традиционное царсубийство.

С другой стороны, несмотря на все соблазны такой трактовки, было бы совершенно неправильно рассматривать сталинизм как версию brutального царизма. Сталинизм был настоящим тоталитаризмом. И дело не в том, удалось ли сталинскому государству осуществить свои тоталитарные намерения в отношении советских граждан. Суть заключалась в стремлении полностью изменить и гомогенизировать людей, и для этого были задействованы многочисленные институциональные и психологические механизмы. Полное слияние государства и общества (по Сталину, «объединение государства с массами»), прекращение всякого социального конфликта и сосредоточение всей власти в руках одного человека, который более не встречал сопротивления никаким своим действиям, — «эгократа», как, следуя Александру Солженицыну, называл его французский философ Клод Лефор, — таковы были отличительные черты тоталитарного советского идеала¹³⁹.

Короче говоря, это был не просто результат действий патологических личностей. Это была система, имевшая свою политическую логику. Но не вышло ни одной книги, в которой эта система была бы специально изложена, и не существовало ни одного идеолога, который бы ее разрабатывал. Сталинизм, несмотря на то что он происходил из совокупности политических учений, одержимых доктринальными тонкостями (и внутренними распрями), не основывался на какой-то программе и не привел никакого веского теоретического оправдания собственному существованию. Нацизм происходил из далеко не столь изощренных философских идей, но приводил вполне определенные обоснования даже самым бесчеловечным своим аспектам. В сталинизме такой теории не было. Все, что есть, — это интерпретации.

139. Claude Lefort, *Un Homme en trop: Réflexions sur «L'Archipel du Goulag»* (Paris: Seuil, 1976), especially 57–89.

ГЛАВА 3

Фашистские субъекты: тотальное государство и *Volksgemeinschaft*

Национал-социализм не имеет собственной политической теории... идеологии, которые он использует или от которых избавляется, — всего лишь *arsana dominationis*, техники господства.

Франц Нейман «Бегемот», 1941 г.

Концепции и идеи, а также движения с определенной духовной базой, независимо от того, ложна последняя или истинна, пройдя некую точку в своем развитии, могут быть побеждены лишь с помощью особых инструментов власти, если эти физические инструменты одновременно служат опорой для нового вдохновляющего мышления, новой идеи или философии.

Гитлер

Национал-социализм есть трезвый и в высшей степени обоснованный подход к реальности, основанный на величайших достижениях научного знания и его духовного выражения... Национал-социалистическое движение не является культом; это народная и политическая философия, выросшая из соображений исключительно расовой природы.

Гитлер

Национал-социализм есть не что иное, как прикладная биология.

Рудольф Гесс

Для нас итальянская демократия есть человеческое тело, нуждающееся в свободе, в том, чтобы сбросить оковы и избавиться от бремени...

«Футуристическая демократия», 1919 г.,
перепечатано в «Futurismo e fascismo», 1924 г.

Все люди действия с необходимостью движутся к катастрофе. С этой аурой они живут и умирают, ради себя либо других.

Муссолини, 1939 г.

В ТЕЧЕНИЕ нескольких десятилетий после падения режимов Гитлера и Муссолини было очень трудно дать теоретическое описание или хотя бы определение фашизма, признаваемое всеми. Не существует согласия даже по вопросам,

ограничен ли фашизм строгими историческими рамками, задаваемыми тем, что произошло с итальянцами (или, скорее, что было совершено итальянцами) в период с 1922 по 1945 гг., или же речь идет об универсальном феномене. Споры вокруг фашизма — не академическое педанство; они указывают на то, что, по-видимому, является характеристикой самого предмета. По меньшей мере в своей риторике фашизм противостоял «разуму», прославляя волю, интуицию и чувство. Его можно было почувствовать, но нельзя было определить.

Долгое время эксперты полагали, что фашизм был просто своего рода идеологией дна, в лучшем случае совокупностью предрассудков и националистических клише. Даже книгу, которая могла бы считаться основополагающим текстом, «Мою борьбу» Адольфа Гитлера, историки называли набором «догм, отзвуком разговоров в любом австрийском кафе или какой-нибудь немецкой пивной»¹. Не стоило ждать помощи и от самих вождей. Когда Муссолини спросили: «Что такое фашизм?» — он ответил с характерной скромностью: «Я фашизм» (на что вождь-конкурент отреагировал: «Фашизм — не один человек, это идея»)². Вопреки нелепым суждениям, фактом оставалось то, что фашизм с самого начала был сосредоточен на нации, используя специфически национальные мифы и ценности. Это объясняет, почему в 1932 г. Муссолини настаивал на том, что фашизм не предназначен для экспорта³.

Надо сказать, что Муссолини в конце концов все же *сформулировал* официальную фашистскую доктрину, а ее экспорт был признан законным. И все же отличительной чертой фашистов была, по-видимому, сознававшаяся ими самими теоретическая слабость. Вождь румынской фашистской группировки заявлял: «Страна умирает из-за недостатка мужчин, а не программ»⁴. При Сталине тонкие теоретические раз-

1. A. J. P. Taylor, *The Origins of the Second World War* (New York: Atheneum, 1962), 69.

2. Дино Гранди (Grandi). Цит. по: Emilio Gentile, *Mussolini's Charisma // Modern Italy*, vol. 3 (1998), 219–35; here 227.

3. Emil Ludwig, *Talks with Mussolini*, trans. Eden and Cedar Paul (Boston: Little, Brown, 1933), 162.

4. Цит. по: Richard Vinen, *A History in Fragments: Europe in the Twentieth Century* (New York: Da Capo, 2001), 133. Само слово «фашизм» ведет свое происхождение не от политического понятия, или имени политика, или философа, но от объекта, который римляне носили с собой 2000 лет на-

ногласия могли быть в буквальном смысле вопросом жизни и смерти. Гитлера и Муссолини мало заботила доктринальная чистота (в случае Гитлера значение имела лишь чистота расовая), хотя, придя к власти, национал-социалисты запретили цитировать самую первую свою программу. Первоначальные их требования носили резко антикапиталистический характер, и теперь им не хотелось об этом вспоминать⁵.

И все же, несмотря на явную теоретическую слабость, фашизм был одной из важнейших идеологических новаций XX в., особенно если мы будем оценивать новации не по трудным философским текстам, а по способности сплавлять воедино идеи и чувства, создавая новые публичные оправдания практике власти. Корни фашизма, конечно, восходят к концу XIX в., однако как система политических убеждений — на самом деле весьма разработанная и внутренне связанная, вопреки мнению о том, что это была всего лишь «идеология дна», — он сложился только в ходе Первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Самоучка Гитлер, ненавидевший интеллектуалов и, в отличие от Муссолини, не притворявшийся, что его заботит разработка нацистской доктрины, тем не менее не относился к идеям чисто инструментально и конъюнктурно. Быть может, его и не интересовало в каждом конкретном случае, являются ли его мысли (не говоря уже о политических решениях) логически связными, но это не означало, что на пути к власти он поддержал бы любые полезные для его личного возвышения идеи. Гитлер не уставал повторять, что является собой редчайшее сочетание в одном лице теоретика и политика, «исполнителя идеи»⁶. Главные заповеди его *Weltanschauung* оставались неизменными на протяжении не-

зад, а именно топора в связке из ветвей. *Fascio* первоначально служило символом власти и единства, а позднее стало метафорическим обозначением группы тесно связанных друг с другом людей.

5. Joachim Fest, *Hitler: Eine Biographie* (Berlin: Ullstein, 2004), 613; Фест И. *Гитлер. Биография. Триумф и падение в бездну*. М.: Вече, 2006. С. 74.

6. Помимо прочего, однако, он представлял собой тип, который, по мнению Вебера, был характерен для демократии: тип демагога, или, выражаясь мягче, политического публициста и журналиста. Гитлер проложил себе путь к власти речами (и в меньшей степени — писательством). Муссолини вначале был учителем французского языка в старших классах школы, а перед тем как стать партийным лидером — журналистом;

скольких десятилетий и могли разрабатываться нацистскими теоретиками без того страха, который испытывали советские мыслители, знавшие, что доктрины подвержены превратностям политики. В основном по той же причине нацисты не устраивали партийных чисток, сравнимых с советскими. Однако в них жил свой страх: они опасались, что их идеи будут опровергнуты историей. Для них истина зависела от успеха политического действия, она была вопросом власти. По словам одного итальянского фашиста, «истинность идеологии в том, что она пробуждает в нас способность иметь идеалы и действовать»⁷.

Важно подчеркнуть, что фашистское правление отличалось от авторитарных режимов правого толка, процветавших в Европе в период между двумя мировыми войнами: несмотря на то что национал-социализм был формой фашизма, он существенно расходился с исходной итальянской версией. По этой причине он будет отдельно рассмотрен в конце данной главы. Самое важное заключается в том, что фашизм был реакцией именно на эпоху массовой демократии. Это была альтернатива, которую считали приемлемой многие европейские политические мыслители, страстно ненавидевшие как либеральный парламентаризм (нацисты отвергали его как «систему»), так и социализм. Приемлемой она была и для очень многих обычных граждан.

Мифы Сореля

Нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс заявил в связи с захватом Гитлером власти в 1933 г., что «таким образом, 1789 год вырван с корнем из истории»⁸. В этой брос-

став дуче, он оставался тружеником пера (хотя, в отличие от Гитлера, серьезно относился и к своим административным обязанностям).

7. Альдо Бертеле (Aldo Bertele). Цит. по: Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (London: Allen Lane, 2004), 16. Представление о том, что не аргументы, а действия подтверждают теории, было распространено на всех уровнях национал-социалистической иерархии. См. анализ Майклом Вилдтом аппарата «Reichssicherheitshauptamt»: Michael Wildt, *Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes* (Hamburg: Hamburger Edition, 2002).

8. Цит. по: Karl Dietrich Bracher, *The German Dictatorship: The Origins, Structure, and*

кой фразе было немало правды. Фашизм противостоял практически всему, что провозглашала эпоха Просвещения, а именно: что человеческие существа способны найти истину в совместном мышлении, что посредством общественного договора можно наделить друг друга равными правами и свободами и что разум и прогресс неразрывно связаны между собой. Фашистов называли мисологами — ненавистниками разума.

И все же их главной отличительной чертой было не это. Многие философы и политики в XIX в. тоже со скепсисом относились к силе разума, но их относили (и они сами себя относили) к консерваторам. Фашизм отличало стремление к деятельности, к мобилизации людей и овладению историей, а не характерные для консерваторов осторожничанье при проведении реформ и забота об их безопасности. Фашизм не был враждебно настроен по отношению к революциям и, по сути дела, сам считал себя революцией, в особенности — революцией недовольной молодежи.

Откуда исходил императив мобилизации? Хотя было бы ошибкой принимать большую часть того, что говорил Муссолини, за чистую монету, дуче все же, по-видимому, действительно позаимствовал эти идеи у одного из своих любимых политических мыслителей — Жоржа Сореля. Муссолини заявлял: «Тем, что я есть, я обязан Сорелю». В свою очередь Сорель утверждал уже в 1912 г.: «Наш Муссолини не обычный социалист. Поверьте мне: однажды мы увидим его во главе священного батальона со шпагой и знаменем Италии. Он итальянец XV века, кондотьер»⁹.

Сорель — один из тех политических мыслителей, которых очень трудно отнести к каким-либо направлениям. Вначале он казался консерватором, затем ортодоксальным социалистом, затем революционным синдикалистом, а затем националистом (и это не учитывая множества промежуточных стадий). В своей последней идеологической инкарнации он был большевиком, восхваляющим Ленина. На одном из самых известных в истории судебных процессов Сорель зани-

Effects of National Socialism, trans. Jean Steinberg (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970), 10.

9. Цит. по: Michael Freund, *Georges Sorel: Der revolutionäre Konservatismus* (Frankfurt/Main: Vittorio Klostermann, 1932), 8.

мал сторону дрейфусаров, защитников ложно обвиненного в измене французского капитана, однако позднее высмеивал дрейфусарские группировки в Третьей французской республике как сборище лицемеров, более всего пекущихся о том, чтобы извлечь выгоду из парламентского правления. Единственной константой в жизни Сореля было, по-видимому, то, что он постоянно менял взгляды. Как друзья, так и противники Сореля задавались вопросом, была ли в его мысли хоть какая-нибудь логическая последовательность. С одним, впрочем, соглашались в 1920–1930-х гг. все: идеи Сореля пользовались невероятным влиянием. Уиндем Льюис, один из немногих истинно фашистских авторов в Великобритании, утверждал в своей книге «Искусство подчиняться», что «Жорж Сорель является ключом ко всей современной политической мысли»¹⁰. Бенедетто Кроче, итальянский консервативный либерал, превозносил Сореля как единственного, кроме Маркса, оригинального марксистского мыслителя. Грамши восхищался Сорелем, используя его теории в собственной концепции массовой партии как современной версии макиавеллевского государя, «совокупного индивида» и даже «совокупного интеллектуала». Георг Лукач признавал, что Сорель повлиял на его раннюю концепцию романтического антикапитализма. А вот Ленин не отвечал на комплименты, которые ему отпущал в конце жизни Сорель, и называл француза бестолочью и «известным путаником»¹¹.

И действительно, Сорель не был систематическим мыслителем и сам признавал, что стиль его сочинений беспорядочен, даже возмутителен, а в его мысли полно пробелов, до которых ему самому, впрочем, нет никакого дела. В своей самой известной книге «Размышления о насилии» он писал: «Я не преподаватель, не популяризатор и не кандидат в руководители партии; я самоучка, предлагающий вниманию нескольких людей тетради, послужившие моему собственному образованию... Я предлагаю вниманию читателей усилие мысли, стремящейся вырваться из оков заранее

10. Цит. по: *ibid.*, 7.

11. Цит. по: Helmut Berding, *Rationalismus und Mythos: Geschichtsauffassung und politische Theorie bei Georges Sorel* (Munich: Oldenburg, 1969), 7.

выстроенных для общего пользования представлений и пуститься в самостоятельные изыскания. Мне кажется по-настоящему интересным записывать в тетрадях лишь то, что я не встречал у других; переходы от одной мысли к другой я нередко опускаю, так как они почти всегда принадлежат к разряду общих мест»¹².

Иначе говоря, Сорель стремился быть оригинальным во всем, что писал («я никогда не находил людей, которые преподавали бы мне то, что я хотел бы знать»). До всего ему приходилось доходить самостоятельно. И поскольку он отказывался от каких бы то ни было систем, то мог хоть каждый день переделывать свою идеологию, вместо того чтобы становиться учеником для самого себя¹³. Подобно многим другим самоучкам, он оставался аутсайдером, питаясь ненавистью к академическим философам, которые, со своей стороны, отказывались принимать его всерьез¹⁴.

Каким бы интеллектуальным авантюристом он ни был, история жизни этой сознательно маргинальной личности была вполне обыкновенной. Сорель родился в 1847 г. в буржуазной семье в Шербуре и происходил, по словам его друга Шарля Пеги, из «старой Франции», традиционных католических провинций¹⁵. Сореля отправили учиться в Париж, в Политехническую школу — ведущее научное учебное заведение, и, окончив ее, он стал инженером в департаменте общественных работ. Он вел спартанскую жизнь, находясь на службе у Третьей республики, и был одним из бесчисленных и безвестных провинциальных чиновников. Сорель поддерживал несколько необычные отношения со служанкой, которая выходила его, когда он заболел в Лионе в 1875 г., и с которой он впоследствии вел совместное домашнее хозяйство. Мари Давид была набожной полуграмотной католичкой. Он преклонялся перед этой женщиной, считая ее символом чистоты, занимался ее образованием, а по-

12. Georges Sorel, *Reflections on Violence*, trans. T. E. Hulme (1915; New York: Peter Smith, 1941), 3–4; Сорель Ж. *Размышления о насилии*. М.: Фаланстер, 2013. С. 28–29.

13. *Ibid.*, 3 and 5; Там же. С. 28, 30.

14. См.: Jeremy R. Jennings, *George Sorel: The Character and Development of his Thought* (Basingstoke: Macmillan, 1985).

15. Freund, *Georges Sorel*, 13.

сле ее кончины чтит ее память до конца собственной жизни. По сути дела, все его книги посвящены именно ей. Но Сорель не просто учил Мари Давид, но и сам у нее учился. Революционер-марксист, он тем не менее поддерживал ценности, традиционно присущие правым, а именно достоинство, честь семьи и святость религиозного опыта. В 1892 г. в связи с выходом на пенсию французское государство наградило Сореля, к тому времени дослужившегося до поста главного инженера, красной ленточкой кавалера ордена Почетного легиона. Сорель, неустанно призывавший к уничтожению французского государства, носил эту ленточку на груди до самой смерти, наступившей в 1922 г.

К моменту отставки он опубликовал несколько статей и две книги: одна была посвящена исследованию Библии, другая — процессу над Сократом (исход которого он одобрял). Сорель поселился в тихом парижском пригороде и жил на оставленное матерью скромное наследство. Раз в неделю он ездил на трамвае в центр Парижа, читал книги в Национальной библиотеке и вел оживленные беседы с друзьями и случайными знакомыми в книжных магазинчиках рядом с Сорбонной. Он быстро завоевал известность как марксистский политический публицист, что произошло во времена, когда Маркса сравнительно мало знали во Франции. Когда Сорель написал свои «Размышления о насилии», ему было пятьдесят восемь лет и он имел репутацию оригинала. Друзья, относившиеся к нему с нежностью, звали его «*папашей Сорелем*»¹⁶.

Многие сочинения Сореля были реакцией на глубокий «кризис марксизма», о котором шла речь выше: раскол между доктринерским и детерминистским научным социализмом, с одной стороны, и прагматическим ревизионизмом, готовым признать либеральный парламентаризм, — с другой. Особый вклад Сореля в этот спор заключался в следующем: он подверг критике все, что считал материалистическими и рационалистическими элементами в марксизме конца XIX в., и стремился переработать марксистское учение, сделав его формой «социальной поэзии», тем, что заставляет людей поступать героически и способствует моральному возрождению. В теории Сорель соглашался

16. Freund, *Georges Sorelo*, 14.

с максимой Эдуарда Бернштейна, что «цель — ничто, движение — всё». Но для Бернштейна это означало, что главной целью должна стать не революция, а постепенные реформы, достигаемые законными средствами, а непосредственные задачи должны состоять в улучшении условий жизни рабочих и наделении их правом на участие в демократической жизни. Что касается Сореля, то он не мог не презирать такой реформизм, превращающий, по его словам, пролетариев в мелких буржуа. И поэтому, говоря, что движение — «всё», он имел в виду, что этим «всем» должна стать активная, зачастую ожесточенная *борьба*.

Сорель — один из немногих мыслителей XIX в., интересовавшихся Вико и его идеей, что человек способен понимать историю, потому что сам создал эту «искусственную природу» (по выражению великого итальянца). Веберу и другим социальным теоретикам начала XX в. эта фундаментальная интуиция Вико уже не казалась верной. С учетом того, что Вебер называл стальным панцирем, а Зиммель — трагедией культуры, человеческие существа утратили способность понимать безличные силы, которые они создали и которые теперь неумолимо распоряжались их жизнью. Сорель резко отрицательно относился к этой оценке. Вместе с Вико он все еще верил в человеческие существа как прежде всего творцов¹⁷. Вопрос заключался лишь в том, при каких условиях эта креативность — и моральное величие, на которое, согласно Сорелю, люди все еще способны, — могут быть реализованы наилучшим образом.

Когда в 1890-х гг. Сорель увлекся марксизмом, в его голове имелся весьма эклектичный и внешне противоречивый набор идей. Если человеческие существа должны быть на самом деле творцами, рассуждал он, а добродетель в конечном счете формируется только в бою, то единственным креативным классом является пролетариат. Только пролетарии обладают общим сознанием, которое предрасполагает их к жертвенности и героизму. Причина в том, что они *уже* ведут постоянную борьбу — как с материалом, над которым трудятся, так и, конечно же, со своими работодателями.

17. Этот момент изложен энергичнее всего у Исайи Берлина: Isaiah Berlin, Georges Sorel//Isaiah Berlin, *Against the Current: Essays in the History of Ideas* (Oxford: Clarendon, 1981), 296–332.

Взгляд на пролетариат как на потенциального носителя высших человеческих ценностей сопровождался отказом от любого компромисса и любого реального улучшения в жизни рабочих.

Это означало также, что марксизм не имеет никакого отношения к научной истине. На взгляд Сореля, марксизм верен прагматически, как идеология единственной группы людей, способной морально обновить человечество. И так уж случилось, что этой группой оказался пролетариат. Сорель охотно допускал, что в другие времена совершенно иные идеологии, такие как раннее христианство, выполняли ту же функцию и потому заслуживали такой же поддержки. В этом смысле марксизм как теория сам по себе не имел никакого значения. Сорель мог легко переключиться на любую другую идеологию в том случае, если она лучше способствовала моральному величию, достигаемому в борьбе.

Сорель полностью соответствовал образу политика (или, в данном случае, политического мыслителя) убеждения, нарисованному Вебером. Вебер признавал, что анархо-синдикализм — левое течение, к которому принадлежал Сорель, когда писал «Размышления», — вероятно, является наиболее революционным движением его времени. По его мнению, это «или праздный каприз интеллектуальных романтиков и... недисциплинированных рабочих ... или же религия убеждения, имеющая оправдание, даже если *никогда* не задает цели, которая была бы „достижима“ в будущем...»¹⁸.

Сорель не хотел, чтобы «достижимым» оказалось будущее праздности и досуга. На его взгляд, люди должны пылать страстью к борьбе. Поэтому в центре марксизма должна стоять классовая война — идея, которую надо любой ценой защищать от сторонников компромиссов с буржуазной демократией. Точнее, Сорель различал политическую стачку и стачку всеобщую. Первая нацелена на получение материальных выгод и лучших условий труда; для признанных вождей рабочего класса она имеет то преимущество, что «не

18. Letter to Robert Michels, 12 May 1909, in *Max Weber-Gesamtausgabe* 11:6, ed. M. Rainer Lepsius and Wolfgang J. Mommsen, in collaboration with Birgit Rudhard and Manfred Schön (Tübingen: Mohr Siebeck, 1994), 125. См. также замечания Вебера о синдикалистах в «Социализме» и «Политике как призвании и профессии».

ставит под угрозу драгоценные жизни политиков»¹⁹. Всеобщая стачка, напротив, имеет в виду последнее, почти апокалиптическое столкновение между революционерами и существующим строем. В одном поразительном месте Сорель говорит, что героизм важнее реального результата любого конфликта: «Даже если бы единственным успехом всеобщей стачки было усиление героизма в социалистическом мировоззрении, одно это уже придало бы ей неоценимое значение». Неудивительно, что, соглашаясь со своим другом Даниэлем Галеви, он писал: «Легенда о Вечном жиде есть символ самых возвышенных чаяний человечества, обреченного вечно блуждать, не ведая покоя»²⁰.

Излагая самую известную свою идею, Сорель доказывал, что опорой для пролетариата в его решительном движении вперед служат социальные мифы. Мифы — неразложимые эмоциональные целостности, имеющие отношение к «глубинной сфере сознания», месту расположения интуиции и эмоций. Поэтому они и не поддаются разумному анализу. Как отмечал Сорель, «входя на территорию мифов, мы получаем защиту от любых опровержений»²¹. Поэтому только мифы «способны в совокупности и силой одной только интуиции вызвать чувства, соответствующие различным проявлениям войны, начатой социализмом против современного общества». «Мы не делаем ничего великого, — писал далее Сорель, — без помощи окрашенных в теплые цвета образов, поглощающих все наше внимание». Революционная борьба может быть подорвана только одним способом: если принадлежащие к среднему классу интеллектуалы, которые, по словам Сореля, «профессионально заняты эксплуатацией мысли», возьмут на себя руководство движением²².

19. Sorel, *Reflections*, 172; Сорель Ж. *Размышления о насилии*. С. 152.

20. *Ibid.*, 15; *Там же*. С. 38.

21. Сорель резко противопоставлял мифы и утопии. Утопии — «продукты умственного труда», а мифы «тождественны убеждениям данной группы, являются выражением этих убеждений на языке движения». Он указывал, что «если наши сегодняшние мифы побуждают людей готовиться к борьбе, чтобы разрушить существующее, то утопия всегда направляет умы к реформам, которые могут быть осуществлены при распаде системы». *Ibid.*, 33; *Там же*. С. 50.

22. *Ibid.*, 37; *Там же*. С. 53.

Сорель выступал против тенденции парламентских социалистов апеллировать к гуманистическим инстинктам среднего класса, содействуя тем самым социальному миру. На его взгляд, среднему классу не следует быть человеколюбивым, он должен быть сильным, беспощадным и понимать, что пролетариат является его врагом. Сорель приветствовал настоящих капитанов индустрии, напоминавших ему воинов с «завоевательным, неутолимый и беспощадным духом»²³. По сути дела, считал он, марксизм всегда был своего рода «манчестеризмом». Сорель прославлял беспрепятственное, свободное развитие капитализма и производства, надеясь на то, что, поляризовавшись, общество наполнится энергией настолько, насколько это возможно.

Революционное насилие оправдывалось также его ролью в углублении раскола между классами, сохранением пролетариата и среднего класса, так сказать, в чистоте. Насилие служит тому, что Карл Шмитт позднее называл мышлением по схеме «друг — враг»: согласно Сорелю, угроза всеобщей стачки сгруппирует друзей и врагов, проведя между ними предельно четкую линию демаркации²⁴. «Если навстречу богатой, истосковавшейся по победам буржуазии поднимется сплоченный революционный пролетариат, — писал он, — то капиталистическое общество достигнет своего исторического совершенства»²⁵.

Все это тем не менее могло рассматриваться как оправдание насилия в тактических целях. Однако Сорель сделал еще один шаг, высказав, по-видимому, самое парадоксальное из своих заявлений: «Пролетарское насилие, осуществляемое как чистое проявление чувства классовой борьбы, предстает... как нечто возвышенное и героическое. Оно служит основным интересам цивилизации, и хотя это, быть может, не самое подходящее средство для получения прямых материальных выгод, но оно может спасти мир от варварства»²⁶. Насилие, спасающее мир от варварства, — здесь Сорель прямо затрагивает тему, ставшую центральной для фа-

23. Sorel, *Reflections*, 86; Сорель Ж. *Размышления о насилии*. С. 90.

24. *Ibid.*, 144; Там же. С. 134.

25. *Ibid.*, 91; Там же. С. 94.

26. *Ibid.*, 99; Там же. С. 100.

шистской мысли: мир, толерантность и либеральная жизнь в праздности — верные признаки декаданса, а варварству противостоит только вечная борьба. Производя настоящую переоценку ценностей, Сорель называл истинным варваром — буржуа.

Но на что будет похожа не-варварская жизнь? Сорель, хотя и стремился избегать утопий, построение которых, считал он, носит неизменно «рационалистический» характер, все же попытался дать общее начертание «этики производителей», которая должна была характеризоваться традиционными понятиями долга и напряженного труда. Предлагая такую этику, он отказывался от первичности политики — от смысла, извлекаемого из политической борьбы, напоминая Вебера в его наиболее нелиберальные моменты. Вместо этого, доказывал Сорель, на заводах и фабриках будут совершаться эпические, почти гомеровских масштабов, производственные подвиги. В этих обстоятельствах не будет больше никакой нужды и в государстве.

В конце концов Сорель практически полностью вычеркнул из марксизма материализм и даже экономическую теорию, введя вместо них прославление человеческой воли к борьбе. Сделав еще более поразительный шаг, он предложил полностью очистить марксизм от идеи свержения капитализма. Он выступал как своего рода *моралист*, которого интересуют не столько реальные пролетарии, сколько возможность создания совокупного тела, закаленного (и облагороженного) для борьбы и через борьбу.

«Антиматериалистическая ревизия марксизма» (по выражению Зеева Штернхелла) вдохновляла в первые десятилетия XX в. мыслителей всего политического спектра, несмотря на то что у Сореля не было прямых учеников и собственно «сорелевской школы»²⁷. И оставалось произвести всего одно концептуальное переключение, чтобы превратить основные идеи Сореля в то, что уже очень напоминало фашизм: перейти от всеобщей стачки или, шире, от классовой борьбы, к нации как наиболее могущественному мифу. Фашисты перенесли идею классовой борьбы на национальные

27. Zeev Sternhell, with Mario Sznajder and Maia Asheri, *The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution*, trans. David Maisel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).

группы, но сохранили веру в насилие как локомотив истории и необходимую предпосылку новой морали героизма.

Это концептуальное переключение не заставило себя долго ждать. Сорель сам близко к нему подошел, когда присоединился к протофашистскому националистическому *Action Française*, хотя в конечном итоге счел это движение слишком роялистским и католическим. Он презирал также возникшую в начале Первой мировой войны концепцию *union sacrée*, священного союза, французской нации поверх всех классовых барьеров: в очередной раз политики использовали обычных, честных людей в своих целях, и все во имя национального сплочения²⁸. Во время войны молодой немецкий правовед Карл Шмитт, происходивший из традиционной католической среды, но чрезвычайно интересовавшийся новейшей политической мыслью, прочитал «Размышления» Сореля, поскольку работал цензором и отвечал за публикации французских авторов в Мюнхене. Книга произвела на него глубокое впечатление, и в 1923 г. он восхищенно отзывался об идее Сореля, что «из истинных жизненных инстинктов происходят великий энтузиазм, великий моральный выбор и великий миф»²⁹. В иррационалистической теории Сореля о «непосредственной конкретной жизни» он видел преодоление «интеллектуалистского» марксизма и подчеркивал, что «великое психологическое и историческое значение теории мифов не подлежит никакому сомнению»³⁰. Соглашаясь с Сорелем, что мифы играют важнейшую роль в порождении энтузиазма и мужества, необходимых при любом великом моральном решении, Шмитт полностью расходился с ним по вопросу о том, какой миф является самым сильным. Он признавал влияние марксистского мифа о буржуа, но утверждал, что русская революция достигла успеха именно потому, что Ленин сумел превратить миф о буржуа в националистический русский миф. Согласно этому исконному мифу, «буржуй» становился в первую очередь и главным образом

28. Mark Antliff, *Avant-garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909–1939* (Durham, NC: Duke University Press, 2007).

29. Carl Schmitt, *Die politische Theorie des Mythos*// Carl Schmitt, *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles* (1940; Berlin: Duncker & Humblot, 1988), 9–18; here 11.

30. *Ibid.*, 15 and 17.

западником, угнетающим русское крестьянство. Поэтому только объединение социализма и славянофильства привело коммунистов к власти. И это доказывало, что «энергия национального превосходит энергию мифа о классовой борьбе»³¹. По словам Шмитта, все, что необходимо, это «почувствовать само различие; все движется сегодня в направлении национальных, а не классовых антагонизмов»³².

Как мы видели в предыдущей главе, Шмитт превратился в одного из главных критиков либерального парламентаризма и политики компромисса, а в середине 1920-х гг. превозносил фашистскую Италию, считая ее образцом специфически национальной демократии в условиях массовой политики XX в. Его интеллектуальная эволюция — еще один довод в пользу того, что мысль Сореля привлекала как левых, так и правых радикалов. Друг Сореля Даниэль Галеви рассказывал, как спустя десять лет после смерти Сореля посол фашистской Италии обратился к нему с предложением установить памятник на обветшавшей могиле Сореля. Вскоре после этого посол Советского Союза выступил с тем же предложением от имени СССР. Семья Сореля, возможно, памятуя о сознательно аутсайдерском статусе «папаши», отвергла оба предложения.

Тем не менее Муссолини продолжал говорить о нем «наш учитель» и ставил в один ряд с Фридрихом Ницше, не переставая прославлять идею *vivere pericolosamente*, жизни, полной риска. И для этого были свои основания. Муссолини начинал как социалист, но затем порвал с социалистическим движением, разойдясь с ним по вопросу о вступлении Италии в войну. Подобно Сорелю, он отвергал социализм с увенчивающим его лозунгом «каждому по биде». В центре подлинной политической морали должна стоять победа, а не комфорт. И достаточно скоро, в том числе и в Италии, произошло концептуальное переключение с класса на нацию. Благодаря работам Энрико Коррадини идея пролетариата как агента классовой борьбы была заменена идеей «пролетарской нации», угнетаемой более сильными, капиталистическими нациями.

31. *Ibid.*, 16.

32. *Ibid.*, 17.

Идея превосходства нации над классом получила сильнейший импульс во время Первой мировой войны. В 1914 г. социалисты почти повсеместно поддержали свои отечества. Фашизм не мог возникнуть без того, что сам Муссолини называл «окопократией» Первой мировой войны, без аристократии проверенных бойцов, воюющих в окопах. И на всем протяжении своей истории его отличало прославление насилия. По словам дуче, «вечный мир невозможен и бесполезен. Только война приводит человеческую энергию в состояние высочайшего напряжения и одаривает нации, которые на нее осмеливаются, печатью благородства». Существовал даже своего рода культ смерти. «Да здравствует Смерть!» был одним из многочисленных лозунгов фашистов (в данном случае румынской Железной гвардии), в которых подчеркивалось значение и смысл смерти. На фотографии Муссолини, сделанной в его кабинете в редакции фашистской газеты, мы видим заряженный пистолет на столе и картину с черепом на стене.

Вера в ценность войны как таковой отличала фашистов от консерваторов. Бисмарк заявлял: «Мне нужна не война, мне нужна победа»³³. Вера в абсолютную ценность нации и в то, что национализм выше всех других моральных требований, позволяла отделить национализм от либерализма, который был по большей части его союзником в XIX в. Не случайно итальянский фашизм и нацизм возникли в национальных государствах, в которых национальное объединение произошло поздно и воспринималось как незавершенное. Ответственность за это часто возлагалась на либералов. Муссолини в конечном итоге заявил, что «мы создали наш миф. Миф — это вера, страсть. Ему не надо быть реальностью. Это реальность в том смысле, что это стимул, надежда, мужество. Наш миф — нация, наш миф — величие нации». И это была не какая-то особая идеологическая интерпретация, придуманная Муссолини, а общепринятая среди фашистов всей Европы точка зрения. Индивидуальные мифы, с помощью которых предполагалось мобилизовывать массы, были разными для каждой нации. В миф как таковой фашисты верили одинаково твердо, независимо от национальной принадлежности.

33. Цит. по: Vinen, *A History*, 136.

Фашистские решения

Фашисты верили в почти мистическое единство вождя и его народа, основанное на чувстве или даже «духовности». Эта концепция подкреплялась возникшей в конце XIX в. психологией масс — псевдонаукой, которая оказала влияние, в частности, на Гитлера и добросовестно воспроизведена им в «Моей борьбе». В отличие от традиционного консерватизма, фашизм считал себя политической силой, опирающейся на массы, и в частности апеллировал к «массам», которые были политизированы общим опытом жертв и страданий во время Первой мировой войны³⁴. Поэтому в качестве средства завоевания власти фашисты использовали массовую партию. В отличие от либералов и консерваторов XIX в., они не цеплялись за традицию использования мелких элитарных групп аристократов или бюрократов, отечески пекущихся об общественном благе.

Не возражал фашизм и против «современности» — если под этим термином понимать технологию и науку. Итальянские фашисты даже идеализировали самолеты, танки и вообще скорость. В фашистской культуре архаическое было смешано с ультрасовременным и авангардным (сам термин заимствован из военной лексики). Этот сплав возник еще в период перед Первой мировой войной. В 1909 г. Ф. Т. Маринетти, позднее горячий сторонник вступления Италии в войну, заявил в своем «Футуристическом манифесте»: «Мы будем прославлять войну — единственную гигиену для мира — милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине ... мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, будем бороться с морализмом, феминизмом, всякой оппортунистической или утилитаристской трусостью...»³⁵.

34. François Furet, *Le Passé d'une illusion: Essai sur l'idée communiste au XXe siècle* (Paris: Robert Laffont, 1995), 197–8; Фюре Ф. *Прошлое одной иллюзии*. М.: Ad Marginem, 1998. С. 191–192.

35. Несомненно, именно это и имелось в виду (и предвосхищало фашизм): в 1909 г. Маринетти, которого спросили во время интервью, не является ли война «возвращением к варварству», заявил: «Да, но это вопрос

Футуризм (и вдохновленные им фашистские направления мысли) с его понятием *guerra come festa*, войны как праздника, провозглашал «войну единственным руководящим принципом, который позволит нам пройти через новую эпоху аэроплана»; этот принцип незыблем, потому что, согласно простым равенствам футуристов, «война не может умереть, она один из законов жизни. Жизнь = агрессия... Война = кровавое и необходимое испытание силы народа»³⁶. Футуризм должен был полностью преобразовать жизнь, начиная с высокой политики и кончая простыми повседневными занятиями, например, такими как приготовление пищи. Книга рецептов «*La cucina futurista*» («Футуристическая кухня») 1932 г. предлагала итальянцам отказаться от пасты, которую Маринетти ассоциировал с ленью, импотенцией и трусостью, и вместо этого обратиться к ультрасовременным рецептам — например, попробовать ананасы с сардинами³⁷.

Нацисты, напротив, считали искусство авангарда вырождением. Но и в Германии целый ряд мыслителей считал, что фашизм сможет освободить технологию от подчинения императивам капитализма и принесет национальному сообществу более рациональную мобилизацию всех экономических и технологических сил, чем их бессистемное использование индивидуальными капиталистическими предпринимателями. Понятие «тотальной мобилизации» Эрнста Юнгера истолковывалось как максимальное использование современной технологии и полная и всеобщая регламентация *Volk*, народа (полностью мобилизованного совокупного тела), во имя нации. Томас Манн, пытаясь описать это необычное сочетание самого современного

здоровья, которое важнее всего остального. Не подобна ли жизнь наций в конечном счете жизни человека, который избавляется от инфекций и избытка крови, забираясь в ванну и делая кровопускание?» Futurism: An Interview with Mr. Marinetti in *Comoedia* // *F. T. Marinetti: Critical Writings*, ed. Günter Berghaus, trans. Doug Thompson (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2006), 18–21; here 19.

36. In *This Futurist Year* // *ibid.*, 231–7; here 235. Этот текст появлялся в печати несколько раз в промежутке между ноябрем 1915 г. и концом войны.

37. В частности, Маринетти обвинял пасту в том, что она является причиной «*fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo*» (слабости, пессимизма, наводящей тоску бездеятельности и равнодушия). Vinen, *A History*, 135.

и ностальгии по воображаемому прошлому, назвал его «высокотехнологичным романтизмом»³⁸.

Это заставляет нас обратиться к одной из причин, по которой последователи фашизма и многие следившие за фашизмом наблюдатели видели в нем не столько иррациональное прославление воли, сколько, прежде всего, убедительный практический ответ на проблемы века, особенно (но не только) остро вставшие вследствие Великой депрессии. Фашисты предлагали экономическую политику «среднего», или «третьего пути», претендовавшую на заимствование всего самого лучшего из социализма и капитализма. Параллельно Кейнсу они говорили о необходимости программ общественных работ для снижения уровня безработицы. Это объясняет существование ряда любопытных промежуточных фигур, таких как Освальд Мосли и Хендрик де Ман, которые, как и Муссолини, но независимо от него и гораздо более серьезно в мыслительном плане, начинали как социалисты, а затем стали фашистами³⁹.

Однако фашизм апеллировал и к традиционным элитам, предлагая им одновременно защиту от радикального социализма и решение ряда наиболее сложных проблем свободного рынка. В конце концов Муссолини на самом деле не шел во главе похода на Рим, — он прибыл из Милана в спальном вагоне железнодорожного экспресса «*Di-retissimo*». Король предложил ему пост премьер-министра, и Муссолини тут же объявил себя «верным слугой Его Величества». Что касается участников марша, то это были «солдаты-любители, игравшие в революцию, плохо вооруженные (охотничьи ружья, старые армейские пистолеты почти без патронов)»; с ними могла легко справиться регулярная армия, будь у нее желание сделать это (в любом случае большинство из них остановилось милях в два-

38. Jeffrey Herf, *Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich* (New York: Cambridge University Press, 1984), 2; см. также: Roger Griffin, *Fascism and Modernism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler* (New York: Palgrave, 2007).

39. Кейнс с самого начала питал отвращение к нацистам. Но после 1945 г. либертарианские критики кейнсианства, пытаясь очернить «средний путь» государственного вмешательства в экономику, называли его «фашизмом» и иногда, как в Италии, достигали в этом успеха.

дцати от столицы)⁴⁰. Аналогичным образом дело обстояло и с Гитлером. Среди традиционных элит и избирателей, принадлежавших к среднему классу, было распространено мнение, что все остальное уже перепробовано и что парламентское правление как политическая форма себя исчерпало. По сути дела, ни один фашистский лидер никогда не «захватывал власть» в собственном смысле слова. Все они были назначены — либо королем, либо консервативным президентом, либо, за пределами Германии и Италии во время войны, Третьим рейхом. Гитлер сам прямо заявлял, что революции в XX в. могут и должны совершаться без насильственных мятежей; наоборот, на первых их этапах необходимо тесное сотрудничество со старыми элитами (с последующим их уничтожением).

Но какое же именно решение проблем века предлагали фашисты? В теории это был корпоративизм, т.е. разделение общества на четко определенные группы, например на работодателей и рабочих в различных отраслях промышленности, сотрудничающих на благо нации. Корпоративизм, казалось, отвечал на вызов классового конфликта и одновременно на потребность в участии индивидов в процессе принятия решений там, где это имело значение, т.е. в экономике. Подчеркнем еще раз, что итальянский корпоративизм испытал глубокое влияние со стороны Сореля, в частности его несколько конспективной «этики производителей», хотя при этом никто из итальянских корпоративистов, в отличие от французских синдикалистов, не выступал за отмену государства⁴¹.

Муссолини объявлял корпоративизм (или, как его иногда называли, корпоратизм) одним из важнейших достижений фашистской политической мысли, «представляющих интерес для всего мира». Государственные деятели вроде Ллойд Джорджа вторили ему, называя корпоративное государство «величайшей общественной реформой современной эпохи»⁴².

40. Donald Sassoon, *Mussolini and the Rise of Fascism* (London: HarperPress, 2007), 13.

41. Ilse Staff, *Der faschistische Korporativstaat und die ihn bestimmenden Ideologien* // Aldo Mazzacane et al. (eds), *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen* (Frankfurt/Main: Vittorio Klostermann, 2005), 91–127.

42. Цит. по: Luciano Canfora, *Democracy in Europe: A History of an Ideology*, trans. Simon Jones (Malden, Mass.: Blackwell, 2006), 159.

Но идеи корпоративизма и труды, в которых они развивались, появились примерно в то же время во многих других европейских странах. Сходные теории, касающиеся функциональных форм представительства, предлагали гильдейские социалисты, в частности Дж.Д.Г. Коул. На сторону фашизма перешел один из крупнейших плюралистических мыслителей — Рамиро де Маэсту⁴³.

Кроме того, конкурирующую, не-фашистскую версию корпоративизма разрабатывали католические мыслители, иногда демонстрировавшие явную склонность к авторитаризму. Например, влиятельный австрийский социолог Отмар Шпанн выдвигал холистическую теорию «истинного государства»⁴⁴. Опираясь на немецких романтиков, Шпанн изображал государство как тело, членами которого являются гармонично сотрудничающие корпорации. Произвол парламентских компромиссов должны заменить разумные решения и верховенство выгодных всем «объективных ценностей». В запутанной терминологии самого Шпанна, речь должна идти о «рангах» и органическом неравенстве вместо демократического и потому «неорганического» равенства. *Sachsoveränität*, нечто вроде разумного управления, должно прийти на смену *Volksoveränität*, иррациональному суверенитету народа. На взгляд Шпанна, государственная религия (которой волею случая оказался католицизм) должна служить сплочению общества в единое целое. Не было ничего удивительного в том, что некоторые ученики Шпанна вошли в руководство *Heimwehr*, националистической милиции, сыгравшей ключевую роль в разгроме Красной Вены⁴⁵.

43. Факт, который в свое время широко признавался: гарвардский профессор консервативных взглядов У.Эллиот отмечал, что «идеология фашизма представляет собой экзотическое попурри из макиавеллиевского прагматизма, джентилевского идеализма, сорелевского мифотворчества и насилия и даже функционализма итальянских гильдейских социалистов и синдикалистов». См.: W. Y. Elliott, *Pragmatic Revolt*, 10.

44. Вдобавок Шпанн называл холизм (и национальный партикуляризм) «универсализмом». См.: Othmar Spann, *Der wahre Staat: Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft* (1921; Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1972).

45. Gerard Mozetič, *Outsiders and True Believers: Austrian Sociologists Respond to Fascism* // Stephen Turner and Dirk Käsler (eds), *Sociology Responds to Fascism* (New York: Routledge, 1992), 14–41.

Главная цель авторитарного корпоративизма (и всех странных органических метафор, которые выдвигались теоретиками вроде Шпанна) состояла, очевидно, в том, чтобы положить конец классовому конфликту. Вопрос вновь прояснил Муссолини: «Страна, подобная нашей, не располагающая богатыми минеральными ресурсами, половину площади которой занимают горы, не может иметь великих экономических возможностей. И, следовательно, если граждане начнут ссориться, если классы будут стремиться к уничтожению друг друга, гражданская жизнь лишится той ритмичности, которая необходима для развития современного народа»⁴⁶.

В Италии корпорации были, по сути дела, официальными государственными органами, в задачу которых входило установление дисциплины среди трудящихся и (в теории) работодателей и которые отвечали перед правительством за национальное производство. Фашистский философ Уго Спирито добавлял, что этот план виделся как «великий эксперимент по экономическому примирению... попытка примирить классовые интересы с высшими интересами государства»⁴⁷, а в конечном счете должен был привести к полному преодолению классовых различий и тем самым к тотальному общественному единству. По словам Спирито, «корпоративизм вдохновляется возможностью морального и правового объединения общественной жизни. Он верит в радость дарения и жертвы. Он противостоит любой чисто личной цели в жизни и именно поэтому является не экономическим понятием, но уникальной политической, моральной, религиозной сущностью фашистской революции»⁴⁸.

Спирито даже предлагал преобразовать частную собственность в «собственность корпоративную», а рабочих сделать долевыми собственниками и управляющими предприятий. Это, как можно догадаться, насторожило промышленников и так никогда и не было осуществлено, а са-

46. Benito Mussolini, *My Rise and Fall* (1928/48; New York: Da Capo Press, 1998), 274.

47. Цит. по: A. James Gregor, *Mussolini's Intellectuals: Fascist Social and Political Thought* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), 128.

48. Цит. по: *ibid.*, 129.

мого Спирито вынудили уехать на Сицилию⁴⁹. Не было ничего нелогичного и в том, что впоследствии он стал коммунистом.

К концу 1930-х гг. итальянские государственные или квазигосударственные агентства и «институты» контролировали жизненно важные отрасли итальянской экономики. По сути дела, Италия располагала самым крупным государственным сектором после Советского Союза. Корпоративизм повсеместно считался успешным или во всяком случае надежным подходом к экономической и социальной политике — и не в последнюю очередь в Соединенных Штатах, где некоторые сторонники «Нового курса» были явно увлечены фашизмом Муссолини⁵⁰.

Миф тотального государства

После почти десяти лет пребывания у власти Муссолини наконец познакомил мир с официальной доктриной. На самом деле она уже была положена на бумагу философом Джованни Джентиле. Джентиле начинал свою интеллектуальную жизнь как либерал. В начале 1920-х гг. он даже пытался подобрать специфически либеральное оправдание своей позиции в поддержку фашизма. Это еще раз свидетельствует в пользу того, что итальянские либералы видели в Муссолини последний шанс на спасение своей системы от социализма⁵¹. Сразу после похода на Рим дуче предложил философу пост министра образования в своем первом кабинете. Джентиле был приверженцем «абсолютного идеализма», т.е. рассмотрения мира как в конечном счете «духовной» реальности, продукта человеческого сознания и морального выбора. Моральным императивом всех чело-

49. См. также его *Memoirs of the Twentieth Century*, trans. Anthony G. Costantini (Amsterdam: Rodopi, 2000), 37–46.

50. См.: Wolfgang Schivelbusch, *Three New Deals: Reflections on Roosevelt's America, Mussolini's Italy, and Hitler's Germany, 1933–1939* (New York: Metropolitan, 2006).

51. Giovanni Gentile, *Il mio liberalismo* // Giovanni Gentile, *Che cosa è il fascismo? Discorsi e polemiche* (Florence: Vallecchi, 1925), 119–22. Это эссе появилось в 1923 г.

веческих существ, утверждал он, является полная самореализация, которая, однако, может быть осуществлена только в общении. Человек, по сути своей, есть общественное существо. Любая другая антропологическая концепция — индивидуалистическая иллюзия.

Из этого следовало, что современный либеральный индивид, концепция которого была выработана традиционным либерализмом, по необходимости вел жалкую, недореализованную жизнь, никогда не выходящую за рамки убогого компромисса между личным интересом и закрепленными в общественном договоре интересами всего общества в целом. Вместо этого, как полагал Джентиле, основой для моральных выборов, как индивидуальных, так и коллективных, должна стать нация. Эта мысль, в свою очередь, привела его к концепции «этического государства» как суверенного института, посредством которого индивиды могли бы постоянно самореализовываться и обновляться⁵². По его словам, «фашистское государство... есть сила, но это духовная сила... это душа души». В несколько более практических терминах это означало отождествление с национальным лидером, который является воплощением коллективного сознания и национальной воли.

Для Джентиле нация — это сообщество воли и воображения. Весьма рано он связал себя с крайним национализмом *Associazione Nazionalista* Коррадини и Альфредо Рокко (последний надеялся стать архитектором правовой системы фашистского государства). Но фашизм был не просто крайним национализмом в духе концепций целого ряда мыслителей XIX в. Как позднее подчеркивал Джентиле, проблема с обычным национализмом заключается именно в том, что он рассматривал нацию как данность, как нечто внешнее и трансцендентное. Однако для Джентиле не могло существовать ничего, что выходило бы за пределы человеческой воли и морального выбора. Традиционный национализм был слишком историчен и «натуралистичен», чтобы в полной мере соответствовать его идеализму. На его взгляд, фашизм должен означать постоянное творение нации. По-

52. A. James Gregor, *Giovanni Gentile: Philosopher of Fascism* (New Brunswick, NJ: Transaction, 2001), 30–1.

добно очень многим итальянским интеллектуалам, правым или левым (таким как Грамши), он считал, что Рисорджименто XIX в. осталось незавершенным и что объединение (знаменитая его формула) создало Италию, но не итальянцев. Поэтому Джентиле считал себя приверженцем идеалов итальянского национализма, а либерального националиста Мадзини — своим прямым идеологическим предшественником, или даже протосквадристой, фашистским партизаном *avant la lettre*, до появления самого термина⁵³.

Но даже если все коренится в индивидуальной воле, последняя не индивидуалистична: тотальное отождествление гражданина с национальным государством является продуктом специфически национальной и всеобъемлющей педагогики. Современное государство само должно стать не просто этическим, но и индоктринирующим государством⁵⁴. Во время своего относительно недолгого пребывания в правительстве Джентиле инициировал самую крупную с середины XIX в. реформу государственного образования, подчеркивая значение того, что он называл «гуманистическими» и националистическими ценностями, а также «слияния» воли ученика и учителя. Муссолини превозносил политические идеи философа и назначил его еще и главой комиссии, на которую возлагалась задача строительства специфически фашистского государства⁵⁵.

Что же именно привлекало Муссолини в Джентиле, взгляды которого Кроче высмеивал как «ученические»? Будущий дуче, несмотря на хвастливое «я фашизм», заявлял уже в августе 1921 г., что фашизму срочно требуется доктрина, дабы избежать самоуничтожения⁵⁶. Несмотря на свой переход от социализма к фашизму и переключение с пролетариата на пролетарскую нацию, Муссолини всегда оставался коллективистом. В каком-то смысле все, что ему надо было теперь сделать, это перейти от материализма, который он раз-

53. Richard Bellamy, *Modern Italian Social Theory: Ideology and Politics from Pareto to the Present* (Cambridge: Polity, 1987), 109.

54. *Ibid.*, 58.

55. M. E. Moss, *Mussolini's Fascist Philosopher: Giovanni Gentile Reconsidered* (New York: Peter Lang, 2004).

56. Цит. по: Gregor, *Gentile*, 34.

делял в бытность социалистом, к якобы фашистскому «спиритуализму». Как говорил Муссолини в 1922 г., «в течение ста лет на алтаре находилась материя; сегодня ее место занимает дух»⁵⁷. Поэтому то, что Джентиле называл философией «актуализма» с ее акцентом на общественной и духовной природе человеческих существ, должно было сразу приглянуться Муссолини, как и претензии, сопровождавшие термин «этическое государство». По свидетельству Карла Шмитта (правда, не вполне надежному), дуче сказал ему во время разговора один на один в Палаццо Венеция в 1936 г.: «Государство вечно; партия преходяща; я гегельянец»⁵⁸.

Этическое государство должно было стать тотальным, а лучше сказать тоталитарным государством. Это означало: «все в государстве, ничего вне государства и ничего против государства». Но Джентиле продолжал настаивать, что это подлинная форма демократии, лучше всего подходящая для формирования способности к коллективному политическому действию⁵⁹. В 1927 г. он информировал американских читателей журнала *Foreign Affairs*: «Фашистское государство... есть народное государство и, как таковое, демократическое государство *par excellence*. Соответственно, отношения между государством и гражданином (не тем или иным конкретным гражданином, но всеми гражданами) настолько тесны, что государство существует только тогда и лишь постольку, когда и поскольку гражданин выступает как причина его существования. Поэтому формирование государства есть формирование его осознания в индивидах, в массах. Отсюда необходимость партии и всех инструментов пропаганды и образования, которые применяет фашизм для того, чтобы сделать мысль и волю дуче мыслью и волей масс. Отсюда гигантская задача, которую ставит перед собой фашизм в его попытках привлечь всю в целом массу народа, начиная с маленьких детей, в число единомышленников партии»⁶⁰.

57. Цит. по: Gregor, *Gentile*, 59.

58. Цит. по: Reinhard Mehring, *Carl Schmitt: Aufstieg und Fall* (Munich: C. H. Beck, 2009), 370.

59. Цит. по: Gregor, *Gentile*, 63.

60. Gentile, *The Philosophic Basis*, 302–3. См. также работу 1917 г. «Futurist Demagoguery»: «Мы можем... спокойно передать всякое право делать и пе-

Это подлинная демократия, потому что, согласно Джен- тиле, «государство и индивид суть одно и то же, или, скорее, они неотъемлемые элементы необходимого синтеза». Такой синтез можно было бы назвать «тоталитарным». Последнее понятие было предложено (что зачастую происходит с политическими ярлыками) врагом того самого феномена, который оно в конце концов и стало обозначать⁶¹. Либеральный антифашист Джованни Амендола первым заговорил о режиме Муссолини как «тоталитарном», предупреждая общество о движении в направлении диктатуры. Однако в 1925 г. Муссолини сам начал говорить о «яростной тоталитарной воле» (*feroce volontà totalitaria*) фашистов. Дуче, называвший себя «безнадежным итальянцем», в то же время заявлял о тоталитарной потребности в формировании нового человека, или, более конкретно, «нового итальянца», который будет «мало говорить, меньше жестиковать и подчиняться единой воле» (и, в соответствии с культурным проектом Маринетти, не увлекаться пастой)⁶².

Эта сознательно тоталитарная концепция никогда не смогла даже приблизиться к своей реализации в фашистской Италии. Муссолини в значительной степени подчинил свою партию традиционному государственному аппарату. Он оставил короля на посту главы государства как монарха, сохраняющего своего рода «резервную харизму» наряду с харизмой дуче. В школах вывешивались портреты обоих — и короля и дуче, а люди распевали и королевский марш и фашистский гимн *Giovinezza*⁶³. Виктор Эммануил III даже позволил себе не отдать честь фашистскому флагу, когда в 1938 г. в Рим приехал Гитлер (фюрер испытывал ответное чувство раздражения в отношении мо-

ределявать числу, количеству, массе, поскольку в нашем случае число, количество и масса не будут, как в Германии и России, числом, количеством и массой посредственных, некомпетентных или беспомощных существ». *Marinetti*, 300–3; here 301.

61. Прежде чем еще раз трансформироваться и стать в 1950-х гг. ценностно-нейтральным социологическим термином, обозначающим конкретный вид режима.

62. Цит. по: Ruth Ben-Ghiat, *Fascist Modernities: Italy, 1922–1945* (Berkeley: University of California Press, 2001), 4.

63. R.J.B. Bosworth, Italy // Gerwarth (ed.), *Twisted Paths*, 161–83; here 170–1.

нарха, называя его «королем-шелкунчиком»)⁶⁴. Попытки Джентиле и других деятелей заменить старую конституцию (по сути, Альбертинский статут 1848 г., распространенный с Пьемонта на всю объединенную Италию) на специфически фашистскую не удалось. Единственным радикальным шагом в действительно фашистском, или по крайней мере в постпарламентском, направлении стала замена в 1939 г. палаты депутатов на вообще не подлежавшую выборам палату фаший и корпораций⁶⁵. Доктрины имели значение, как и индоктринация, однако итальянские фашисты на всякий случай все же оставили традиционные институты в целостности и сохранности и требовали не фанатичной веры, а, скорее, аполитичного молчаливого согласия. В формулировке Р. Дж. Босворта, «Гиммлер хотел, чтобы все немцы думали одинаково; фашистская тайная полиция предпочитала, чтобы итальянцы вообще не думали»⁶⁶.

Что все это значило для обычных людей, замечательно передано в фильме Федерико Феллини «Амаркорд» (на риминийском диалекте — «Я помню») — размышлении о том, на что был похож фашизм по воспоминаниям человека, выросшего в то время. Перед нами картина самой обычной жизни, что опровергает представление о режиме, который якобы оказывал тотальное давление на граждан. Конечно, тут есть место и политическому запугиванию, и пыткам с помощью касторового масла. Суть дела, однако, в том, что на каком-то трудноуловимом интимном уровне человек все же трансформируется. Люди проецируют свои страхи и желания на дуче. Например, во время проходящего в городе фашистского парада гигантская маска Муссолини внезапно оживает в воображении толстого, непривлекательного мальчика, и вождь дарит ему девочку его мечты. В конце концов возникает ощущение, что население не столько

64. Paul Baxa, Capturing the Fascist Moment: Hitler's Visit to Italy in 1938 and the Radicalization of Fascist Italy // *Journal of Contemporary History*, vol. 42 (2007), 227–42; Fest, *Hitler*, 787; Фест И. *Гитлер*. С. 268.

65. Paolo Pombeni, The Roots of the Italian Political Crisis: A View from History, 1918, 1945, 1989, and After // Carl Levy and Mark Roseman (eds), *Three Post-war Eras in Comparison: Western Europe, 1918–1945–1989* (New York: Palgrave, 2002), 276–96.

66. Bosworth, *Italy*, 177.

подвергается прямым репрессиям, сколько инфантилизируется.

Несмотря на внутреннюю переделку граждан этическим государством, оказалось, что дуче мог удивительно легко потерять контроль над нацией. Когда король и Большой фашистский совет в 1943 г. решили, что Муссолини больше не может быть вождем, режим просто пал, а армия в одночасье перешла на сторону противника, подобно тому как это случалось с армиями XVIII в. В ретроспективе представляется, что конечным источником легитимности оставался король, и когда Виктор Эммануил III перестал оказывать поддержку дуче, а фашистская партия, имевшая альтернативную институциональную харизму, потеряла в него веру, тоталитаризму пришел конец. Как должен был признать сам Муссолини, «монархия была раньше, и монархия будет всегда»⁶⁷. Таким образом, режим, который сначала называли и который впоследствии сам стал называть себя тоталитарным, должен был заключить слишком большое количество компромиссов с традиционными элитами, чтобы хотя бы приблизиться к «настоящему» тоталитаризму.

Один из этих компромиссов следовало заключить с самым сильным негосударственным институтом — католической церковью. Ватикан критиковал «актуализм» Джентиле, считая его родственным пантеизму и отрицающим трансцендентную реальность. Джентиле подвергался критике и самим фашистским движением, особенно (но не исключительно) после того, как начиная с 1938 г. режим Муссолини стал расистским и антисемитским⁶⁸. Для Джентиле расизм означал всего лишь новую форму материализма, который всегда отвергался его абсолютным идеализмом. Тем не менее Джентиле продолжал поддерживать режим и даже связал свою судьбу с республиканским фашистским государством, Республикой Сало, которую дуче создал после 1943 г. В конечном итоге ему пришлось заплатить жизнью за свое решение остаться с Муссолини до самого конца. В апре-

67. Цит. по: Sassoon, *Mussolini*, 11.

68. Alessandra Tarquini, *Il Gentile dei fascisti: gentiliani e antigentiliani nel regime fascista* (Bologna: Il Mulino, 2009).

ле 1944 г. он был убит коммунистами-партизанами. Согласно по крайней мере одному историческому свидетельству, казнь была совершена по специальному распоряжению коммунистического руководства.

Окопократия versus технократия?

Несмотря на то что итальянский фашизм на самом деле не был тоталитарным, он все же глубоко отличался от правых авторитарных режимов, появившихся на территории Европы в 1920-х и 1930-х гг. По сути дела, после пьянящих лет строительства демократии сразу по окончании войны и последовавшего кризиса парламентаризма, констатированного Шмиттом, диктатуры стали почти стандартной альтернативой. Практически все они пытались положить в основу своей легитимности традицию или то, что часто именовалось «христианской национальной культурой», хотя эти традиции обычно получали новое истолкование, чтобы соответствовать характеру политического господства в эпоху массовой политики. Когда Хорти, назначивший сам себя «регентом» Венгрии, получил возможность восстановить на троне короля, он сделал все, чтобы Карл I и его супруга Зита покинули страну⁶⁹.

Лидеры вроде Хорти и португальского диктатора Антонио Салазара не были заинтересованы в постоянной мобилизации населения. Их лидерство основывалось не на личной харизме и не на безличной харизме партии-авангарда. В этом отношении весьма показательно так называемое Новое государство Салазара. В какой-то момент Салазар, приводивший в восторг многих политиков и интеллектуалов на континенте и за его пределами, появился на обложке журнала *Time* как «дуайен диктаторов». Из всех правых авторитарных правительств в Европе XX в. «Новое государство» Салазара оказалось самым долговечным. Режим возник в 1926 г. в результате классического военного путча, а не вследствие какого-нибудь «героического» или в выс-

69. Хорти находился под сильным давлением со стороны Антанты. Монарх был официально лишен трона в 1921 г.

шей степени эстетизированного марша полувоенных отрядов. Сам Салазар был скромным профессором экономики и передал главные представительские функции, вроде президентства, другим людям (что вынудило одного итальянского наблюдателя заметить, что это был случай «личного правления без личности»). В то время как Муссолини иногда изображал из себя воплощение божества, Салазар предпочитал, чтобы его воспринимали как скромного государственного служащего. Муссолини любил скорость, и его прославляли как лучшего в Италии авиатора. Салазар слетал на аэроплане всего один раз, и ему это не понравилось. Государство Муссолини бросало вызовы и мобилизовывало массы. *Estado Novo* Салазара всех расставило по местам и не позволяло с них сойти⁷⁰.

Возникает соблазн назвать этот тип правительства не оккупацией, а технократией, или западноевропейской версией режима Ататюрка. Но речь шла о другом. Салазар и подобные ему лидеры не стремились ни к общественной, ни к культурной революции. Им не было дела и до технологических новаций. Оправданием этих режимов служило, прежде всего, то, что они существовали ради стабильности и определенной, в высшей степени контролируемой формы экономического развития, которая не затрагивала интересов традиционных элит, в частности крупных землевладельцев. Поскольку стабильность ценилась превыше всего, не делалось никаких попыток вернуться к династической легитимности или каким-то иным додемократическим ее формам. Салазар никогда не пытался восстановить в Португалии монархию или отменить принцип отделения государства от церкви. Призывы чтить традицию звучали постоянно, однако реальное возвращение к ней считалось слишком рискованным политическим предприятием.

Этот тип патернализма мог сосуществовать с чрезвычайно ограниченными формами плюрализма и до некоторой степени поддерживаться ими. В отличие от советской и фашистской моделей государства, согласно которым политика могла быть только единой и неделимой, плюрализм до-

70. António Costa Pinto, *Salazar's Dictatorship and European Fascism: Problems of Interpretation* (New York: Columbia University Press, 1995).

пускал по меньшей мере некоторые разногласия в обществе и их представительство. В некоторых странах даже продолжали существовать парламенты, проводились выборы и сохранялись в жизнеспособном виде (иногда созданные искусственно) оппозиционные партии, хотя власть неизменно оставалась в руках диктатора и его бюрократической элиты, самое большее — в союзе с небольшим числом партий, верных вождю. В Венгрии партия, постоянно находившаяся у власти со времен Белого террора Хорти, называлась попросту — «партией власти»⁷¹. Правом голоса обладало всего около 30% населения⁷².

Не-фашистские авторитарные режимы охотно говорили о себе как об успешных альтернативах парламентской демократии. В 1934 г. Салазар высказывался как постдемократ: «В то время как политические системы XIX в. в целом терпят крах и все больше чувствуется потребность в приспособлении институтов к новым общественным и экономическим условиям, мы можем гордиться... потому что наши идеи и достижения позволили серьезно продвинуться в понимании проблем и трудностей, преследующих все государства... Убежден, что, если не начнется какого-то попятного движения в политической жизни, через двадцать лет в Европе не останется ни одного законодательного собрания»⁷³.

Главным способом решения «проблем и трудностей, преследующих все государства», стал корпоративизм, который, как мы видели выше, вполне можно назвать наиболее рациональным аспектом итальянского фашизма. Но в некоторых отношениях корпоративизм больше подходил христианским авторитарным режимам, потому что находил очевидные оправдания в католической социальной доктрине. В частности, он занимал центральное место в папской энциклике *Quadragesimo Anno* 1931 г. Корпоративизм был похож и на турецкий «популизм» (один из основополагающих принципов республики Ататюрка), стремившийся заменить классы профессиями. В не-авторитарной форме корпорати-

71. Paul Hanebrink, *In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890–1944* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006), 165.

72. Gerhard Besier, *Das Europa der Diktaturen* (Munich: DVA, 2006), 126–7.

73. Цит. по: Mazower, *Dark Continent*, 27.

визм вернулся на политическую сцену после Второй мировой войны. Авторитарная версия корпоративизма существовала в Португалии Салазара до начала 1970-х гг.⁷⁴.

Критики неизменно отвергали корпоративистские холистические и органические образы современного общества как нереалистичные или лицемерные, отмечая, что корпоративизм на деле выгоден только капиталистам. Макс Вебер в свое время высмеивал предложения перестроить Германию после Первой мировой войны в соответствии с принципами корпоративизма, называя их «дилетантскими воздушными замками» и «ненастоящими идеями» (придуманными, как он полагал, все теми же бестолковыми немецкими литераторами)⁷⁵. Он настаивал на том, что в современном сложном обществе призвания и профессии не могут быть четко отделены друг от друга; даже если бы удалось их разделить, границы между ними не могли надолго сохраниться в быстро меняющейся капиталистической экономике; наоборот, искусственные разделения на самом деле разрушили бы даже ту сплоченность, которая имела место в той или иной профессии. Корпоративизм, считал Вебер, гораздо менее прозрачен, чем парламентаризм, и, несомненно, привел бы к укреплению власти государственной бюрократии.

В любом случае истинной целью корпоративизма были не прозрачность и солидарность, а борьба с нестабильностью и конфликтами представительной демократии: члены корпораций должны были не преследовать свои личные интересы подобно изолированным индивидам классической либеральной теории, но в первую очередь отождествлять себя с государством (в точности как предписывал «актуа-

74. В 1960-х гг. Салазар все еще заявлял: «Наилучшая формула, которая, возможно, станет формулой будущего, состоит в том, что правительство должно издавать законы в консультативном сотрудничестве с корпоративными палатами, возможно, при содействии совета экспертов по праву». Он утверждал также: «Думаю, нет большего благословения для нации, чем стабильность эффективного правительства». См.: *Salazar Says ...* (Lisbon: S.P.N., 1963), 27 and 26.

75. Буквально — «Dilettantische Seifenblasen». См.: Weber, *Wahlrecht und Demokratie in Deutschland* // *Max Weber-Gesamtausgabe* I:15, ed. Wolfgang Mommsen in collaboration with Gangolf Hübinger (Tübingen: Mohr Siebeck, 1984), 347–96; here 355–63.

лизм» Джентиле). Таким образом, корпоративизм привлекал диктаторов вроде Салазара, который превыше всего ценил стабильность, и представлял меньший интерес для режимов, которые верили в постоянную народную мобилизацию и выступали против центральной роли католицизма. Гитлер поздравил Отмара Шпанна с его антисемитской лекцией в Мюнхене в 1929 г., однако в конце 1930-х гг. национал-социалисты не только отклонили заявление Шпанна о приеме в партию, но и уволили его из Венского университета. В конце концов он провел полтора года в концентрационном лагере⁷⁶.

Логика работала и в противоположном направлении: авторитарно-корпоратистские режимы методично преследовали более радикальные фашистские группы, заимствуя при этом элементы фашистского стиля. В Румынии, например, король-диктатор Кароль, разгромив фашистское движение «Железная гвардия», создал свой собственный Фронт национального возрождения и ввел в обиход фашистское приветствие⁷⁷. Большинство этих авторитарных режимов отвергало материализм и все, что отдавало фашистским язычеством. Вместо этого подчеркивалось значение христианства, обычно в противопоставлении «безбожному большевизму». Де-факто правитель Польши маршал Пилсудский отвечал только перед «Богом и историей»; генерал Франко почитался как *hijo predilecto de Dios* (возлюбленный сын Господа); а преамбула австрийской «клерикально-фашистской» конституции 1934 г. гласила: «Во имя Бога Всемогущего, от которого исходит вся праведность, австрийский народ принимает эту конституцию своего федерального государства, основанного на христианских, германских и корпоративных принципах»⁷⁸. Канцлер Дольфус верхом на коне следовал во главе полувоенной колонны, сопровождавшей огромное деревянное распятие⁷⁹. В «христианском корпоративном государстве» государство должно было стоять

76. Mozetič, *Outsiders*.

77. Besier, *Das Europa*, 280.

78. Ivan T. Berend, *Decades of Crisis: Central and Eastern Europe before World War II* (Berkeley: University of California Press, 1998), 305.

79. *Ibid.*, 304.

на первом месте: ни фашистское движение, ни духовенство к реальной власти не допускались.

Большинство авторитарных лидеров занималось тем, что можно назвать риторикой морального наставления: они не пытались разжечь политические страсти народа, а, скорее, стремились напомнить, что людям следует вернуться к традиционным ценностям труда, семьи и отечества и что любые сегодняшние трудности надо терпеть, поскольку в прошлом царили разложение и безбожие. Вишистская Франция взяла за образец государство Салазара, а лидер вишистского режима маршал Петен стал прототипом морализаторской самопрезентации такого рода. В новогодних посланиях народу маршал мрачно заявлял, что не имеет никакого представления о том, что сулит будущее, но уверен в одном: сегодняшние трудности Франции являются отчасти расплатой за ее предвоенные грехи⁸⁰. В 1930-е гг. одна из многих появившихся тогда правых лиг предсказывала, что «Франция кемпингов, спорта, танцев, путешествий, коллективного туризма уничтожит Францию аперитивов, табачных притонов, партийных съездов и неспешных дижестивов»⁸¹. Режим Виши называл себя *l'État français*, очевидно в противопоставлении *la République*, но это указывало также на верховенство самодостаточного государства над нацией или империей, не говоря уже о политическом движении (вишисты не располагали массовой партией для поддержки режима). В духе старорежимной монархии дети должны были возносить молитву: «Отец наш, который за нас в ответе, славно имя Твое, царствие да придет Твое... и избавь нас от зла, наш Маршал!»⁸² Во французских классных комнатах запрещалось помещать обязательный портрет маршала под крестом; он должен был висеть над ним.

Резко различались и способы внешнеполитического мышления. Салазар и другие авторитарные лидеры пытались со-

80. Самобичевание вишистской пропаганды блестяще показано в фильме Клода Шаброля «Око Виши».

81. James, *Europe*, 205.

82. Цит. по: Marc Olivier Baruch, *Charisma and Hybrid Legitimacy in Pétain's Etat français* (1940–44) // António Costa Pinto, Roger Eatwell and Stein Ugelvik Larsen (eds), *Charisma and Fascism in Interwar Europe* (London: Routledge, 2007), 77–86; here 80.

хранить те колонии, которые у них уже были, но большого стремления к экспансии и масштабному строительству империй с цивилизаторско-религиозными или расистскими целями у них не наблюдалось. Фашистские движения, которые авторитаристы пытались сдерживать, с энтузиазмом проповедовали имперскую экспансию, однако диктаторы сохраняли осторожность и часто проводили конъюнктурную политику. Подобный оппортунизм отчасти объясняет, почему такие государства, как режимы Франко и Салазара, существовали в течение столь долгого времени. В отличие от них режимам, которые постоянно мобилизовывали людей и делали основанием своей легитимности политический динамизм и завоевания, приходилось вести войны, и не в последнюю очередь потому, что успешные войны позволяли искоренять любой плюрализм и остатки власти традиционных элит, таких как церкви. Как констатировал Зигмунд Нейман в 1942 г. в своем исследовании фашизма, «диктаторские режимы — это правительства, ведущие войну, рождающиеся во время войны, нацеленные на войну, процветающие за счет войны»⁸³.

Конечно, конкретные обстоятельства возникновения и смерти режимов всегда случайны. Но имелась определенная логика в том, что фашизм, демонстрируя, по словам Неймана, свою «безграничную динамику», начал с войны и закончил войной⁸⁴. То же самое относится к судьбе вождей. Такие люди, как Хорти, не кончали жизнь самоубийством, их не вздергивали на виселице партизаны, как это произошло соответственно с Гитлером и Муссолини. Хорти, к концу жизни не просто адмирал без флота, но и без страны, комфортно проводил время на своей вилле в португальском Эшториле, приглашенный не кем-нибудь, а са-

83. Sigmund Neumann, *Permanent Revolution: The Total State in a World at War* (New York: Harper, 1942), 230.

84. Конечно, в движении нацистской Германии и фашистской Италии к своим целям не было параллелизма. Нацисты на самом деле должны были самоликвидироваться, в то время как в Италии традиционные институты сохраняли некоторую власть (и армия была по большей части лояльна к королю). И все же эти два режима резко отличались от режимов авторитарных. См.: MacGregor Knox, *Common Destiny: Dictatorship, Foreign Policy, and War in Fascist Italy and Nazi Germany* (New York: Cambridge University Press, 2000).

мим Антонио Салазаром, который, подобно Франко, умер своей смертью, пребывая в убеждении, что прожил достойную подражания жизнь на службе стабильности и целостности своего государства⁸⁵.

...versus биократия?

Фашизм был нацелен на создание очищенных национальных и расовых субъектов — через борьбу и для борьбы не на жизнь, а на смерть. Война была не просто неизбежна, ее следовало ценить за то, что она порождала специфически фашистские качества. Политические элиты должны были заниматься формированием таких коллективных субъектов, хотя в конечном итоге качество этих субъектов определялось не только культурными, но и биологическими характеристиками, которые, казалось, выходили за рамки политической деятельности. В фашистском воззрении на мир одно было достоверно: обычные человеческие существа вообще не могли влиять на политику; их следовало мобилизовывать (и регламентировать) с помощью мифов. И они должны были действовать, подчиняясь вождю — воплощению коллективного субъекта. Все это характерные черты итальянского фашизма. Каждая из них была радикализована немецким национал-социализмом.

Различные аспекты итальянского фашизма могут быть поняты как попытки создания «политической религии» — всеобъемлющего множества смыслов, а также зрелищ и ритуалов, которые конкурировали, в частности, со зрелищами и ритуалами католической церкви. В отличие от традиционной религии, они обещали спасение через политику⁸⁶. Ри-

85. Интересным переходным случаем является Франко, который передал власть в руки монарха.

86. Emilio Gentile, *The Sacralization of Politics in Fascist Italy*, trans. Keith Botsford (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996). Обозначение «политическая религия» схватывает важные аспекты фашизма, подобно определению фашизма как «популистской, палингенетической формы ультранационализма»; первое обязано собой итальянскому исследователю Эмилио Джентиле, а второе — Роджеру Гриффину, который разделял главные моменты подхода Джентиле, включая парадигму политической религии. Однако, как должно быть ясно из моего основ-

торика нацизма и его литургическое самопрославление носили еще более псевдорелигиозный характер. Гитлер часто говорил о себе как об орудии «Провидения», а некоторые его речи о «вере в мой Volk» завершались словом «Аминь». Религиозные и в особенности эсхатологические подтексты, как правило, характерные для континентальных империй, были в речах Гитлера слышны отчетливее, чем когда-либо до или после него. Нацисты позаимствовали понятие Третьего рейха как *Endreich*, последней империи, у пророка правых Артура Мёллера ван ден Брука. Они настаивали также, что Германия всегда была и в идеале всегда будет *Reich*, рейхом, с одной и той же расовой субстанцией⁸⁷.

Официальный нацистский идеолог Альфред Розенберг активно пропагандировал нечто вроде неоязычества, прямо противостоявшего признанным церквям⁸⁸. Розенберг, который был родом из Эстонии и бежал из нее после русской революции, способствовал радикализации антисемитизма Гитлера, познакомив молодого политика с «Протоколами сионских мудрецов». Он разрабатывал также концеп-

ного текста, оба неточны в некоторых отношениях, а также не учитывают фашистской веры в ценность борьбы как таковой. «Ультранационализм» — понятие слишком безобидное с точки зрения фашистских представлений о совокупных телах, неизменно имевших расистский оттенок; в то время как определение «палингенетический» применимо ко многим (а возможно, и ко всем) другим политическим движениям. Еще одной проблемой является то, что работы о политической религии часто — хотя и не обязательно — сопровождаются сомнительными социальными и нормативными допущениями, которые касаются аномии и тоске по смыслу в секуляризованных обществах. Хочу подчеркнуть, что мое несколько скептическое отношение к парадигме политической религии основывается не на том, что мужчины и женщины, жившие при фашизме, во многих случаях могли и не испытывать того, что Джентиле называет «антропологической революцией» и что пропагандировалось фашистскими идеологами. Как и в случае понятия тоталитаризма, важно различать амбиции движений и реальность жизни в реализованных на практике режимах. И поскольку концептуальная работа касается первых, тот факт, что *es eigentlich ganz anders gewesen* (она на самом деле была совершенно другой) в качестве живого опыта, не может служить решающим возражением. О подходе Гриффина см.: Roger Griffin, *The Nature of Fascism* (London: Pinter, 1991).

87. Alfred Baeumler, *Bildung und Gemeinschaft* (Berlin: Junker & Dünhaupt, 1942).

88. При этом многие нацистские мыслители отстаивали особое нацистское христианство. См.: Richard Steigmann-Gall, *The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity, 1919–1945* (New York: Cambridge University Press, 2003).

цию своеобразного «духовного расизма». Его совершенно нечитательный (и, насколько мы знаем, мало кем прочитанный) главный труд «Миф XX века» облакал в язык расизма то, что можно было бы назвать требованиями культурного и психологического порядка⁸⁹. Так, мысль должна всегда оцениваться по тому, кто ее впервые высказал, а те, кто ее впервые высказал, должны оцениваться по их телу, иначе говоря, по «расовой принадлежности». Отмар фон Вершуер, ведущий евгенист и эксперт по «расовой гигиене», утверждал в том же духе, что нацисты понимают *Volk* как «духовное и биологическое единство... большая часть немецкого народа составляет великое сообщество предков, иначе говоря, сплоченное единство кровных родственников»⁹⁰.

Глава СС Генрих Гиммлер тоже придерживался этой идейной смеси из «биократии» (правления с помощью биологии), запутанного «спиритуализма» и почитания предков. Свой «орден» он считал передовым отрядом борьбы за дехристианизацию, замену господствующей религии на *Germanenglaube*, германскую протOVERу, содержание и корни которой должна была разыскать и детально описать усердная научно-исследовательская деятельность СС. Поклонение предкам должно было идти рука об руку с этическим кодексом и его главным императивом — хранить немецкую кровь в чистоте — и усиливать этот кодекс⁹¹. Сам Гитлер не одобрял такого рода оккультизм; в частном порядке он отвергал *Germanenkult* Гиммлера и Розенберга, считая его эксцентричным. Но он горячо верил в расистские псевдонауки, лежавшие в основе политики СС, и наставлял Гиммлера и других, говоря, что нацистская «философия не защищает мистические культы, но, скорее, нацелена

89. Гитлер признавал, что читал из него лишь небольшие отрывки. Ernst Piper, Alfred Rosenberg: *Hitlers Chefideologe* (Munich: Karl Blessing, 2005), 186.

90. Цит. по: Roberto Esposito, *Bios: Biopolitics and Philosophy*, trans. Timothy Campbell (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008), 142.

91. При крещении, теперь переименованном в *Namensweihen*, должны были произноситься следующие слова: «Wir glauben an das Volk, des Blutes Träger/Und an den Führer, den uns Gott bestimmt» («Мы верим в народ, носителя крови, /и в фюрера, данного нам Богом»). См.: Peter Long-erich, *Heinrich Himmler* (Berlin: Siedler, 2008), 299.

на то, чтобы культивировать и вести за собой нацию, определенную ее кровью»⁹².

Одной из отличительных черт национал-социализма было, несомненно, то, что он выдвигал всеобъемлющую теорию исторического, а самое главное — биологического детерминизма. Несомненно, расизм с самого начала занимал видное место и в итальянском фашизме, который был направлен прежде всего против славян и африканцев, а также против евреев⁹³. Муссолини предлагал идею *bonifica*, мелиорации, т. е. возвращения земли и моря, подобную идее права Италии на *mare nostrum*, а также мелиорации культуры (печальной памяти очищение итальянских слов от иностранного влияния) и в конечном счете мелиорации самих человеческих существ (кульминацией стал проект «нового итальянца») ⁹⁴. Италия стремилась к национальному и (в конечном итоге) имперскому обновлению, и Муссолини иногда говорил о сугаге, исцелении, как первой задаче государства⁹⁵. Однако требование возвращения не просто дополнялось, но должно было завершаться устранением «неправильных» людей: дуче изображал из себя «расового практикующего врача», занимающегося лечением «больных», и заявлял, что «мы изолируем их, как это сделал бы доктор с зараженными людьми»⁹⁶. Таким образом, произнося казалось бы вполне безобидные терапевтические фразы, дуче оставлял открытой возможность более решительных мер по *difesa della razza* (защите расы). Именно это произошло в конце 1930-х гг. и совсем не воспринималось как радикальная смена самопрезентации и самооправдания. В фашистской риторике слова *nazione* и *razza* всегда незаметно переходили одно в другое⁹⁷.

В отличие от фашизма, национал-социализм был с самого начала нацелен на тотальную переделку *Volkskörper*, на вос-

92. Цит. по: Michael Burleigh, *The Third Reich: A New History* (London: Pan, 2001), 13.

93. Wolfgang Schieder, *Faschistische Diktaturen: Studien zu Italien und Deutschland* (Göttingen: Wallstein, 2008), 17.

94. Ben-Ghiat, *Fascist Modernities*, 17-19.

95. *Ibid.*, 5.

96. *Ibid.*, 19.

97. Robert S.C. Gordon, Race // R.J.B. Bosworth (ed.), *The Oxford Handbook of Fascism* (New York: Oxford University Press, 2009), 296-316.

питание немцев таким образом, чтобы они сознавали себя как в первую очередь арийцев (а не как представителей конкретной культуры, религии или даже политического движения). В Третьем рейхе язык расы никогда не затухал, как это иногда происходило в Италии, и играл важную роль практически во всем, что можно по праву отнести к нацистской теории. Как доказывал Рудольф Рамм, главный нацистский специалист по медицинской «этике», «в отличие от любой другой политической философии или любой другой партийной программы, национал-социализм согласуется с натуральной историей и биологией человека»⁹⁸.

Итальянский фашизм и национал-социализм придерживались общей, известной еще со времен Сореля, концепции совокупного тела, закаляемого через борьбу и для борьбы⁹⁹. Сорель подчеркивал превосходство морализма над материализмом, и это повторялось многократно в риторике Муссолини. Гитлер и его пособники тоже взывали к «духу» и воле к власти, но обычно в более широком контексте биологических сил, выходящих за пределы человеческого воления¹⁰⁰. Сомневаться в законах биологии было просто невозможно, и ничто не могло спасти того, кто считался опасным или недееспособным. В этом тоже состоит одно из главных отличий фашистских режимов от Советского Союза, даже в самые черные дни сталинизма: там, по крайней мере в теории, классовые враги и даже «враги народа» могли искупить вину через «общественно полезный труд», а во время войны — вступив в Красную Армию.

Когда Сталин ссылался на «законы истории», он стремился встроить свой режим в историю прогресса, посту-

98. Цит. по: Esposito, *Bios*, 112.

99. Достаточно ли этого как специфической особенности фашизма и общего знаменателя итальянского и немецкого режимов? Да, потому что никакая другая крупная идеология не разделяла тезиса о ценности борьбы как таковой. Конечно, пролетариат был коллективным телом, точно так же участвующим в борьбе, однако эта борьба имела конечный пункт, и ничто на самом деле не утрачивалось, когда борьба оставалась позади.

100. «Духовный» расизм Розенберга — лучший пример этого так и не разрешенного противоречия между политической волей и биологическим детерминизмом. Конечно, можно возразить, что немцы, проиграв войну, показали себя нацией, не оправдавшей надежд Гитлера. Это объясняет, почему он желал, чтобы немецкий народ весь целиком погиб в 1945 г.

пательного движения от отсталой цивилизации, существующей на периферии Европы, к государству, в котором советские «новые люди» и счастливая социалистическая жизнь будут выглядеть привлекательными для всех и в конце концов осуществляться во всем мире. Для нацистов такой истории прогресса не существовало: имела место только вечная борьба и непрекращающиеся угрозы разложения. Советы заявляли о своих правах на будущее, когда появится «улучшенное издание человека» (Троцкий), делая это в духе оптимизма. Нацисты в оборонительном ключе заявляли о правах на пространство и на защиту его в борьбе против истории — превратностей времени — и против враждебного мира, которому по определению не мог быть мил нацистский антиуниверсализм¹⁰¹. Советские новые люди были людьми из стали, но не потому, что нуждались в защите от нескончаемых вражеских нападений, а потому, что боролись с окружающим материальным миром и выковывали материальный мир. Фашистские люди из стали всегда сражались с другими людьми и ожидали, что битва будет продолжаться вечно.

Подобно итальянскому фашизму, национал-социализм говорил о себе как о всеобъемлющей «этической революции», в центре которой находятся ценности сплочения и самопожертвования во имя *Volksgemeinschaft*, полной переделки общественного тела во имя «очищения» и «гигиены»¹⁰². Термин *Volksgemeinschaft*, обозначающий тесно сплоченную национальную общность, стал популярен в Германии во время Первой мировой войны, когда казалось, что все классовые и статусные различия должны быть преодолены перед лицом общего врага, а *Volksgemeinschaft* и идея борьбы стать неразрывным целым.

Национал-социалистические теоретики и правоведы стремились придать *Volksgemeinschaft* другой смысл, а именно однозначный смысл расовой общины. *Volksgemeinschaft* должна была предполагать включенность и равенство сре-

101. См. блестящую главу Питера Фрицше и Йохена Хеллбека: Peter Fritzsche and Jochen Hellbeck, *The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany* // Geyer and Fitzpatrick (eds), *Beyond*, 302–41; here 303, 314 and 339.

102. Claudia Koonz, *The Nazi Conscience* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003).

ди *Volksgenossen*, буквально — товарищей по расе¹⁰³. В соответствии с этой идеей публичная и личная жизнь должны были всесторонне измениться. В частности, следовало раз и навсегда покончить с конфликтами и разногласиями между *Volksgenossen*. Так, землевладелец и арендатор должны были объединиться в *Gemeinschaft*, и то же самое должны были сделать работодатели и работники. И все должны были приносить жертвы во имя единого и неделимого целого¹⁰⁴. Таким образом, национал-социализм предлагал собственную систему морали, какой бы предосудительной она нам ни представлялась. Это была мораль исключительно для *Volksgenossen*. Целостность ее обеспечивалась не просто исключением, в первую очередь евреев и «асоциальных» элементов, но также молчаливым или не вполне молчаливым соучастием в преступлениях против тех, кто не принадлежал к полностью очищенному политическому пространству¹⁰⁵. *Gemeinschaftsfremde*, те, кто был чужд общине, должны были подвергаться исключению и в конечном счете уничтожению. Нацистские правоведы, по сути дела, отвергали сами понятия «человеческое существо» и «личность», поскольку те, на их взгляд, затушевывали и представляли в ложном свете «различия между *Volksgenosse*, гражданином Рейха, иностранцем, евреем и т. д.». Как выразился один ссыльный политолог, правоведы вроде Шмитта «отменяли человеческое существо»¹⁰⁶. Нацистская мысль, таким образом, отличалась беспрецедентным антиуниверсализмом. И она представляла собой, что было не так очевидно, глубоко антилиберальную реакцию на эпоху демократии, причем в форме, которую невозможно было даже представить в прежние века.

103. Michael Wildt, *Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung: Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 1919 bis 1939* (Hamburg: Hamburger Edition, 2007).

104. Michael Stolleis, *Gemeinschaft und Volksgemeinschaft: Zur juristischen Terminologie im Nationalsozialismus* // *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, vol. 20 (1972), 16–38.

105. Reemtsma, *Vetruuen und Gewalt*, 392.

106. Mehring, *Schmitt*, 367.

Смерть государства

И все же нацизм не сводился к квазирелигиозным мифам и медицинским метафорам. Важно понять, что фашизм *частично* использовал язык демократии. Джентиле настаивал, что фашизм является «подлинной формой демократии», которая «находит выражение во времена, когда сознание и воля немногих или даже одного проявляется в сознании и воле всех»¹⁰⁷. Карл Шмитт, который стал одним из ведущих правоведов нацистского режима, вступив в 1933 г. в партию, доказывал, что демократия не обязательно связана с представительством. Подлинная демократия основывается на тождестве правителей и тех, кем они правят. Из этого принципа следует, что воля народа может быть сосредоточена в одном человеке. И тогда диктатура, подобная диктатуре Муссолини, является значительно более истинным проявлением демократии, чем либеральный парламентаризм¹⁰⁸.

Правда, большинство нацистских вождей неоднократно и открыто отвергали демократию. Нацизм был единственной крупной идеологией XX в., не делавшей никаких семантических уступок в отношении демократии. Гитлер сам всегда разоблачал либеральную демократию как средство ослабления нации и как де-факто форму плутократии, т. е. правления богатых; другие говорили, что в западных демократиях мелкие «кланы» всегда практически исключают «массы»¹⁰⁹. Когда один известный нацистский философ захотел воздать должное Розенбергу как главному идеологу движения в предисловии к собранию его сочинений, он счел, что уместнее всего назвать его ярым «врагом демократическо-еврейского интернационализма»¹¹⁰.

107. Цит. по: Gregor, *Mussolini's Intellectuals*, 119.

108. Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, trans. Jeffrey Seitzer (1927; Durham, NC: Duke University Press, 2008).

109. Reinhard Höhn, *Frankreichs Demokratie und ihr geistiger Zusammenbruch* (Darmstadt: L. C. Wittich, 1940).

110. Alfred Baeumler, *Alfred Rosenberg und der Mythos des 20. Jahrhunderts* (Munich: Hoheneichen, 1943), 19.

И все же по крайней мере некоторые теоретики национал-социализма считали важной задачей разработку концепции «германской демократии», подчеркивая значимость «доверия» между правителями и подданными в противовес механической электоральной подотчетности. Гитлер сам настаивал: «Я не диктатор и никогда не буду диктатором»; он пошел еще дальше, заявив, что «национал-социализм всерьез реализует демократию, которая выродилась в условиях парламентаризма», а также что «мы выбросили на помойку устаревшие институты именно потому, что они больше не служили поддержанию плодотворных отношений с нацией в ее совокупности...»¹¹¹.

Конечно, отчасти это были фразы тактического характера, рассчитанные на аудиторию за пределами Германии в первые годы режима. И все же фактом остается то, что Гитлер и его интеллектуальные пособники были вынуждены использовать риторику народного участия и вовлечения и прилагали немалые усилия, чтобы сама идея реального народного участия выглядела правдоподобной. Как отмечает Цветан Тодоров, нацизм (как и сталинизм) требовал гигантского спектакля псевдодемократии (и того, что Франц Нейман называл «псевдозгалитаризмом») — театрального представления с народными приветствиями и парадами, когда «народ» своим непосредственным присутствием как бы подтверждал веру в фюрера. Вождь (в отличие от императора или короля) был человеком из народа и человеком, остающимся с народом; и все же он был трансцендентен народу, и не только из-за харизмы, отличавшей его от советского вождя-бюрократа. Его воля не совпадала с волей самостоятельного населения; скорее, он стремился понимать и действовать в соответствии с непреложными расовыми законами и на основе правильной интерпретации этих законов формировать коллективное тело, способное к самоувечковечению, вечно господствуя над низшими расами или даже уничтожая их и устраняя любого противника.

Национал-социализм в гораздо большей степени, чем итальянский фашизм, основывал свои притязания на тотальном единстве вождя и *Volk*. В Италии некоторые фа-

111. Цит. по: Fest, *Hitler*, 595; Фест И. *Гитлер*. С. 52–53.

шистские лидеры рассматривали себя как доверенных лиц коллективной харизмы фашистского движения и считали, что харизма Муссолини производна от харизмы партии. Да, фашизм всегда нуждается в фигуре вождя, говорили они, но харизма первоначально исходит от партии как института. Как сформулировал один правовед, «если новое государство должно стать постоянным способом бытия... оно не может обойтись без Вождя по причине своей иерархической структуры, даже если этот Вождь не обладает экстраординарным величием человека, совершившего революцию». Другие теоретики прямо ссылались на Вебера, заявляя, что «фашизм стал первым полным воплощением „харизматической“ теории национальных обществ»¹¹². Национал-социализм, с другой стороны, не проявлял никаких поползновений к отделению безличной *фигуры* «фюрера» от личности Гитлера; и в нем не было ничего похожего на существовавшую внутри фашистской партии оппозицию культу личности *mussolinismo*, муссолинизма¹¹³.

Личная *Treue*, верность, составляла самую сердцевину нацистского понимания закона в противовес холодному, «формальному» правовому позитивизму или даже декретам авторитарного правителя. Этим объясняется то весьма необычное обстоятельство, что после смерти в 1934 г. последнего демократически избранного рейхспрезидента фельдмаршала фон Гинденбурга (в своем роде *Ersatzkaiser*'а) немецкая армия принесла присягу лично Гитлеру. Клятвы верности королям приносились институту монархии, а не конкретной личности короля; в период Веймарской республики солдаты клялись защищать конституцию.

Подчеркивание личностей вместо институтов напоминало правление Сталина в Советском Союзе: оно опиралось на логику банды, а не безличного государства. Однако, в отличие от Сталина, Гитлер не хотел, чтобы такая логика сопровождалась неформальными отношениями, и запретил *Bierabende* (вечеринки с пивом) со своим кабинетом¹¹⁴.

112. Gentile, Mussolini's Charisma, 230-1.

113. *Ibid.*, 227. Это верно, во всяком случае в отношении периода, последовавшего за ночью длинных ножей.

114. Fest, *Hitler*, 597; Фест И. *Гитлер*. С. 56.

Не нужна ему была и выдумка, будто он всего лишь главный бюрократ среди других бюрократов. В отличие от Сталина с его истинно бюрократической властью, Гитлер не любил бумажную работу, из-за чего некоторые историки называли его «ленивым диктатором». Но при этом, также в отличие от Сталина, Гитлер не боялся народа. Он действительно верил во власть своей харизмы и никогда не стал бы утверждать, что «Гитлер» — всего лишь символ «нацистской власти», как это делал Сталин (в этом отношении явно постмодерный), считавший, что его образ на самом деле имеет мало общего с реальным «товарищем Картошкой».

Следуя этой логике личной преданности, нацистское правоведение ориентировалось на понятие «конкретного порядка» — множества институтов, а также индивидуальных и, в еще большей степени, коллективных предпочтений, укорененных (опять же) в расе. В идеале правление должно было базироваться не столько на правовом принуждении со стороны государства, сколько на германской вере, доверии и чести, которые как таковые не были «биологическими ценностями», но были биологически обусловлены. Таким образом, государство не играло большой роли в этой схеме, как и германская традиция *Rechtsstaat*, верховенства закона. Шмитт доказывал, что на смену либеральному верховенству закона пришло «непосредственно справедливое государство». Более молодое поколение нацистских интеллектуалов, и в первую очередь Рейнхард Хён, перешеголяло всех и пыталось полностью исключить это понятие из правовой мысли (оно якобы грозило отравить тех, кто его использует, остатками либерального правоведения). Хён и его последователи настаивали, например, на том, что следует заменить термин *Staatsfeinde*, враги государства, термином *Volksfeinde*, враги народа¹¹⁵. Их оппоненты из числа коллег-правоведов, с другой стороны, заявляли, что *Volk* еще только должно было стать «политическим» в правовых и административных структурах, государственных или имперских. Их беспокоило также, что индивиды, даже правильной расовой принадлежности, потеряли бы всякую правовую защиту перед лицом *Volk* в целом¹¹⁶.

115. Wildt, *Generation*, 13.

116. Stolleis, *Gemeinschaft*.

Таким образом, нацистские политические теоретики не имели никакого отношения к гегельянским построениям Джентиле. Более того, 30 января 1933 г. Карл Шмитт прямо заявил: «Сегодня гегелевское государство умерло». Правда, на очень абстрактном уровне цели Джентиле и нацистов совпадали, это была интеграция «масс» в государство. Но дело было не столько в том, что государство было педагогом и существовало над *Volk* и вне *Volk*; скорее, политический строй состоял из несвятой троицы государства, движения (т.е. партии) и народа, как Шмитт озаглавил одну из своих первых главных публикаций, вышедших при гитлеровском режиме¹¹⁷. Движение, согласно Шмитту, должно было стать «динамическим» элементом между (статическим) государством и гомогенным, но аполитичным *Volk*. Гитлер на съезде в Нюрнберге в 1934 г. сказал: «Партия руководит государством»¹¹⁸. Шмитт настаивал также на том, что после захвата нацистами власти Германия обрела подлинное политическое руководство, которое (здесь Шмитт повторял давние тревоги Вебера) она утратила при чисто бюрократическом государстве Веймарской республики. Если спросить, что скрепляло всю эту конструкцию воедино, то ответ мог быть только один — раса. «Гомогенность» (Шмитт ясно об этом говорил) означала расовую гомогенность, а *Volk* почти буквально мог быть воплощен в фигуре фюрера, который должен был состоять из той же самой расовой «субстанции». Таким образом, эта модель соответствовала «демократическому» принципу «тождества» Шмитта¹¹⁹.

Конечно, нацисты не отменили полностью государство. Никто не сделал этого в XX в., и меньше всего те, кто открыто провозглашал это своей целью. Уже в конце 1930-х и начале 1940-х гг. такие критики, как Эрнст Френкель и Франц Нейман, понимали, что нацистское государство распалось

117. Carl Schmitt, *Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigliederung der politischen Einheit* (Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1935).

118. Цит. по: Gorlizki and Mommsen, *The Political (Dis) Orders*, 54.

119. Это было радикализацией средневековой теории двух тел короля; см.: Ernst H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997); Канторович Э. *Два тела короля: исследование по средневековой политической теологии*. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.

на части и управлялось с помощью становившегося все более деформализованным закона. Френкель фиксировал появление «двойного государства»: «нормального», опирающегося на традиционное «нормативное право», и в высшей степени авторитарного, правящего с помощью мер. Он называл их «нормативным государством» и «прерогативным государством»¹²⁰. В простой формулировке: человек мог жениться или быть осужденным за кражу согласно нормальному закону, который оставался совершенно предсказуемым; однако базовые вопросы относительно того, кто достоин, а кто не достоин жизни, подлежали решению в авторитарном порядке и отдавались на откуп все более хаотическим бюрократиям, которые действовали, ничего не понимая, или пытались превзойти друг друга в «угадывании» воли фюрера или действиях согласно его воле¹²¹. Хаос и неразбериха были в какой-то степени связаны с основами нацистской идеологии: «биология» как таковая не могла законодательствовать; *Volk* сам по себе не был политическим агентом (не говоря уже о том, чтобы институционализироваться). Но согласиться с этим значило бы признать, что биология всегда определялась политикой, а не наоборот, и распрощаться с исторической достоверностью, обещанной глубоким проникновением в законы биологического детерминизма.

Показательно, что нацисты, как и итальянские фашисты, не создали новой конституции и в этом смысле так и не придали окончательной формы своей политике, хотя Гитлер обещал, что в конце концов нацистская конституция будет обнародована. В изобилии принимались нацистские законы и декреты, но не было рамочной основы нацистского правления и никакого официального нацистского правоведения, которое могло бы придать всему этому смысл. Нейман обращал внимание на тот факт, что нацистский *Reich* суще-

120. Ernst Fraenkel, *The Dual State: A Contribution to the Theory of Dictatorship*, trans. E. A. Shils, in collaboration with Edith Lowenstein and Klaus Knorr (New York: Oxford University Press, 1941).

121. Произнесенная госслужащим Вернером Вилликенсом фраза заняла центральное место в интерпретации Кершоу, которая касается роли Гитлера в процессе саморадикализации режима. См.: Ian Kershaw, *Hitler*, 2 vols (New York: W. W. Norton, 2000 and 2001).

ствовал в состоянии постоянного чрезвычайного положения и что, если уж на то пошло, превратился в хаотическое «не-государство», а его конституционная жизнь отличалась «полной бесформенностью». Нацистский режим больше напоминал количественное тотальное государство (государство, поглощенное группами с общими интересами), которое Шмитт осуждал в начале 1930-х гг. и которому противопоставлял качественный тотальный государственный порядок, стоящий над любыми разногласиями в обществе (рисую образ, очень напоминавший концепцию Джентиле). Правление осуществлялось через заключение неформальных компромиссов между различными группами, которые напоминали феодальные кланы и состояли из отдельных нацистских вождей и лично преданной свиты¹²². Согласно Нейману, наблюдалась все меньшая «потребность в государстве, стоящем над всеми группами; государство могло даже служить помехой для компромиссов и господства над классами»¹²³.

Однако на самом деле над всеми группами стояла личность Гитлера, который натравливал бюрократов и политические группы друг на друга, сознательно проводя политику своего рода «институционального дарвинизма». В этом была своя логика: Гитлер мог оставаться не связанным никакими ограничениями ни в мыслях, ни в действиях; он мог отказаться следовать конституции или даже какой-то ясной политической теории, не оправдывая ожиданий мыслителей, которые воображали себя «руководителями руководителя». Желание не быть ничем связанным доходило до того, что на цитаты из «Моей борьбы» было, в сущности, наложено табу¹²⁴. По словам Ханны Арендт, нацисты стремились доказать, что сделать можно всё что угодно, что имеет место «неограниченность возможного»¹²⁵.

На первый взгляд, этот акцент на ничем не ограниченном лидерстве напоминает «я»-концепцию ленинской партии, за тем исключением, что последняя даже в самой ха-

122. Gorlizki and Mommsen, *Political (Dis)Orders*, 56.

123. Franz Neumann, *Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism* (London: Left Book Club Edition, 1942), 383.

124. Mehring, *Schmitt*, 340.

125. Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt, 1976), 459; Арендт Х. *Истоки тоталитаризма*. М.: ЦентрКом, 1996. С. 595.

ризматической своей фазе была институтом, соблюдавшим правила и способным к самообновлению. Гитлер был, очевидно, всего лишь «единственным лицом»; он поставил все на постоянную мобилизацию *Volksgemeinschaft*, превратив ее в расовую *Kampfsgemeinschaft*, общность борьбы как средства и одновременно как цели¹²⁶. Но он не строил институтов. Даже в качестве главы государства и затем империи он пытался править в первую очередь с помощью публичных выступлений и агитации¹²⁷.

Война продолжалась и продолжалась, и немецкое государство, которое он унаследовал и уже отчасти превратил в «не-государство», начало распадаться на части. Нацистская партия, которая, согласно Шмитту, должна была служить «динамическим» элементом по отношению к государству, а если бы вошел в силу знаменитый Закон об обеспечении единства партии и государства, то присвоила бы себе и полномочия государства, захватывала все больше власти¹²⁸. Но у нее никогда не было того самостоятельного статуса, который даже при Сталине сохраняла за собой партия большевиков; в любом случае она так и не выработала ленинского этоса дисциплины и следования уставу. Партия просто не могла заменить государство, потому что так и не подготовила собственную бюрократию (что еще раз подтвердило правоту взгляда Вебера на революции). Под конец нацистское правление представляло собой сплошную мобилизацию при практически полном отсутствии институтов. Это был конкретный хаос.

Великие пространства — без народов

Аналогичное расхождение между теорией и практикой проявилось в международных делах. В основе нацистского взгляда на европейское и в конечном счете глобальное устройство лежало «мышление о конкретном порядке», ко-

126. Christopher R. Browning and Lewis H. Siegelbaum, *Frameworks of Social Engineering: Stalinist Schema of Identification and the Nazi Volksgemeinschaft*// Geyer and Fitzpatrick (eds), *Beyond*, 231–65; here 262.

127. Gorlizki and Mommsen, «Political (Dis)Orders», 64.

128. *Ibid.*, 82.

торое усердные гитлеровские интеллектуальные палачи сформировали в конце 1930-х гг. и во время Второй мировой войны. Они представляли себе мир поделенным на «великие пространства» (*Großräume*), или «сферы», каждая из которых содержала империю, или *Reich*, в центре и окружающие его кольцом, по сути дела сателлитные нации. В первых рядах при разработке этого специфически нацистского подхода к международному праву и международным отношениям вновь оказался Карл Шмитт. В 1939 г. он призвал фюрера объявить «европейскую доктрину Монро» и сделать Третий рейх центром нового *Großraum*, в которое неевропейским державам (в частности, Соединенным Штатам) не было позволено вторгаться. Это отвечало осознанному желанию Гитлера создать империю и навсегда исключить возможность превращения Германии во «вторую Голландию», «вторую Швейцарию» или даже в «рабский народ». Шмитт настаивал на том, что в направлении великих пространств подталкивают и экономические события. Но важнейшим моментом было то, что империи, которые он предлагал создать, должны были обладать подлинно народной легитимностью. Таким образом, даже в международных делах нацистская мысль удивительным образом колебалась между квазидемократическими призывами и полной биологизацией политики, т.е. подчинением политики историческим и расовым законам, выходящим за рамки человеческой воли. Гитлер называл себя «освободителем человечества», но в то же время настаивал, что отдельные человеческие существа не имеют никакого значения¹²⁹.

Идея *Großgermanisches Reich* (великогерманского рейха) иногда казалась возрождением все того же старого понятия континентальной, даже многонациональной империи, хотя Гитлер всегда с отвращением относился к Габсбургской империи с присущим ей многообразием национальностей. Для него она была ужасающим «вавилонским» смешением. Поэтому *Reich* мог на самом деле означать очень большое национальное государство или национальную общность, каким-то образом обходящуюся без государства (некоторые

129. Dan Diner, *Weltordnungen: Über Geschichte und Wirkung von Recht und Macht* (Frankfurt/Main: Fischer, 1993).

национал-социалисты не доверяли даже идее нации, поскольку, как и понятие государства, она имела слишком сильный привкус либерального прошлого¹³⁰).

И вновь налицо отличие от итальянского фашизма: итальянцы тоже требовали *Lebensraum* — они называли его *spazio vitale* — и официально разделяли шмиттовскую концепцию раздела мира на *grande spazio* для каждой империи. Но они продолжали исповедовать по существу своему националистические принципы правления. В единственной стране, которая была ими завоевана без помощи Германии, а именно в Албании, они воспроизвели все ту же двойственную структуру, которая отличала саму Италию: Виктор Эммануил III стал королем Албании, а Муссолини — главой вновь созданной албанской фашистской партии. Но при этом итальянцы заявляли, что албанцы должны и будут вести свои дела самостоятельно. Как заявлял министр иностранных дел граф Чиано в мае 1942 г., «невозможно экспортировать фашизм в какую-то страну и одновременно отрицать за ней статус нации. В этом суть [фашистской] доктрины... Наши действия в Албании являются конкретным доказательством перед всем миром, что в новом порядке, предложенном Римом, нации будут не поработать, а, но высоко цениться»¹³¹.

При всем лицемерии этих заявлений, немцы все равно никогда не стали бы их делать. В той степени, в какой вообще имели место логически связанные концепции *Reich*'а, на нацистскую империю должен был распространяться принцип расы, т. е. она должна была иметь границы, определяемые «кровью расы» (*Volksblut*), и отделяться от сла-

130. Гитлер определял государство просто: «Государство не имеет ничего общего с какой-то определенной экономической концепцией развития. Это не совокупность договаривающихся сторон в определенном, ограниченном жизненном пространстве для выполнения экономических задач, но организация сообщества физически и психологически подобных друг другу живых существ для облегчения поддержания своего вида и достижения цели, предназначенной этому виду Провидением. Это и ничто другое является целью и смыслом государства». Adolf Hitler, *Mein Kampf*, trans. Ralph Mannheim (London: Pimlico, 2001), 137.

131. Цит. по: Davide Rodogno, *Fascism's European Empire: Italian Occupation during the Second World War*, trans. Adrian Belton (New York: Cambridge University Press, 2006), 59.

вянской Азии «стеной из крови» (*Blutswall*)¹³². Как утверждал Гитлер на первой же странице «Моей борьбы», «одна кровь — одно государство!» Во время войны, когда борьба с большевизмом все чаще подавалась как война за спасение Европы, он настаивал на том, что «Европа» — это «понятие, обусловленное кровью»¹³³. Отсюда проистекала необходимость в постоянном расширении «расовой бюрократии», перед которой была поставлена задача классификации и сертификации людей, выпуска «расовых карточек» и собирания всей до единой капли немецкой крови в единую политическую общность. Ханна Арендт заметила эту особенность и называла нацистов «антинациональным интернациональным движением»¹³⁴. Русско-французский философ Александр Кожев в меморандуме Шарлю де Голлю, написанном после войны, тоже указывал на сомнительные, если не абсолютно противоречивые нацистские попытки управлять империей, как огромным расово обусловленным *Volksgemeinschaft*. Он замечал: «Немецкое национальное государство заставило служить себе 80 миллионов соотечественников, военные и гражданские (пусть не моральные) качества которых оказались выше всяческих похвал. Тем не менее сверхчеловеческие политические и военные усилия нации лишь отсрочили результат, который можно назвать поистине „фатальным“. И причиной этой „фатальной судьбы“ является, несомненно, сознательно национальный характер немецкого государства. Ибо для того, чтобы вести современную войну, Третий рейх должен был оккупировать и эксплуатировать страны за пределами Германии и импортировать более 10 миллионов иностранных рабочих. Но национальное государство не может ассимилировать не-соотечественников, и оно должно обращаться с ними в политическом смысле как с рабами. Так что „националистической“ идеологии Гитлера одной было бы достаточно для того, чтобы похоронить имперский проект

132. Richard Overy, *The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia* (London: Penguin, 2004), 574–7.

133. Цит. по: Piper, *Rosenberg*, 598.

134. Hannah Arendt, *The Seeds of a Fascist International*// *Arendt, Essays*, 140–50; here 144. Это эссе было впервые опубликовано в 1945 г.

„Новой Европы“, без которого Германия, впрочем, не могла победить. Поэтому можно сказать, что Германия потерпела поражение в этой войне, поскольку хотела выиграть ее в качестве нации-государства. Ибо даже нация из 80 миллионов политически „совершенных“ граждан не способна на усилия, необходимые для ведения современной войны, и потому не может гарантировать политическое существование своего государства»¹³⁵.

Этот парадокс вскоре стал очевиден, поскольку *Volk ohne Raum* завоевал империю: ему пришлось иметь дело с обширным *Raum* без *Volk*¹³⁶.

Антисемитизм имел ключевое значение для этих в полной мере расистских представлений о мире: он был исходной навязчивой политической идеей Гитлера (уже в 1919 г. он требовал «полного удаления евреев» во имя антисемитизма, основанного на «разуме»)¹³⁷. Для этого крайнего политика убеждения (в веберовском смысле) антисемитизм был руководством к действию и в итоге привел его к самоуничтожению. С самого начала Гитлер заявлял, что следующая война должна стать *Weltanschauungskrieg*, войной мировоззрений, и одновременно «*Volk* и расовой войной»: полное искоренение немецких евреев должно стать предпосылкой победы Германии в этой войне, в то время как ее следствием станет уничтожение всего в целом европейского еврейства, в глазах Гитлера — «антинации» как таковой.

Было ли в нацистской мысли что-либо, прямо связывавшее завоевание *Lebensraum* с иудеоцидом? Казалось, что благополучный исход притязаний на пространство зависит от применения самых жестоких методов, и, поскольку Гитлер отождествлял принцип святости жизни с иудаизмом, уничтожение евреев и ослабление традиционных универсалистских этических кодексов было условием формирования чистого коллективного тела, способного к успешному политическому действию, даже к мировому господству и, в ко-

135. Alexander Kojève, *Outline of a Doctrine of French Policy* // *Policy Review*, no. 123 (2004), 3–40 (translation modified); Кожев А. Набросок доктрины французской политики (27 августа 1945 г.) // *Прогнозис*. 2005. № 1. С. 16–54.

136. Browning and Siegelbaum, *Frameworks*, 261.

137. Цит. по: Kershaw, *Hitler*, vol. 1, 125.

нечном счете, к овладению историей¹³⁸. Поэтому Гитлер провозглашал также, что «никогда прежде не было войны столь типично и одновременно столь исключительно еврейской»¹³⁹.

Таким образом, понятие расы определяло как внешнюю политику, так и внутреннюю жизнь нацистского государства. *Führerprinzip* и *Rassenprinzip* гармонично сочетались в «теории пресуществления», как называл ее Франц Нейман: вождь был мистически связан со своим народом, но конечная причина этого заключалась в том, что они принадлежали к одной и той же «расе», объединенные против вражеской расы и ее универсалистских этических убеждений, способных лишь ослабить аутентичную волю *Volk*. В последние недели жизни, размышляя о своей «карьере» и судьбоносных решениях, Гитлер настаивал на том, что своим поражением он обязан евреям и этому «алкоголику *verjudete* полуамериканцу» Уинстону Черчиллю, которым, по мнению Гитлера, управляли еврейские советники. Более того, его «политическое завещание» заканчивалось словами: «Я обязываю руководство нации и подчиненных прежде всего к неукоснительному соблюдению расовых законов и к беспощадному сопротивлению отравителю всех народов — международному еврейству». Фюрер горько сетовал, что немцы оказались «морально не готовы» к войне и что потребовалось бы двадцать лет, чтобы вырастить настоящую нацистскую элиту, которая усвоила бы «национал-социалистический способ мышления» с молоком матери¹⁴⁰. Он также сказал, обращаясь к немногим оставшимся с ним в его последний день, что как идея национал-социализм умер навсегда.

И он был прав. Фашизм и национал-социализм были не просто разгромлены на полях сражений. Беспрецедентная жестокость и зверство, особенно со стороны нацистов, были выставлены на всеобщее обозрение, и склонить в будущем многочисленные «сердца» и «умы» к фашизму было

138. Gunnar Heinsohn, *Warum Auschwitz?* (Hamburg: Rowohlt, 1995) and Roberts, *Totalitarian Experiment*.

139. Цит. по: Overy, *Dictators*, 589.

140. Цит. по: Fest, *Hitler*, 1046; Фест И. *Гитлер*. С. 586.

уже невозможно ни при каких обстоятельствах. Больше того, они потерпели поражение как *идеи*: для фашистов истина доказывалась действием, а действия фашистов потерпели неудачу. Войну проиграли мировоззрения, основанные на ценности войны и на мужестве, необходимом для вечной борьбы. И вожди это признали. Фашизм просто не мог себе позволить поражения, никогда и ни за что. В этом смысле фашизм в конце концов оказался тем, что Томас Манн назвал *Zeitkrankheit* — болезнью времени, возможной только в эпоху массовой демократии, массовых общественных потрясений и массовой войны. Однако, потерпев поражение, он стал невозможен за пределами того времени, которому принадлежал¹⁴¹. Таким образом, послевоенное восстановление и идеи, которые его вдохновляли, должны были в самом широком смысле стать антифашистскими и антитоталитарными. Но само по себе это, конечно, не означало, что восстановление будет носить исключительно демократический характер.

141. Thomas Mann, *Schicksal und Aufgabe* // *Gesammelte Werke*, vol. 12 (Frankfurt/Main: Fischer, 1960), 918–39; Манн Т. Судьба и задача // Манн Т. *Художник и общество. Статьи и письма*. М.: Радуга, 1986. С. 134–148. Можно поставить под вопрос оправданность использования медицинских метафор для лучшего понимания фашизма (еще один известный пример — Кроче, который называл фашизм «моральной болезнью»), и не только потому, что такие метафоры превращают политические феномены в феномены природные, но и потому, что они могут оказаться захваченными в плен тем самым языком, которому стремятся противостоять.

ГЛАВА 4

Политическая мысль периода восстановления: демократии самодисциплины, «народные демократии»

Государство — важный инструмент; отсюда борьба за контроль над ним. Но это всего лишь инструмент, и ничего более. Дураки будут использовать его, когда смогут, ради дурацких целей, преступники — ради преступных целей. Разумные и достойные люди будут использовать его ради целей достойных и разумных.

Р. Г. Тони «Мы имеем в виду свободу», 1946 г.

Для капиталистического правительства иметь принципы смертельно опасно. Оно должно быть конъюнктурным в лучшем смысле этого слова, проявляя уживчивость и здравомыслие.

Джон Мейнард Кейнс

Витальность, взращенная на бесстрастных идейных битвах, явно не может существовать в атмосфере нивелирования и компромисса, характерных для успешной демократии. Нельзя иметь то и другое одновременно... Проблема в том, можно ли зажечь всеобщий и живой интерес, вести дискуссии о принципах и поддерживать личные усилия гражданина, не поступаясь безопасностью и сохраняя достаточную общность ценностей.

Герберт Тингстен «Стабильность и витальность в шведской демократии», 1954 г.

Наши жертвы знают нас по своим шрамам и цепям, их свидетельства неопровержимы. Достаточно будет, если они покажут нам, что мы с ними сделали, чтобы мы осознали, что мы сделали с самими собой. Но будет ли от этого какой-нибудь толк? Да, ибо Европа находится на пороге смерти.

Жан-Поль Сартр

Главный урок в том, что ни один народ не следует списывать на том основании, что он якобы лишен стремления к свободе. А таковыми были признаны очень многие народы, от немцев до малазийцев.

Иштван Бибо

ПОСЛЕВОЕННОЕ восстановление в Европе ставило очень трудные, по сути беспрецедентные задачи, прежде всего материальные. Но вызовы носили также мо-

ральный и символический характер. Если холокост оставался на периферии осмысления войны по меньшей мере до 1960-х гг., то значение массового насилия и злодеяний стало предметом немедленных обсуждений политологами повсюду на континенте. Не стоит забывать, что с конца 1930-х и до конца 1940-х гг. людей было «убито их же собратьями больше, чем когда-либо раньше в истории человечества»¹.

Массовая гибель людей воспринималась теперь иначе, чем смерть на фронтах Первой мировой войны. Не было героического мифа окопов, но не было и Сассунов и Ремарков Второй мировой². Как заметил немецкий историк Райнхарт Козеллек, солдат вермахта, который провел несколько лет в русском плену, смерть теперь «понималась не как ответ, но лишь как вопрос; не как нечто рождающее смысл, но как нечто вызывающее к смыслу»³.

Ханна Арендт предсказывала, что «как смерть стала фундаментальной проблемой после прошлой войны, так зло станет фундаментальным вопросом послевоенной интеллектуальной жизни в Европе»⁴. По ее убеждению, опыт тоталитаризма создал глубокий разрыв в европейской истории; прошлое перестало бросать свет на настоящее; и, следовательно, мир, в котором нацисты делали вещи, ранее считавшиеся невозможными, нуждался в фундаментальной переоценке своего политического мышления.

Однако ответы, которые, как полагали многие европейские интеллектуалы, они обязаны были предложить в качестве решения «проблемы зла», не содержали в себе серьезного отношения к тоталитаризму как к разрыву в европейском политическом опыте. Диагноз, который они ставили времени, носил совершенно условный характер: они считали, что катаклизмы XX в. порождены подъемом «масс». В ряде западноевропейских стран «Восстание масс» Ортеги остава-

1. Richard Bessel and Dirk Schumann, *Violence, Normality, and the Construction of Postwar Europe* // Richard Bessel and Dirk Schumann (eds), *Life after Death: Approaches to a Cultural and Social History of Europe during the 1940th and 1950th* (New York: Cambridge University Press, 2003), 1–14; here 1.

2. *Ibid.*

3. Цит. по: *ibid.*

4. Hannah Arendt, *Nightmare and Flight* // Arendt, *Essays*, 133–5; here 134.

лось философским бестселлером номер один с начала 1930-х и до конца 1950-х гг. Историю судьбоносного вторжения масс в политику начинали с Французской революции, а затем ее можно было продолжать все дальше и дальше, включив в нее Вторую мировую войну, которая, в конце концов, была развязана человеком, пришедшим из ниоткуда и казавшимся истинным представителем «масс». Немецкий историк Фридрих Мейнеке, рассуждая в 1946 г. о причинах «немецкой катастрофы» и объясняя (оправдывая) «гитлеризм» как форму «массового макиавеллизма», утверждал, что массы продолжают «наступать»⁵. По мысли Арендт, появление масс стало предпосылкой тоталитаризма. При этом массы характеризовались ею как «поверхностные» и «лишенные самости» в смысле отсутствия настоящего «я». Она настаивала также, что «главная черта человека массы — не жестокость и отсталость, а его изоляция и отсутствие нормальных взаимоотношений»⁶. Мало кто проявлял такую снисходительность к «массовому человеку».

Таким образом, в своей реакции на войну западноевропейская интеллектуальная жизнь прошла период бабьего лета, защищая высокую культуру как преграду на пути варварства. Мейнеке, например, считал, что по всей Германии следует организовывать «общества Гёте». Впрочем, после продолжившегося в период Второй мировой войны разрушения традиционных иерархий и систем почитания «массами» теперь, в отличие от межвоенного периода, можно было называть кого угодно, а не только рабочих и низшие классы⁷. Какая бы власть ни оставалась у аристократии после 1918 г., теперь ей пришел конец: навсегда исчезали последние остатки старых европейских режимов. Элементы квазиаристократической риторики, на которую они все еще вдохновляли даже в эпоху демократии, продержались чуть дольше.

Защита высокой культуры и связанный с ней пессимизм были не единственной реакцией на войну. На континенте

5. Friedrich Meinecke, *Die deutsche Katastrophe: Betrachtungen und Erinnerungen* (Weisbaden: Eberhard Brockhaus, 1946), 21.

6. Arendt, *Origins*, 317; *Appendix X*. Истоки тоталитаризма. С. 422.

7. Paul Nolte, *Die Ordnung der deutschen Gesellschaft* (Munich: C. H. Beck, 2000), 305.

широко распространилось стремление к настоящей *tabula rasa*, в которой усматривали не что иное, как моральную необходимость. При этом возможность более нравственной политики доказывалась опытом солидарности в различных европейских движениях Сопротивления. Газета французского Сопротивления *Combat* выходила под лозунгом «От сопротивления к революции».

Полный разрыв с прошлым обещал экзистенциализм, предлагавший также наиболее радикальное понимание свободы: человеческие существа способны создавать себя с нуля, речь может идти лишь о существовании, а не о предопределенной «человеческой сущности». Конечно, существует история, и европейцы только что пережили ее в самом чудовищном виде. Но даже с *таким* прошлым и при полном отсутствии уверенности в прогрессе оставалась индивидуальная возможность самотрансценденции, выбора самого себя в новых способах действия и в моральной реакции на любые вновь возникающие ситуации⁸.

Все это звучало абстрактно и отдавало подростковой проблематикой. Несмотря на это, а может быть, именно по этой причине экзистенциализм был необычайно популярен как культурный стиль. Но перейти в разряд партийной политики ему так и не удалось. Жан-Поль Сартр, ведущий философ-экзистенциалист, какое-то время входил в антипартийную партию *Rassemblement Démocratique Révolutionnaire*, состоявшую из слоев среднего класса и рабочих. *RDR* предлагала нейтральный «третий путь» (но не фашистский) между западным либеральным капитализмом и восточным коммунизмом, отрицая со своей экзистенциалистской точки зрения определяющее значение раскола мира на два лагеря. Подобно многим другим идеалистическим ассоциациям, выросшим из Сопротивления, она распалась в конце 1940-х гг. Но произошло это не из-за интеллектуальной слабости, а потому, что в условиях разгоравшейся холодной войны политический выбор между двумя альтернативами оказался неизбежным.

Ситуация, сложившаяся в первые годы после войны, казалась не менее революционной, чем в 1918–1919 гг. капита-

8. Beauvoir, *Force*, 162 and 47; Бовуар С. де. Сила обстоятельств. С. 159 и 44.

лизм был дискредитирован Великой депрессией. В глазах многих интеллектуалов он (как минимум) проложил дорогу фашизму. И даже многие не-марксисты считали оправданной точку зрения, что фашизм стал орудием в руках желающих сохранить свою власть капиталистов. Однако, в отличие от периода после Первой мировой войны, не было ни мощной волны забастовок, ни повсеместного появления фабрично-заводских Советов: казалось, что инструментов радикального преобразования еще меньше, чем тридцать лет назад⁹. Партии-авангарды, официально преданные революции (в частности, французские и итальянские коммунисты, завоевавшие высокую моральную репутацию своей руководящей ролью в Сопротивлении), в конце концов поддерживали новые либерально-демократические режимы. В Италии решение об их поддержке было подробно обосновано партийными теоретиками, в то время как французы (идеологически более близкие к Москве, чем любые другие западноевропейские коммунисты) повели себя де-факто как «партия порядка» (что, как мы увидим в следующей главе, стало совершенно очевидно в 1968 г.).

Очевидным стало (или было сделано) для всех, кто этого ранее не замечал, еще одно отличие от межвоенного периода: Европа как целое перестала быть хозяйкой своей судьбы. В течение какого-то времени политическое воображение все еще основывалось на идеалах общеконтинентального и национального самоопределения, однако вскоре натолкнулось на границы, очерченные стратегическими планами сверхдержав. При этом очевидным фактом было то, что с точки зрения традиционных этнических националистов предпосылки для национального самоопределения теперь казались гораздо более благоприятными, поскольку европейские государства почти повсюду стали более однородными: в отличие от ситуации после Первой мировой войны, почти ни одна граница не была сдвинута, но при этом миллионы людей были изгнаны или вынуждены были переселиться под давлением властей¹⁰. По иронии судьбы (как мы виде-

9. Charles S. Maier, *The Two Postwar Eras and the Conditions for Stability in Twentieth-Century Western Europe* // *American Historical Review*, vol. 86 (1981), 327–52.

10. Tony Judt, *Postwar: A History of Europe since 1945* (New York: Penguin, 2005).

ли в предыдущей главе) сами нацисты были настроены глубоко антинационалистически, однако при них континент в конце концов обрел более четкие и демаркированные границы, разделявшие национальные группы. Разумеется, само по себе это не приводило к стабильности. Стабильность (как и страх перед ядерным уничтожением, породивший, по словам Одена, очередную «Эпоху Беспокойства») обеспечивало нечто иное, а именно холодная война.

Стабильность стала главной целью и, по сути дела, путеводной звездой послевоенного западноевропейского политического переустройства. Партийные лидеры не меньше, чем правоведы и философы, стремились создать режим, способный предотвратить возвращение к тоталитарному прошлому. Прошлое, с их точки зрения, отличалось безграничным политическим динамизмом, его характеризовали сорвавшиеся с привязи массы и попытки создать полностью неуправляемый политический субъект — очищенную немецкую *Volksgemeinschaft*. В ответ западноевропейцы построили в высшей степени *управляемую* форму демократии, отмеченную печатью глубокого недоверия к народному суверенитету и даже к традиционному парламентскому суверенитету.

Это был новый тип демократии, новизна которого, впрочем, часто заслонялась тем фактом, что ее институты получали публичное оправдание в весьма традиционных моральных и политических языках. Путевку в жизнь получил не только обычный культурный пессимизм в отношении масс. В послевоенный период настоящее возрождение пережили имевшая религиозную подоплеку теория природного закона (*natural law*, естественного права) и, более широко, христианство. Интеллектуалы надеялись, что это даст непреложные этические основания для правильного политического поведения в противовес релятивизму, а то и прямому нигилизму, которые характеризовали фашизм и, как утверждали теперь многие интеллектуалы, либерализм. Использование традиционных языков нередко опиралось на ложную интерпретацию фашистского прошлого. Например, правовой позитивизм обвинялся в том, что, не имея реального морального содержания, он проложил дорогу Гитлеру, хотя на самом деле эту службу своим хозяевам в Берлине и Риме сослужили враги правового позитивизма, такие как Шмитт, или идеалисты, такие как Джентиле.

Несмотря на поиски в поствоенную эпоху разного рода «третьих путей», имеется соблазн изображать ее не как начало чего-то нового, но как возвращение к надежному и хорошо известному старому. Однако после 1945 г. не было «возвращено» никакого известного набора институтов, не возродился и «либерализм» в любом смысле, принадлежащем XIX в. (даже в виде идей, не говоря уже о социальной базе). Возникший вместо этого режим правильнее всего было бы назвать новым соотношением демократии и либеральных принципов, в частности конституционализма, — но демократии и либерализма, переосмысленных в свете пережитого Европой в середине XX в. опыта тоталитаризма¹¹. В то время как многие главные институты и ценности послевоенного периода можно считать функциональными эквивалентами либеральных идей, унаследованные политические языки либерализма были почти повсеместно отвергнуты как релятивистические или просто неприменимые в эпоху массовой демократии.

Иначе говоря, в послевоенной Европе победила новая, умеренная веберианская политика: не харизматическая, но твердо ориентированная на исполнительную власть и прагматичных лидеров; не нацеленная на порождение смысла, но все же основанная на чем-то большем, нежели экономический успех (а именно на моральных устоях, таких как *natural law*, природный закон); не воодушевленная всеобъемлющим либеральным проектом, но стремящаяся объединить граждан на основе общих ценностей, исходящих из отказа от фашистского прошлого и противодействия нававшей с Востока коммунистической угрозе.

Наоборот, за железным занавесом, в так называемых «народных демократиях», а затем в «народных республиках» (у нас еще будет возможность обсудить их различие), сохранялся дерадикализированный ленинизм: без массового террора и других императивов «военного коммунизма», но все еще всецело преданный идее, что партия-авангард (ведущая и направляющая роль которой была записана в различных конституциях) одна способна создать новый социалистиче-

11. См. об этом также: Marcel Gauchet, *L'Avènement de la démocratie* (Paris: Gallimard, 2007).

ский народ и привести его к коммунистическому государству-коммуне, где наконец исчезнет угнетение человека человеком. Демократизация, к которой при этом продолжали апеллировать, ни в коем случае не означала партийного плюрализма. Это, скорее, был призыв к активному участию в едином политическом проекте или, по крайней мере, к преодолению разрыва между народом и партией-государством.

В «народных демократиях» и «социалистических демократиях» не было ничего особенно нового, в их основе лежал сталинизм. Напротив, возникший в Западной Европе режим был не реставрацией какого-то прежде существовавшего либерального порядка, а ярко выраженным пост-постлиберальным порядком, множеством институтов и соответствующих оправданий (и менее явных моральных интуиций), отмеченных печатью глубокого антитоталитаризма¹². Эта констелляция и новый интеллектуальный синтез не подходят ни под один общепринятый «изм». Новый режим не был сформулирован каким-то одним теоретиком, хотя у него и были теоретики, сегодня практически полностью забытые.

Новые квазилиберальные институты и явно не-либеральные, а то и совершенно антилиберальные политические идиомы составляют, таким образом, великий парадокс в отношениях между политической мыслью и политическими институтами в конце 1940-х и 1950-х гг. Это отчетливо показал триумф такого политического движения, возникшего в западной части континента, как христианская демократия, — важнейшей идейной новации послевоенного периода и одной из самых значимых новаций всего в целом европейского XX в.¹³ Часто утверждают, что десятилетия после окончания Второй мировой войны стали периодом расцвета западноевропейской социал-демократии. Однако это вряд ли соответствует действительности. В некоторых странах социал-демократия действительно расцветала на протяжении всего этого периода, например в Швеции и в меньшей степени в Дании. Однако в ключевых стра-

12. Paolo Pombeni, The Ideology of Christian Democracy // *Journal of Political Ideologies*, vol. 5 (2000), 289–300; here 299.

13. Martin Conway, The Rise and Fall of Western Europe's Democratic Age, 1945–1973 // *Contemporary European History*, 13 (2004), 67–88; here 81.

нах континентальной Западной Европы — Германии, Италии, странах Бенилюкса и во Франции — центральную роль в создании послевоенного порядка, в частности государства благоденствия и современного административного государства, сыграла как раз христианская демократия¹⁴. Ее лидеры стремились к политическим новациям, а интеллектуалы облекали новации в одежды иногда весьма традиционных языков. С точки зрения *longue durée* европейской истории послевоенная христианская демократия примирила католицизм с современным миром. Ей удалось также достичь мира (или по крайней мере перемирия) между различными конфессиями — в такой стране, как Германия, возможно, впервые со времен Реформации). Один из ведущих исследователей этого движения отмечал «несомненную тусклость» христианско-демократических партий. Но в тусклости-то как раз и заключалась суть дела: христианская демократия обещала достойную форму публичной жизни, позволяя при этом гражданам игнорировать политику, если они того желают. Многие граждане ничего другого и не желали.

Христианская демократия сыграла также центральную роль в реализации идеи наднациональной европейской интеграции, и не в последнюю очередь потому, что католики всегда с подозрением относились к национальному государству и традиционному пониманию суверенитета. Отказаться от элементов, вызывавших серьезные опасения, было легко. И, как и во внутренней политике, имела место тен-

14. Это обобщение требует релятивизации в случае Франции: там «государство благоденствия» — если это выражение вообще применимо — возникло постепенно из традиций мютюализма, солидаризма, католической социальной доктрины, а также из кампаний в поддержку повышения уровня рождаемости. Иначе говоря, большой нужды в основаниях и рационализациях не было. Пьер Ларок, основавший в 1945 г. *sécurité sociale*, не был «французским Бевеиджем». Это был, скорее, технократ, которому пришлось пойти на серьезные уступки в его институциональных проектах не социалистам, а христианским демократам. См.: Paul V. Dutton, *Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France 1914–1945* (New York: Cambridge University Press, 2002), and Philip Nord, *France's New Deal: From the Thirties to the Postwar Era* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010). Впрочем, в другом смысле это обобщение требует релятивизации в применении ко всем западноевропейским странам: в более долгосрочной перспективе социализм был первопричиной появления послевоенных государств благоденствия — без угрозы, которую он представлял, не возникло бы и христианской демократии.

денция оставить политику — в данном случае в форме международных переговоров — всецело на попечение благородных старцев.

Достойное государство

Весьма необычным для Западной Европы путем пошла Великобритания, где к власти сразу после войны пришла лейбористская партия¹⁵. Правительство во главе с Клементом Эттли было исключительным как по своим целям, так и по методам. Всеобщее социальное обеспечение, государственное медицинское страхование и национализация промышленности, — все это служило средствами для достижения того, что влиятельный социальный теоретик Ричард Титмусс называл «поиском справедливости» через расширение власти государства. Последнее было оправдано победой британского государства над нацизмом, притом что почти во всех остальных странах Европы война подорвала авторитет государственной власти¹⁶. По словам партийного интеллектуала Дика Кроссмана, «национальная служба здравоохранения стала побочным продуктом блица»¹⁷.

Главным бенефициаром государства всеобщего благоденствия оказался средний класс. Но этот факт оправдывался как закономерный результат свободной демократии, в которой рабочие просто не составляли большинства населения. Социолог Т. Х. Маршалл писал: «На первый взгляд могло показаться, что буржуазия, как обычно, украла то, что причиталось рабочим. Но в данных обстоятельствах это непременно должно было произойти в свободной демократии и будет с необходимостью постоянно происходить в государстве благоденствия. Ибо государство благоденствия — не диктатура пролетариата и не связано обещанием ликвидировать буржуазию».

15. Впрочем, некоторые ведущие фигуры среди лейбористов считали себя христианскими демократами. См. прежде всего: Stafford Cripps, *Towards Christian Democracy* (New York: Philosophical Library, 1946).

16. Conway, *The Rise*, 76–7.

17. R.H.S. Crossman, *Towards a Philosophy of Socialism* // R.H.S. Crossman (ed.), *New Fabian Essays* (London: Turnstile Press, 1952), 1–32; here 16.

Другими словами, подразумевалось, что государство благоденствия пришло надолго, потому что не могло считать себя результатом победы в классовой войне. В последнем случае все еще оставался мотив для того, чтобы оспорить такую победу. Скорее, оно было выгодно (почти) всем и каждому и, не в последнюю очередь, примирило средние классы (травмированные в межвоенный период инфляцией и особенно склонные к экстремистским решениям) с послевоенной демократией: в конце концов, представители среднего класса получали большую часть социальных благ (и часто сами были заняты в обширных новых бюрократиях государства благоденствия)¹⁸.

Такое примирение облегчалось тем, что государство благоденствия оправдывалось не столько с помощью старых социалистических идеалов, сколько как форма достойной жизни (ключевое слово 1940-х и 1950-х гг.). Его архитекторы, прежде всего Уильям Беверидж, были на самом деле либералами, преданными делу эволюционного преобразования существующего государства, а не его революционного слома. С другой стороны, лейбористская партия вскоре начала выдыхаться, исчерпав свои программные идеи. Предполагалось, что «военные стандарты солидарности и преданности общему делу сохранятся и в мирное время» и что не потребуются никаких новых публичных оправданий для дальнейшей институционализации «солидарности»¹⁹. Однако, как отмечалось во введении к «Новым фабианским эссе» 1952 г., «за избранием лейбористского правительства в 1945 г. и быстрым завершением фабианской программы последовала опасная лакуна как в мышлении, так и в деятельности»²⁰.

Социализм осуществлялся сверху, чтобы сдерживать капитализм, но не предлагался — и не принимался — в качестве нового образа жизни (как, например, в Швеции). Он следовал коллективистской традиции фабианцев, которых, как мы видели во второй главе, давно обвиняли в стремле-

18. Judt, *Postwar*, 76–7.

19. José Harris, *Political Thought and the State* // S.J.D. Green and R. C. Whiting (eds), *The Boundaries of the State in Modern Britain* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 15–28; here 23.

20. R. H. S. Crossman, Introduction // Crossman (ed.), *New Fabian Essays*, ix–xiv; here xi.

нии раздавать людям указания вместо того, чтобы позволить им участвовать в принятии решений, касающихся их собственных дел. По словам Кроссмана, людей «заверяли, что социализм — это дело кабинета, который действует через существующую службу социального обеспечения. Нация же должна жить как прежде, получая сверху пособия...»²¹.

Британское государство благоденствия, таким образом, оказалось почти без «теории» и развернутых публичных оснований. Сам Беверидж отрекся от термина «государство благосостояния», который, на его взгляд, ассоциировался с «государством Деда Мороза» (он предпочитал выражение «государство социального обеспечения»)²². И все же государство благоденствия пользовалось широкой популярностью, и не из-за своих принципов, а благодаря практическим достижениям. Кроссман сетовал: «Марксисты на континенте, несомненно, притупили способность проводить практические реформы тем, что втискивали политику в рамки жесткой доктрины. Лейбористская партия впала в другую крайность, она свела теорию к ряду мер. Как только реформы были проведены, единственным руководством к дальнейшим действиям осталась традиция, которую можно было истолковывать каким угодно количеством противоречивых способов... но традиция и консервативная партия, стоящая на ее страже, являются в условиях демократии тормозом общественных изменений. Динамика может быть обеспечена только партией, принципиально бросающей вызов *status quo* и использующей теорию для того, чтобы продемонстрировать неадекватность традиции как руководства к действию»²³.

Значение христианской демократии

Христианская демократия действительно часто говорила на языке традиции. Это главная причина того, почему, оглядываясь назад, легко не заметить важнейшего поворота

21. Crossman, *Towards*, 28.

22. José Harris, *William Beveridge: A Biography* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 452.

23. Crossman, *Towards*, 3.

в европейской истории (и в истории католической церкви), который представляла собой в середине XX в. христианская демократия. После 1789 г. церковь твердо придерживалась контрреволюционной позиции (правда, в различных национальных версиях), и, хотя делались неоднократные попытки примирить ее с современным миром (французский католический мыслитель Ламеннэ говорил даже о «крещении революции»), Ватикан неустанно боролся с либеральной демократией. Клерикализм и антиклерикализм глубоко раскололи многие европейские страны, иногда даже превратившись в самостоятельные и прямо противоположные образы жизни: французские антиклерикалы агрессивно защищали идеалы светского образования, нарочито ели мясо по пятницам и *tête de veau* (голову тельенка) 21 января (в день казни короля). В Италии конфликт между Ватиканом и только что объединившимся государством привел к тому, что папа запретил католикам голосовать на общенациональных выборах, следствием чего стала долгая холодная культурная война.

Христианская демократия возникла из этих продолжительных *Kulturkämpfe* и выступила против них. В конце XIX в. церковь начала политически организовываться в ответ на угрозы со стороны либеральных антиклерикальных правительств²⁴. Одновременно она стремилась ответить на вызовы социализма, предложив собственное решение социального вопроса. Энциклика папы Льва XIII *Rerum Novarum* («О вещах новых») 1891 г. представляла собой манифест откровенно антисоциалистического «социального католицизма». Папа утверждал, что, «стремясь облегчить положение народных масс, мы должны признать первым и основным принципом нерушимость частной собственности». Он подчеркивал также значение семьи и добровольных ассоциаций, а также необходимость принципиально настороженного отношения к государству. Центральной для этой концепции оказалась предвосхищавшая идеалы корпоративизма (о котором речь шла выше) идея всеобъемлющей социальной гармонии: «Как симметрия челове-

24. Этот момент и дальнейшее изложение основываются главным образом на книге: Stathis Kalyvas, *The Rise of Christian Democracy in Europe* (Ithaca, NJ: Cornell University Press, 1996).

ческого тела обусловлена подходящим расположением его частей, так и в государстве, по самой природе вещей, эти два класса должны жить в гармонии и согласии, поддерживая тем самым равновесие политического целого. Каждый нуждается в другом; капитал не может обойтись без труда, труд — без капитала. Взаимное согласие приводит к красоте благого порядка, тогда как непрерывный конфликт с необходимостью порождает смуту и дикое варварство».

Возможно, это был шаг к частичному признанию «социальной демократии» в смысле экономических прав рабочих, впрочем, не предполагавший легитимации политической демократии. В окружном послании *Diuturnum illud* 1881 г. все еще категорически утверждалось, что «ставить [политическую власть] в зависимость от воли народа значит сначала допустить ошибку принципа, а затем исходить из основания одновременно хрупкого и противоречивого». Улучшать долю рабочих — одно дело, доверять им принятие политических решений — другое. Надо сказать, что церковь внимательно следила за католическими партиями, которые сформировались в конце XIX в. Рим не устал подчеркивать значение «христианского действия» в противовес христианской партийной политике, а иногда католические партии подвергались нападкам как проявления самого «модернизма». В каком-то смысле подозрения были понятны: католическая (и потому универсальная) вера просто не могла быть одной из партий среди (или наподобие) всех других, не говоря уже о том, чтобы представлять собой группу, объединенную общим интересом²⁵. Для института с истинно универсалистскими устремлениями плюрализм оставался серьезной проблемой.

На самом деле даже название «христианская демократия» не обязательно указывало на приверженность демократии, но лишь на то, что партия является «народной» или находится «среди народа». Одно дело — принимать участие в выборах, преследуя собственные цели, другое — фактически поддерживать идею народного суверенитета. Католики продолжали играть по правилам демократии не потому, что

25. По наблюдению Антонио Грамши, «теперь не церковь определяет место сражения и выбор оружия; вместо этого она должна соглашаться на то поле битвы, которое навязывают ей соперники».

они в них верили, но потому, что находиться внутри игры было выгоднее, чем оставаться в стороне.

Как и в отношении многого другого, водоразделом здесь послужила Первая мировая война и ее последствия. В Италии папа Бенедикт XV отменил запрет на участие католиков в политической жизни итальянского национального государства, а в 1919 г. сицилийский священник дон Луиджи Стурцо, обращаясь к *tutti i liberi e i forti* (ко всем свободным и сильным), основал Итальянскую народную партию, ставшую первым долговременным экспериментом итальянских католиков в массовой политике. «Пополяре» сразу же превратилась во вторую по численности партию после социалистов. В период становления фашизма она сыграла довольно неприглядную роль, а некоторые принадлежавшие к ней политики вошли наряду с либералами в первое правительство Муссолини. Отношение к ней Ватикана оставалось весьма неоднозначным: вначале секретарь святого престола называл «Пополяре» «наименее плохой» из всех итальянских партий, но в конце концов Ватикан выступил против Стурцо и поддержал фракции, готовые безоговорочно сотрудничать с Муссолини²⁶. В 1926 г. Итальянская народная партия была распущена, а ее главным лидерам и теоретикам пришлось отправиться в ссылку в том или ином качестве. Альчиде Де Гаспери, последний секретарь партии и первый послевоенный христианско-демократический премьер-министр, нашел прибежище в ватиканской библиотеке, а Стурцо жил в Нью-Йорке почти на всем протяжении *ventennio nero* (двух «черных десятилетий» фашистского правления).

В конечном счете межвоенные годы оказались для христианско-демократических партий катастрофическими в большинстве европейских стран, особенно в Италии и Германии. Гораздо более плодотворным было развитие в этот период католической мысли. Важную роль сыграло персоналистское движение во Франции, часто связываемое с Эммануэлем Мунье и группой мыслителей вокруг журнала *Esprit*. Персоналисты стремились дистанцироваться от коммунизма и одновременно от либерального инди-

26. John Pollard, Italy // Tom Buchanan and Martin Conway (eds), *Political Catholicism in Europe, 1918–1965* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 69–96.

видуализма, осуждая обе эти якобы враждебные друг другу идеологии как формы материализма. На либеральный индивидуализм, в частности, возлагалась ответственность за осмеянный Мунье *le désordre établi* (заведенный беспорядок), коррумпированную парламентскую политику Третьей французской республики. По словам Мунье, «в алтаре этого печального мира — только один бог, насмешливый и уродливый Буржуа»²⁷. Выдвигая альтернативу материалистической двойне — либерализму и коммунизму, Мунье стремился примирить католицизм и мягкую версию социализма: «персона», в отличие от изолированного «индивида», всегда реализуется в обществе, но при этом сохраняет духовное измерение, которое в этом мире никогда не может быть поглощено политикой. На практике, персоналисты призывали к обществу с развитой групповой жизнью (в какой-то мере напоминая английских плюралистов), а также с децентрализацией в принятии решений. Несмотря на кажущуюся безобидность конкретных предложений, риторика (и личные ожидания) Мунье всегда носили весьма революционный и агрессивно антилиберальный характер. Поэтому, правда недолго, Мунье находил для персоналистов место в вишистском режиме (лидер которого тоже утверждал, что «индивидуализм не имеет ничего общего с уважением к человеческой личности»), а после войны поддерживал советский марксизм²⁸.

Интуитивное представление о том, что принятие решений должно быть максимально децентрализовано, теперь в виде теории «субсидиарности» появилось в энциклике 1931 г. *Quadragesimo Anno* («В сороковую годовщину»), прямо направленной против коммунизма и одновременно против рыночного либерализма. Согласно папе Пию XI, «непра-

27. Цит. по: Samuel Moyn, *Personalism, Community, and the Origins of Human Rights*//Stefan-Ludwig Hoffmann (ed.), *Human Rights in the Twentieth Century* (New York: Cambridge University Press, 2010), 86–106; here 89.

28. Цит. по: *ibid.*, 94. Персоналисты были призваны к ответу за это сходство Тони Джадтом: Tony Judt, *Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956* (Berkeley: University of California Press, 1992), and John Hellman, *The Knight-Monks of Vichy France: Uriage, 1940–1945* (Montreal: McGill — Queen's University Press, 1997); тонкую и сочувственную, но в то же время не лишённую критичности современную оценку персонализма см.: Paul Ricoeur, *Une Philosophie personaliste*//*Esprit*, vol. 18 (1950), 860–87.

вильно отбирать у людей то, чего они могут достичь своим усердием и старанием, и отдавать это обществу; и несправедливо передавать более крупному и вышестоящему обществу то, что сделано более мелкими и низжестоящими сообществами». Церковь осуждала фашизм как форму атеистического этатизма. Но в целом она благоволила к католическим корпоративистским (и авторитарным) режимам межвоенного периода.

Фашизм, как мы видели в предыдущей главе, был полностью дискредитирован войной. Католические авторитарные режимы стремились теперь дистанцироваться от любых фашистских тенденций, которые они ранее разделяли. Короче говоря, они стали *более* католическими. В то время как Франко и Салазар продолжали свою линию еще несколько десятилетий (и сохраняли многочисленных поклонников в других странах), можно сказать без преувеличения, что война положила конец долгой контрреволюционной традиции, существовавшей в Западной Европе. Заметнее всего это было в исходном контексте контрреволюции, во Франции: неудавшаяся «национальная революция» вишистского режима, которую он пытался совершить в условиях оккупации, дискредитировала давние мечты роялистских и религиозных движений правого толка.

Главным изменением, однако, было то, что христианские демократы в послевоенной Европе больше не занимались ворчливым и неохотным приспособлением к себе современного мира: христианские демократы действительно стали демократами. Дон Стурцо утверждал в 1945 г., что в прошлом свобода «плохо понималась клерикалами», но теперь должна быть вновь соединена с христианской традицией народного суверенитета и демократическим режимом²⁹. Необходимыми для истинно католического взгляда на мир христианские демократы считали теперь и права человека. Появление такого взгляда невозможно понять, не обратившись к фигуре французского философа Жака Маритена³⁰.

29. Don Luigi Sturzo, «Has Fascism Ended with Mussolini?» // *Review of Politics*, vol. 7 (1945), 306–15; here 309.

30. Мое изложение основано главным образом на книге: Bernard Doering, *Jacques Maritain and the French Catholic Intellectuals* (Notre Dame, Ind.: Uni-

Маритен родился в известной республиканской семье и начал интеллектуальную жизнь студентом-философом в Сорбонне, поддержав в борьбе с правыми полковника Дрейфуса. В 1901 г. он встретился с учившейся в том же университете Раисой Уманцевой, дочерью еврейских иммигрантов из России. Так началось продолжавшееся всю его жизнь интеллектуальное и духовное сотрудничество, почти не имевшее аналогов в XX в., особенно в его самые драматические моменты. Солнечным днем 1903 г. в парижском ботаническом саду любовники поклялись совершить самоубийство, если им не удастся в ближайший год ответить на вопрос, в чем заключается смысл жизни (казавшейся столь очевидно бессмысленной). В конце концов они нашли ответ. Это был католицизм.

Маритен стал ревностным католиком, причем крайне правого толка. В 1920-х гг. он сблизился с протофашистским *Action Française*, и кое-кто даже считал его неофициальным философским представителем этого весьма националистического и роялистского движения. В 1926 г. *Action Française* было осуждено Ватиканом. Папа обвинил движение в том, что оно использует католицизм в собственных целях, исповедуя при этом атеизм. В течение какого-то времени Маритен пытался выступать посредником между Ватиканом и лидером движения Шарлем Моррасом, однако затем навсегда покинул ряды *Action Française*. Впрочем, как и прежде, он резко критически относился к современному миру, в частности к протестантизму и либерализму. Его взгляды повлияли на персонализм в период его становления, и одно время он выступал в роли наставника Мунье и группы *Esprit*³¹. В отличие от многих европейских католиков, Маритен отказался поддержать крестовый поход Франко в гражданской войне и приступил к разработке философского подхода, способного сблизить позиции католицизма и современные концепции прав человека и демократии.

В середине 1930-х гг. Маритен получил приглашения прочитать лекции в американских и канадских университетах.

versity of Notre Dame Press, 1983), and Jean-Luc Barré, *Jacques et Raïssa Maritain — les mendiants du ciel — biographies croisées* (Paris: Stock, 1995).

31. Одна из его ранних работ этого времени была переведена на итальянский язык Дж. Баттистой Монтини, позднее известным как папа Павел VI.

Когда разразилась война, он решил остаться в Северной Америке, поэтому гестаповцы, пришедшие с обыском в его дом в пригороде Парижа, никого там не нашли. Следующие несколько лет Маритен провел на восточном побережье, занимаясь преподаванием в Принстонском и Колумбийском университетах. По его наблюдению, в Соединенных Штатах имел место острый конфликт между структурами (или «логикой») развитой индустриальной цивилизации и добрым, гуманистическим духом (или «душой») американского народа. Маритен был убежден, что душа одержит победу над капитализмом³².

Вдохновленный, в частности, примером США, Маритен начал развивать идею о внутренней связи демократии и христианства. В 1942 г. он написал памфлет «Христианство и демократия», который самолеты союзников разбрасывали над Францией. В нем Маритен утверждал, что «демократия связана с христианством, а стремление к демократии возникает в человеческой истории как моральное проявление духа Евангелия»³³. В его смелой формулировке, «демократия — это единственный способ осуществить моральную рационализацию политики. Ибо демократия есть рациональная организация свобод, основанных на законе». И в более экспрессивной форме: «Демократия несет в хрупком сосуде земную надежду, я бы сказал биологическую надежду человечества».

Интеллектуально-политическое *aggiornamento* (обновление) Маритена, конечно, носило весьма избирательный характер и сохраняло элементы, составлявшие, по крайней мере с конца XIX в., ключевые моменты католической политической мысли. Маритен скептически относился к государству, в частности к понятию суверенитета. В катаклизмах середины XX в. он обвинял Руссо (с его точки зрения — несомненного автора понятия суверенитета народа), а также Лютера. Маритен доказывал, что «политическая философия должна освободиться от слова, а также от понятия суверенитета не потому, что это понятие устарело <...>, и не только потому, что понятие суверенитета создает непреодолимые

32. Jacques Maritain, *Réflexions sur l'Amérique* (Paris: Arthème Fayard, 1958).

33. Jacques Maritain, *Christianity and Democracy* (1944; New York: Scribner, 1950), 37.

трудности и теоретические сложности в сфере международного права, но потому, что, будучи рассмотренным в его подлинном значении <...>, это понятие в действительности неверное и обречено вводить нас в заблуждение, если мы будем продолжать употреблять его»³⁴.

Для Маритена слово «суверенный» означало «отдельный» и «трансцендентный», однако ни короли, ни народы на самом деле никогда не существовали отдельно от политического тела (*body politic*). Суверенен один лишь Бог. В то же время понятие «персоны» (личности) указывает на открытость трансцендентному. «Теоцентрический» гуманизм, плюралистическая и персоналистская демократия Маритена были нацелены на то, чтобы воздать должное «человеку в целостности его природного и сверхприродного бытия». Но «теоцентрическое» не равно «теократическому»: Маритен настаивал, что «новый христианский временной порядок, хотя и основан на тех же принципах (рассуждая по аналогии), что и в Средние века, предполагает светско-христианскую, а не священную концепцию временного порядка».

В основе взглядов Маритена лежало томистское понятие естественного права, в конечном счете исходящего из божественного права и предписывающего человеческим существам их истинные цели. Поэтому свобода для Маритена означала не вседозволенность и не произвольное следование своим капризам, но всецелую реализацию этих целей. Именно в этом контексте он настаивал на важности соблюдения прав рабочих и даже всеобщих прав на средства к существованию, необходимых для подлинной самореализации личности.

Эти идеи вышли далеко за рамки внутренних дебатов между католическими философами: Маритен сыграл центральную роль в составлении Декларации прав человека, провозглашенной ООН. После войны де Голль убедил его занять пост французского посла в Ватикане. Святой престол сам в конечном счете согласился со многими идеями Маритена. В высшей степени знаменательным событием стало

34. Jacques Maritain, *The Concept of Sovereignty* // *American Political Science Review*, vol. 44 (1950), 343–57; here 343–4; Маритен Ж. *Человек и государство*. М.: Идея-Пресс, 2000. С. 36.

то, что по окончании II Ватиканского собора папа вручил ему «Послание к философам». Впрочем, Маритен, который после смерти жены в 1960 г. переехал в монастырь под Тулузой, полагал теперь, что церковь зашла слишком далеко в своем «модернизме». Резкая критика Маритеном наиболее либеральных позиций церкви вызвала раздражение и непонимание у многих его последователей — неужели он отрекся от философии, над которой трудился всю жизнь? Несмотря на это, закоренелые католики правого толка вроде Карла Шмитта последовательно разоблачали его как *Cauche-Maritain* (Маритена Ночи), а консерваторов, таких как венгерский мыслитель Аурел Кольнаи, вообще никогда не убеждали его неутомимые и напрасные попытки «надеть на бедного Фому Аквинского лохмотья лаицистского апостола демократии»³⁵. К востоку от железного занавеса польский философ Лешек Колаковский подверг критике все неотомистское направление как отчаянную меру, нацеленную на оправдание и сохранение прав частной собственности³⁶.

Однако для новообразованных христианско-демократических партий Западной Европы взгляды Маритена стали важным ориентиром. Сам французский неотомист не слишком одобрял создание собственно христианских партий: христианство, на его взгляд, должно было служить чем-то вроде «закваски» для политической жизни. Особое значение философия Маритена приобрела для группы левых христианско-демократических мыслителей, принимавших участие в составлении итальянской конституции³⁷. В ее центре были Джорджо Ла Пира (впоследствии мэр Флоренции) и Джузеппе Доссетти из Католического университета Милана, которых называли *professorini* (молодыми, начинающими профессорами). Они жадно читали труды персоналистов, критиковали индивидуализм, а кроме того, соглашались с тем, что личность существует только в обществе. По сло-

35. Carl Schmitt, *Glossarium: Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951* (Berlin: Duncker & Humblot, 1991), 267; Aurel Kolnai, *The Synthesis of Christ and Anti-Christ* // in *Integrity*, vol. 5 (1951), 40–5; here 41.

36. Christian Heidrich, *Leszek Kolakowski: Zwischen Skepsis und Mystik* (Frankfurt/Main: Neue Kritik, 1995), 73.

37. Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938–1948)* (Bologna: Il Mulino, 1979), 51–5.

вам Ла Пира, «человеческая личность раскрывается через органическую принадлежность к следующим друг за другом социальным общностям, в которых она существует и через которые постоянно развивается и совершенствуется»³⁸.

Доссетти, эксперт по церковному праву, воевал в рядах Сопротивления и входил в Комитет национального освобождения Италии. В 1945 г. он стал вице-секретарем партии *Democrazia Cristiana* и пытался сделать ее открытой для персоналистских, пацифистских и даже социалистических идей. Большое впечатление произвела на него победа на выборах 1945 г. в Великобритании лейбористской партии. Он и его соратники изучали Бевериджа и Кейнса (которых ошибочно причисляли к лейбористским политикам) и надеялись на появление итальянской версии персоналистской, лейбористской в основе, «существенной (*substantial*) демократии», реализующей христианскую солидарность в государстве, обществе и экономике³⁹. Их главные идеи об экономической реорганизации послевоенной Италии были суммированы в лозунге «Сначала личность, рынок потом»⁴⁰. Впрочем, что именно это означало в плане политических институтов и политического курса, часто оставалось неясным, и, как мы увидим буквально на следующей странице, левоориентированные версии христианской демократии вскоре были вытеснены другими ее версиями, ориентированными в большей степени на рынок. Но все же *professorini* одержали по меньшей мере несколько знаменательных побед: глава 3-я итальянской конституции, написанная на чисто персоналистском языке, гласила, что «задача Республики — устранять препятствия экономического и социального порядка, которые, физически ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой личности»⁴¹.

38. Цит. по: Paolo Pombeni, *Anti-Liberalism and the Liberal Legacy in Postwar European Constitutionalism: Considerations on Some Case Studies* // *European Journal of Political Theory*, vol. 7 (2008), 31–44; here 36.

39. Carlo Masala, *Born for Government: The Democrazia Cristiana in Italy* // Michael Gehler and Wolfram Kaiser (eds), *Christian Democracy in Europe since 1945*, vol. 2 (London: Routledge, 2004), 101–17; here 104.

40. *Ibid.*, 107.

41. См.: Paolo Pombeni, *Individuo/persona nella Costituzione italiana. Il contributo del dossettismo* // *Parole Chiave*, nos 10/11 (1996), 197–218. Левос крыло

Идейная сделка

Но не персоналистские философы и даже не общее возрождение христианства обеспечили партийно-политический успех христианской демократии после 1945 г. Дело сделал электоральный союз среднего класса и крестьянства (союз, поддерживавший выгодную для него европейскую интеграцию). Быть может, важнее всего было то, что христианские демократы стали самыми яркими антикоммунистическими партиями этого периода. Этому способствовал тот факт, что вместе с фашизмом были полностью дискредитированы традиционные правые партии. Одна из причин привлекательности для католиков прав человека заключалась в том, что этот язык можно было использовать в борьбе с угрозой «безбожного большевизма».

Разумеется, христианские демократы не остались в стороне от революционной атмосферы середины 1940-х гг. Например, первые программы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) в некоторых пунктах носили почти социалистический характер, включая предложения о широкомасштабной национализации и кодетерминации работников и работодателей. Важной аудиторией для ХДС служили католические союзы и движение рабочих священников. Жорж Бидо, отец-основатель французской версии христианской демократии — Республиканского народного движения (*Mouvement Républicain Populaire*), подытожил этот подход как «руководящее положение в центре и проведение методами правых политики левых»⁴².

христианских демократов тоже сумело провести свою версию первой статьи конституции: персоналистски звучащее «Италия — демократическая республика, основывающаяся на труде» одержало верх над вариантом, предложенным коммунистическим лидером Пальмиро Тольятти: «Италия — демократическая республика рабочих». См.: Canfora, *Democracy*, 182–4.

42. Название MRP подразумевало, что христианская демократия является чем-то новым во французской истории: она была открыто республиканской, но понимала себя также как широкое движение, а не просто как партию. Критики, однако, заявляли, что MRP на самом деле означает «Machine pour Ramasser les Pétainistes» («Машина для сплочения петенистов»). См.: Michael Burleigh, *Sacred Causes: The Clash of Religion and*

Впрочем, в начале 1950-х этот лозунг был далеко не так популярен, как в конце 1940-х гг. ХДС теперь подчеркивал значение мелкого бизнеса, мелких крестьянских хозяйств и (в идеале не малочисленных) семей. В действительности немецкие христианские демократы проводили не «политику левых», как рекомендовал Бидо, а политику компромисса между либералами в экономике и склонными к социализму социально-консервативными католиками: первые признавали традиционную мораль, а вторые соглашались терпеть рынок. Эта интеллектуальная сделка нуждалась в особых «промежуточных фигурах», способных разговаривать с обеими сторонами и авторитетно представлять одновременно и свободный рынок, и католические идеалы. В Германии такую роль выполнял Освальд фон Нелл-Брейнинг, главный автор *Quadragesimo Anno*, а впоследствии советник либерального министерства экономики Людвиг Эрхарда. Нелл-Брейнинг и другие разработали то, что в интеллектуальном и одновременно электоральном смысле оказалось очень успешной формулой.

Со временем христианско-демократические партии превратились в настоящие массовые партии, следуя примеру социал-демократов, но расширив электоральный охват и став, по выражению старого социалиста-правоведа Отто Киркхаймера (и преподавателя политологии Колумбийского университета), «всеохватными партиями». Даже в Италии Де Гаспери не хотел создавать партию, которая понимала бы себя как католическую (или, хуже того, воспринималась бы как политическое орудие Ватикана). Напротив, *Democrazia Cristiana*, на взгляд Де Гаспери, должна была стать настоящей *partito nazionale*, партией всех классов и регионов, т.е. фактически подобием фашистской партии (хотя *Volkspartei*, не обращавшую внимания на классы и регионы, первыми все же, наверное, создали нацисты в Германии).

Подчеркивая свое отличие от коммунистов, партийные лидеры продолжали заявлять, что демократия должна с необходимостью покоиться на христианских основани-

Politics, from the Great War to the War on Terror (New York: HarperCollins, 2007), 288–90.

ях, а единственной альтернативой христианской демократии является тоталитаризм. Но в дальнейшем запах лада на, исходивший от христианско-демократических партий с начала века, начал слабеть⁴³. К началу 1970-х гг. австрийские христианские демократы даже объявили без тени смущения, что их партия открыта для «христиан и всех, кто, исходя из других мотивов, верит в гуманистический взгляд на человека». Другими словами, в их партию могли вступать и атеисты.

В то время как во Франции политическое пространство *Mouvement Républicain Populaire* было в конце концов заполнено голлизмом, итальянская *Democrazia Cristiana* превратилась в самую успешную партийную машину послевоенной Западной Европы. По сути, это была государственная партия, или, во всяком случае, партия, колонизировавшая части государства, постоянно находившаяся у власти и не допускавшая к ней коммунистов. Партия использовала на различных должностях одних и тех же людей из различных фракций или *correnti* (течений) и повсюду опиралась на систему патронажа (и иногда на коррупцию), т. е. на то, что, как предсказывали мыслители вроде Доссетти, должно было произойти в том случае, если христианские демократы не сумеют предложить Италии программу подлинного этического возрождения. *Libertas* на гербе христианских демократов означала главным образом свободу от коммунизма и свободу грабить государство. Из всех министерств партия предпочитала почтовое ведомство, открывавшее широчайшие возможности для патронажа. Некоторые члены партии не замедлили сделать из этого надлежащие выводы. Доссетти, который был не только политиком, но и религиозным мистиком, распустил свою левую фракцию в партии, основал монашескую общину под названием *Piccola Famiglia dell'Annunziata* («Малая семья Благовещения») и стал священником.

Тем не менее, несмотря на становившиеся все более заметными негативные явления, важно помнить, чего Христианско-демократическая партия *не делала*. Партия сопротивлялась давлению Ватикана, который настаивал на сохранении

43. Peter Pulzer, Nationalism and Internationalism in European Christian Democracy // Michael Gehler, Wolfram Kaiser and Helmut Wonnout (eds), *Christdemokratie im Europa im 20. Jahrhundert* (Vienna: Böhlau, 2001), 60–73; here 72.

возможности осуществления более авторитарной версии католического государства (*Estado Novo* Салазара сохраняло свою привлекательность для Рима). Де Гаспери, возможно, не был Доном Стурцо, т. е. не очень-то верил в эгалитарную версию католической социальной доктрины, но он, разумеется, не был и Франко.

Кроме того, несмотря на все корыстные и иные материальные причины, обеспечившие триумф христианской демократии, следует помнить, что для публичного оправдания христианско-демократической политики требовалась некая мыслительная конструкция и, в частности, какие-то заслуживающие доверия соображения, адресованные верующим и убеждавшие неверующих, что религиозные партии действительно придерживаются плюрализма и не собираются разжигать *Kulturkampf*. Широкую популярность такой философии, как персонализм, обеспечила, по-видимому, ее неопределенность (Жан-Поль Сартр даже заявил в 1948 г. одному швейцарскому писателю: «Вы, персоналисты, победили... сегодня все во Франции называют себя персоналистами»). Говоря более конкретно, откровенный антилиберализм персоналистов позволял католикам, не поступаясь убеждениями, навести мосты к современной демократии. А концепция Маритена предлагала исходившие из самой католической традиции аргументы, которые сближали последнюю (по факту, если не по существу) с либерализмом и при этом убеждали неверующих, что, получив большинство, католики не станут проводить авторитарную политику. Это было тонкое философское балансирование. Речь шла не о философских глубинах, но о том, чтобы придать западноевропейской политике более умеренный характер.

Подобно ХДС в Германии, Христианско-демократическая партия заняла значительно более прорывные позиции в экономике, чем этого можно было ожидать в конце 1940-х гг. Однако, как и ХДС, в вопросах морали она оставалась последовательно консервативной. Уже в 1946 г., на первом съезде Христианско-демократической партии, Гвидо Гонелла заявил в своей пылкой речи: «Невидимая, беззвучная бомба разрушила ячейку семьи. Семья, если она еще не распалась, скорее объединится вокруг радио, этого оглушающего и отупляющего окна в мир, чем вокруг домашнего очага... Семья — крепость, которую невозможно защищать, находясь

внутри. Конечно же, мы должны выйти наружу и сразиться с врагом в открытом поле»⁴⁴.

Но эту битву христианские демократы явно проигрывали. Сочетать веру в модернизацию и традиционную мораль еще удавалось на уровне риторики, как это делал, например, лидер баварского отделения Христианского социального союза Франц Йозеф Страус, заявлявший, что сегодня «быть консервативным значит идти во главе технического прогресса». Однако реальные тенденции времени суммировал Феллини во вступительном эпизоде «Сладкой жизни». Гигантская статуя Христа переносится по воздуху через весь Рим, сопровождаемая папарацци и взорами женщин, загорающих на крышах в открытых купальниках. Символы традиционного христианства (и морали) все еще налицо, но жизнь на земле неумолимо меняется. Сочетание технологии и традиции кажется все менее последовательным.

Более долговечным (и гармоничным) был особый христианско-демократический подход к международным делам. Основатели Европейского сообщества — Альчиде Де Гаспери, Конрад Аденауэр, Робер Шуман — все были христианами-демократами и, совершенно не случайно, уроженцами окраинных для своих национальных государств регионов. На всех лежала печать гомогенизации, порой жестокой, «поздних» национальных государств — Италии и Германии. Де Гаспери учился в Вене и служил в австрийском рейхсрате еще до 1918 г.; Аденауэр был мэром католического Кёльна — на самом краю рейха; семья Шумана бежала от немцев из Лотарингии в Люксембург⁴⁵. Все они могли при желании разговаривать друг с другом по-немецки. Национальный суверенитет не был для них ни ценностью самой по себе, ни предпосылкой создания политического смысла, как это представлял себе Макс Вебер. Напротив, суверенитета следовало опасаться, и эти лидеры выступали за субсидиарность и Европу, объединенную вокруг ее «христианско-гуманистического» наследия (частности не обсуждались, пока речь шла об антикоммунизме). Они вери-

44. Цит. по: Paul Ginsborg, *A History of Contemporary Italy, 1943–1980* (London: Penguin, 1990), 76–7.

45. Pulzer, *Nationalism*, 62.

ли в наднационализм, создаваемый тесно связанными друг с другом элитами из благородных планировщиков и бюрократов. Это был особый тип дипломатии, предвосхищенный деятельностью Кейнса после Первой мировой войны и по большей части с треском провалившийся в межвоенной Европе. Жан Монне, французский бюрократ-и-интеллектуал, один из главных архитекторов европейской интеграции, произнес знаменитую фразу: «Мы объединяем не государства, мы объединяем людей». Но в первую очередь они объединяли действовавших из лучших побуждений, но при этом не обязательно имевших хорошие международные связи политиков и госслужащих.

Итак, творцы Европейского сообщества избрали непрямой путь легитимации своего проекта: вместо того чтобы проводить голосование за наднациональные структуры в первых государствах-основателях, они предложили согласованные с элитами технократические и административные меры, которые могли привести, как не уставал повторять Монне, к «конкретным достижениям» и в конце концов убедить граждан, что европейская интеграция является благом⁴⁶.

В ретроспективе этот официальный подход часто высмеивают, называя его «европейской интеграцией втихомолку». Но в свое время он казался реальным ответом на исходившие от национального суверенитета угрозы, которые христианско-демократические лидеры, хотя и являлись лидерами «народных» партий, ощущали особенно остро. С другой стороны, некоторые архитекторы интеграции стремились внушать своим народам политический энтузиазм в отношении Европы. Аденауэр в феврале 1952 г. заявил членам кабинета, что «людям следует дать новую идеологию. Она может быть только идеологией Европы»⁴⁷. А Де Гаспери сказал в своей речи в итальянском сенате: «Кое-кто говорил, что европейская федерация — это миф. Верно,

46. Приверженцы более прямого подхода к европейскому единству сразу после войны призывали провести европейскую конституционную ассамблею для выработки федералистской европейской конституции. Но почти все такие приверженцы — многие из них вышли из Сопrotивления — после 1945 г. были вскоре оттеснены на второй план.

47. Цит. по: Judt, *Postwar*, 275.

это миф в сорелевском смысле. И если вы хотите мифа, тогда, пожалуйста, скажите, какой именно миф следует дать нашей молодежи об отношениях между государствами, о будущем Европы, о будущем мира (*world*), о безопасности, о мире (*peace*), — какой другой миф, если не стремление к объединению? Вы что, предпочитаете дать им миф о диктатуре, о силе, о господстве одной нации, даже если это сопровождается героизмом? Но тогда мы вновь породим конфликт, а тот неизбежно приведет к войне. Говорю вам, это должен быть миф о мире (*peace*)»⁴⁸.

Тем не менее политические цели европейской интеграции с самого начала достигались мелкими экономическими и административными шагами, а не проведением в жизнь сорелевских мифов (даже если сорелевское представление о том, что постоянное движение есть всё — и в конце концов ничто, — иногда казалось сутью позиции евроэнтузиастов).

В ретроспективе все эти изменения представляются крайне важными, в особенности девальвация национального суверенитета и установление (относительного) социального мира между классами, а также между конфессиями. Однако в то время действия христианских демократов часто подвергались критике и назывались «реставрацией» традиций, как минимум один раз уже доказавших свою ошибочность. Критики, выступавшие с подобным обвинением, имели на то основания: учитывая надежды, которые многие политические мыслители возлагали на Сопротивление, послевоенный ландшафт казался глубоко унылым. Вокруг было слишком много капитализма и слишком мало прямого участия в демократической жизни. Младшие поколения ощущали это еще более остро. Философ Юрген Хабермас, который был членом гитлерюгенда, а затем, в последний период войны, служил санитаром на фронте, испытал шок, слушая радиопередачи о нюрнбергском процессе и узнавая все больше и больше о немецких зверствах и о том, что он называл «фактом коллективно реализованной бесчеловечности». Впоследствии Хабермас объяснял: «Мы верили в необходимость и неизбежность духовного и морального обновления». По-

48. Цит. по: Paolo Acanfora, *Myths and the Political Use of Religion in Christian Democratic Culture* // *Journal of Modern Italian Studies*, vol. 12 (2007), 307–338; here 326.

этому, когда никакого обновления не произошло, это вызвало фундаментальное недоверие в отношении послевоенной формы правления: «Не хватало стихийного очищения, какого-то прорывного действия, которое могло бы послужить отправным пунктом для формирования политической власти. После такого прорыва мы могли бы по крайней мере понять, к чему не следует возвращаться»⁴⁹.

«Эвтаназия политики»?

1950-е и 1960-е гг. часто характеризуют, используя понятие «политика консенсуса». Это кажется весьма правдоподобным диагнозом: центр расширился за счет дискредитированных фашизмом крайне правых, а послевоенные левые начали занимать все более умеренные позиции, избавляясь от остатков марксистской теории. Понятие консенсуса, впрочем, скрывает наличие постоянных разногласий по вопросам, касавшимся политических решений, которые коренились в различных политических принципах (и различных политических воображениях). Но существовали и реальные общие цели: в частности, после 1945 г. повсеместное распространение получила лексика «стабильности».

Термин «стабильность» вошел в политический язык только в XIX в. и был заимствован из сферы технологии, в частности из инженерного дела. В послевоенном мире стабильность должна была обеспечиваться не в последнюю очередь «политикой продуктивности» — сотрудничеством работодателей и профсоюзов ради повышения производительности труда и увеличения общего богатства. Бывшие классовые враги, как оказалось, способны к сотрудничеству, и одной из причин этого стала «технократия»: конфликты можно было серьезно ослабить, поскольку существовали технически правильные решения социально-экономических проблем. И продолжать борьбу не имело смысла. Сами собой отпадали и идеалы производственной демократии и рабочего самоуправления: зачем поручать решение проблем

49. Jürgen Habermas, *Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*, ed. Peter Dews (London: Verso, 1992), 79.

неквалифицированным рабочим, если можно опереться на квалифицированных экспертов? А рабочим следовало быть довольными, поскольку профсоюзы заключали сделки на самых выгодных для них условиях. По словам британского профсоюзного лидера Хью Клегга, «профсоюз... это производственная оппозиция, — оппозиция, которая никогда не станет правительством»⁵⁰.

Бесспорными казались и средства достижения стабильности. Кейнс говорил об «эвтаназии политики» при проведении экономического курса⁵¹, шведский аналитик Герберт Тингстен заявлял уже в 1955 г., что, «поскольку стандарт ценностей принят всеми, функции государства приобретают настолько технический характер, что политика выглядит своего рода прикладной статистикой»⁵². Консенсус оправдывался крайней важностью стабильности, а стабильность, в свою очередь, оправдывалась соображениями безопасности. Самый известный предвыборный лозунг немецких христианских демократов гласил: «Никаких экспериментов». Еще один поражающий воображение лозунг объяснял: «Безопасный значит безопасный» («Sicher ist sicher»). И даже когда наступали перемены, — например, в 1966 г., когда впервые с 1930 г. в правительство вошли немецкие социал-демократы, — эти перемены подавались как средство достижения еще большей стабильности. В 1966 г. социал-демократы сочли, что наилучшим предвыборным лозунгом их партии будет «Sicherheit ja!» («Безопасности — да!»).

Повальное увлечение широкомасштабным планированием служило ясным указанием на веру в способность правительств руководить, поддерживать стабильность и обеспечивать безопасность. Широкой известностью пользовались слова Жана Монне, который настаивал, что «план, подобно жизни, есть непрерывное творение», а «единственная альтернатива модернизации — это деградация»⁵³. Даже в За-

50. Hugh Clegg, *Industrial Democracy and Nationalization* (Oxford: Blackwell, 1951), 22.

51. Robert Skidelsky, *John Maynard Keynes: The Economist as Savior, 1920–1937* (New York: Penguin, 1992), 228.

52. Herbert Tingsten, *Stability and Vitality in Swedish Democracy* // *Political Quarterly*, vol. 26 (1955), 140–51; here 147.

53. Цит. по: James, *Europe*, 245.

падной Германии, стране, где на планирование смотрели с опаской из-за его ассоциаций с коммунизмом и нацизмом, «планов» становилось все больше и больше, начиная с «зеленого» плана и кончая федеральным «молодежным» планом и «золотым» планом (Олимпийских игр)⁵⁴.

Планирование должно было носить «научный» характер. Политик-лейборист (и дважды премьер) Гарольд Вильсон требовал в 1963 г., чтобы «и на заседаниях кабинета, и в залах заседаний советов директоров люди, на которых возложено руководство нашими делами, мыслили и говорили на языке научного века». В этом стремлении им должны были помогать общественные науки, в частности социология и экономика, которые в послевоенный период встали на ноги и даже, казалось, были способны победить три вида зла, которые Кейнс еще в межвоенный период называл величайшими угрозами для либерально-демократической стабильности: «риск, неопределенность и неведение»⁵⁵.

Но на самом деле в Великобритании планирование почти не практиковалось (при всех разговорах о «демократическом планировании»). И идея планирования, и ее практическое воплощение существовали как бы отдельно от государства благоденствия (которое продолжало развиваться в Соединенном Королевстве). Британские профсоюзы поддерживали последнее и сопротивлялись первому. Планирование было отделено и от национализации. Наблюдение за ходом последней заставило Дж.Д.Г. Коула вернуться к принципам гильдейского социализма и заявить, что политика национализации стала «неудачным гибридом бюрократии и крупного бизнеса»⁵⁶.

В отличие от крупнейших континентальных стран Европы, в Великобритании существовала достаточно выраженная философская оппозиция технократии и, в частности, планированию. Ее защитники уверенно говорили от имени национальной традиции. Эрнест Баркер, сохра-

54. Gabriele Metzler, *Konzeptionen politischen Handelns von Adenauer bis Brandt: Politische Planung in der pluralistischen Gesellschaft* (Paderborn: F. Schöningh, 2005), 83.

55. Skidelsky, *Keynes*, 223.

56. Marquand, *Britain*, 147.

нявший склонность к плюрализму, но полагавший теперь, что к нему способны только люди, обладающие правильным национальным характером, подвергал критике «управляющее и манипулятивное государство»; его беспокоило «нервное напряжение в планировании... которое вряд ли соответствует нашим инстинктам и главной традиции нашей жизни». Позиция джентльмена-ученого фундаментально отличалась от позиции технократа-проектировщика. Баркер считал, что специфически английские «антипрофессиональные способы правления» гораздо больше подходят государству, которое создавалось как джентльменский клуб. Любительский подход, считал он, предотвратит, помимо прочего, «чересчур серьезное отношение к жизни» и оставит «место для шуток и веселья»⁵⁷.

Однако на континенте к технократии (или, говоря иначе, к стальному панцирю Вебера) относились однозначно положительно: считалось, что именно она обеспечивает безопасность. Вряд ли представляя собой то, что Баркер называл «местом для шуток», в новую эпоху консюмеризма панцирь казался по меньшей мере удобным. Поэтому не стоило обращать внимание на критиков, вроде французского поэта-коммуниста Луи Арагона, которые насмехались над *civilisation de frigidaires* (цивилизацией холодильников)⁵⁸.

Весьма заманчиво было сделать вывод, что индустриальное общество, или, по словам французского социолога Раймона Арона, «научное», или «рационализированное» общество, могло теперь стабилизировать себя, не прибегая к серьезной помощи государства. В конце 1960-х гг. немецкий теоретик права и ученик Шмитта Эрнст Форстхофф объявил, что «подлинным ядром общественного целого является ныне не государство, а индустриальное общество, и это ядро характеризуется понятиями полной занятости и роста ВВП»⁵⁹. Прав или не прав был Форстхофф в этом диагнозе, широко распространилось представление о быстром процессе модернизации Западной Европы и о том, что модернизация означает конец давнего идеологическо-

57. Приводимые далее цитаты по: Stapleton, *Englishness*, 167–70.

58. Цит. по: Conway, *The Rise*, 69.

59. Ernst Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft* (Munich: C. H. Beck, 1971), 164.

го конфликта, или, проще говоря, конец классовой войны. Немецкий социолог Гельмут Шельски констатировал существование «нивелированного общества среднего класса». Гарольд Вильсон, отвечая на вопрос, к какому классу он принадлежит, заявил: «В какое место классового спектра вы поместите того, кто начинал в средней школе в Йоркшире и стал профессором в Оксфорде? Думаю, что эти фразы становятся все более бессмысленными»⁶⁰. Язык классового конфликта постепенно сходил на нет.

Сходили на нет даже «массы». И хотя невозможно сказать точно, когда именно они перестали находиться в центре европейских интеллектуальных дискуссий, нет сомнения, что к началу 1960-х гг. на смену им пришло ценностно-нейтральное понятие «общества», или «индустриального общества»⁶¹. Какое-то время, по крайней мере, *basso continuo* (генерал-басом) политического мышления служила не критика культуры, а социология с ее высокоабстрактными понятиями.

Следует помнить, однако, что модернизация проводилась способом, который никак не мог считаться современным: это была патерналистская политика, воплощенная в таких фигурах, как немецкий канцлер Аденауэр, остававшийся на своем посту до 87 лет, Де Гаспери, которому исполнилось 64 года, когда он стал итальянским премьером, французский президент Шарль де Голль и немецкий президент Теодор Хойс, которого часто называли просто «папой Хойсом». Большинство из них, за очевидным исключением де Голля, стремились к де-драматизации политики. Эти пожилые, сознательно антихаризматичные и внешне совершенно буржуазные фигуры составляли полную противоположность фашистскому (и в целом довоенному) культу молодости⁶². На большинство населения это действовало успокаивающе.

60. Dominic Sandbrook, *White Heat: A History of Britain in the Swinging Sixties* (London: Little, Brown, 2006), 4.

61. См.: Nolte, *Die Ordnung*, and Metzler, *Konzeptionen*, 37.

62. Burleigh, *Sacred Causes*, 304.

Послевоенное конституционное урегулирование: дисциплинирование демократии

Впрочем, неправильно думать, что стабильность считалась автоматическим следствием «политики продуктивности», планирования и консюмеризма. Свою роль должны были сыграть и политические институты, и в послевоенный период появились важные новации в том, что Ганс Кельзен называл «конституционной техникой». Одним из важнейших событий в Европе XX в. стало создание конституционных судов. Они не были простыми копиями американского Верховного суда. Напротив, данная конкретная концепция судебного контроля восходила к периоду тридцатилетней давности. Конституционные суды были включены в австрийскую конституцию, которую Кельзен составил после Первой мировой войны (сам он служил в суде вплоть до 1930 г., когда вынужден был подать в отставку из-за антисемитской травли)⁶³. Австрия стала третьей страной в мире (после США и Австралии), которая ввела проверку конституционности законов, и первой страной, которая централизовала эту проверку и возложила ее на отдельный суд. Кельзен отстаивал судебный контроль как форму сдержек и противовесов и не считал, подобно многим ее оппонентам, что такому контролю внутренне присуща недемократичность. В начале 1930-х гг., в ходе важного спора с Карлом Шмиттом, австрийский правовед доказывал, что только такой суд может стать главным «стражем» конституции. Шмитт, напротив, отводил эту роль президенту, следуя, скорее, мысли Макса Вебера⁶⁴. В то время немецкие политические элиты соглашались в большей степени со Шмиттом, а не с Кельзеном.

После 1945 г. идея проверки конституционности получила признание даже в тех странах, которые традиционно

63. См.: Theo Ohlinger, The Genesis of the Austrian Model of Constitutional Review of Legislation // *Ratio Juris*, vol. 16 (2003), 206–22.

64. Hans Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein? // *Die Justiz*, vol. 6 (1931), 576–628.

с большим подозрением относились к судебному контролю, прежде всего во Франции с ее отвращением к *gouvernement des juges*. Конституционные суды, казалось, налагали ограничения на суверенитет народа в его традиционном понимании или даже вступали с ним в противоречие. Однако в послевоенную эпоху, которая опасалась демократии и ее потенциальной способности порождать тоталитаризм, сдержки и противовесы всячески приветствовались. Впрочем, неожиданно выяснилось, что конституционные суды способны выступить также и против исполнительной власти. Как пожаловался один из архитекторов западногерманского Основного закона Аденауэр после того, как конституционный суд начал возражать против его планов перевооружения страны: «Не так мы это себе представляли»⁶⁵.

Конституционные суды способствовали также возрождению так называемой воинствующей демократии. Само понятие было впервые предложено в 1938 г. немецким беженцем и политологом Карлом Левенштайном. Это произошло в период, когда фашистские и авторитарные режимы захватывали одну европейскую страну за другой и использовали демократические средства для уничтожения самой демократии⁶⁶. Левенштайн доказывал, что демократии остаются беззащитными перед такими движениями, продолжая придерживаться принципов «демократического фундаментализма», «правового беспристрастия» и «непомерного формализма в соблюдении норм права»⁶⁷. Согласно Левенштайну, отчасти новый вызов заключался в том, что фашизм, не имея реального интеллектуального содержания, опирался на «эмоционализм», с которым демократии не способны конкурировать, действуя по его правилам. Следовательно, доказывал Левенштайн, против антидемократических сил следовало принимать правовые меры, например запрещая соответствующие партии. Демократиям следовало также

65. Christian Bommarius, *Das Grundgesetz: Eine Biographie* (Berlin: Rowohlt, 2009), 219–26.

66. Karl Loewenstein, *Militant Democracy and Fundamental Rights* // *American Political Science Review*, vol. 31 (1937), 417–32.

67. *Ibid.*, 424.

ограничить свободу собраний и свободу слова⁶⁸. По словам Левенштейна, «с огнем надо бороться огнем», и этот огонь, с его точки зрения, мог быть зажжен только новой, «дисциплинированной» демократией⁶⁹.

В послевоенной Европе бороться с огнем с помощью огня была готова в первую очередь Федеративная Республика Германия. В 1950-х гг. западногерманский конституционный суд прибег к идее воинствующей демократии, чтобы запретить квазинацистскую Социалистическую партию рейха, а также Коммунистическую партию. В 1970-х гг. эта концепция была использована, чтобы поддержать драконовские меры против лиц, виновных в (предполагаемых) связях с террористами. Критики с самого начала заявляли, что антиэкстремизм может легко стать инструментом борьбы с законной оппозицией (особенно левой), хотя в то же время мало что дает для искоренения нацистского прошлого. И наоборот, неявное отождествление советского коммунизма (и его предполагаемых агентов за рубежом) с нацизмом, казалось, релятивизирует зло, содержащееся в последнем.

Воинствующая демократия нашла свое наиболее отчетливое выражение в Западной Германии, однако сам императив демократической самозащиты распространился по всей Западной Европе. В Италии христианские демократы попытались ввести режим «защищенной демократии», *una democrazia protetta*, которая должна была ограничить гражданские свободы, а также принять избирательные законы, отдающие преимущество крупным партиям⁷⁰. Однако эта инициатива была провалена в итальянском сенате, скорее всего из-за желания Ватикана предотвратить запрет правых партий и оставить для себя открытой возможность более широкого политического выбора⁷¹. Вопреки конституции, запрещающей возрождение фашистской партии, была создана мелкая партия «Итальянское социальное движение», фактически преемница фашизма. Повторим: теория и реальность во-

68. Karl Loewenstein, *Militant Democracy and Fundamental Rights* 11 // *American Political Science Review*, vol. 31 (1937), 638–58; here 647.

69. *Ibid.*, 656–7.

70. Ginsborg, *History*, 142.

71. Я благодарен Джованни Каппочча (Cappocchia) за эту мысль.

инствующей демократии заметно отличались друг от друга, и реальность по большей части благоволила к правым.

Впрочем, несмотря на все неудачи, послевоенный период стал свидетелем рождения нового конституционного урегулирования со своим особым «конституционалистским этосом»⁷². В нем учитывались уроки межвоенного периода: если фашисты (и Сталин) пытались создать новые народы, то теперь речь шла только о том, чтобы сдерживать народы существующие. В «человекотворчестве» не были заинтересованы ни крупные политические мыслители, ни политические лидеры; последние в особенности были довольны существующими народами и позволяли людям оставаться самими собой (или, так сказать, «делать себя» на рынке). Этому совершенно явно способствовало и то, что в результате войны население в государствах стало более однородным, а классовые различия постепенно стирались.

Более конкретно, императив сдерживания вылился в политику ослабления парламентов, и, в частности, в ограничение прав легислатур на делегирование власти. Это делалось для того, чтобы уберечь их (или надеясь уберечь) от того демократического самоубийства, которое в свое время совершили Веймарская республика и Третья французская республика. Впредь ни одно законодательное собрание не могло отречься от своих полномочий в пользу Гитлера или Петена. Таким способом предполагалось раз и навсегда запретить то, что немецкий правовед Гуго Прейс — отец Веймарской конституции, привлекая к ее составлению Вебера, — называл угрозой «парламентского абсолютизма».

В то же время многие функции продолжавшего развиваться государства благоденствия и регулятивного государства были переданы управляющим органам, а те, в свою очередь, были поставлены под жесткий судебный и административный контроль. Последнее должно было успокоить либералов, встревоженных практикой применения принципа верховенства закона. Эта тревога была высказана в 1920-х гг. лордом Хьюартом и усилилась в глазах кон-

72. Это доказывается ясно и аргументированно в статье: Peter Lindseth, *The Paradox of Parliamentary Supremacy: Delegation, Democracy, and Dictatorship in Germany and France, 1920–1950s* // *Yale Law Journal*, vol. 113 (2004), 1341–415.

тинентальных наблюдателей, следивших за неофеодальным Третьим рейхом: там, как мы видели в предыдущей главе, власть делегировалась многочисленным неподотчетным и саморадикализировавшимся органам⁷³. Карл Левенштайн заключил в 1966 г., что задача сдерживания бюрократии, которую Вебер возлагал на парламент, теперь, по сути дела, эффективно выполнялась судами, в то время как «парламентаризм, который в XIX в. казался вершиной политической мудрости... претерпел повсеместную девальвацию»⁷⁴.

В свою очередь конституционные суды должны были защищать этот новый порядок в целом, в частности выступая на страже прав человека. Предполагалось также, что такие суды должны были оставаться вне досягаемости парламентов и опираться на естественное право или другие системы абсолютных ценностей (что прямо расходилось с одной из главных философских позиций Кельзена, а именно что демократия с необходимостью влечет за собой некоторую форму ценностного релятивизма)⁷⁵. Даже скептически настроенные либералы заявляли о необходимости таких общепринятых незыблемых основ в виде объективных ценностей как о прямом уроке, который следовало извлечь из прошлого. Исайя Берлин на вопрос: «Что вытекает из недавнего холокоста?», ответил: «Некое приближение к новому пониманию того, что существуют определенные всеобщие ценности, которые можно назвать главными ценностями человека»⁷⁶.

73. Еще в 1936 г. изобретатель концепции воинствующей демократии Карл Левенштайн замечал: «Новый метод законодательства сопровождала фундаментальная трансформация законодательной техники, поскольку различия между писаным законом и декретами исполнительной власти были почти полностью стерты. Правительственные декреты обычно содержат лишь провозглашение политики, делая это в самых общих чертах, в то время как детали регулируются неограниченным делегированием власти министрам, советам, членам комиссий или низшим звеньям администрации...». См.: Karl Loewenstein, *Law in the Third Reich* // *Yale Law Journal*, vol. 45 (1936), 779–815; here 788.

74. Karl Loewenstein, *Max Weber's Political Ideas in the Perspective of our Time*, trans. Richard and Clara Winston (Amherst: University of Massachusetts Press, 1966), 48.

75. Kelsen, *Foundations of Democracy*.

76. Isaiah Berlin, *European Unity and its Vicissitudes* // Isaiah Berlin, *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas* (London: John Murray, 1990), 175–206; here 202; Берлин И. Европейское единство и преврат-

Неотъемлемым элементом нового «конституционалистского этоса» с присущим ему недоверием к суверенитету народа и делегированием бюрократических задач органам, находящимся под неусыпным надзором национальных правительств, стала европейская интеграция⁷⁷. Члены европейского сообщества сознательно передали власть институтам, которые не избирались в их собственных странах, а также наднациональным структурам, делая это для того, чтобы «закрепить» либерально-демократические завоевания и предотвратить любое сползание назад к авторитаризму⁷⁸.

Два фундаментальных решения Европейского суда способствовали пониманию «Европы» как еще одной совокупности сдерживающих электоральную демократию факторов. Важными вехами оказались процессы 1963 и 1964 гг., в результате которых было установлено, что законы Европейского сообщества должны иметь преимущество перед национальными законами и иметь в государствах-членах силу законов прямого действия. Иначе говоря, граждане могли ссылаться в национальных судах на законодательство ЕС, применимое в решениях против государств-членов. Суд однозначно провозгласил, что, «создавая Сообщество неограниченной длительности... государства-члены ограничивают свои суверенные права, хотя и в ограниченных областях, и тем самым создают совокупность правовых норм, которые имеют обязательную силу как для их граждан, так и для них самих». В 1969 г. судьи даже приняли дополнение, утверждавшее, что базовые права человека «воплощены в общих принципах законодательства Сообщества и защищаются Судом», хотя на самом деле исходные договоры не содержали упоминаний о таких правах. Это открытие или, скорее, изобретение прав было внушено опасением, что немецкий и итальянский конституционные суды воспротивятся европейскому закону, защищая базовые права, записанные в национальных конституциях. Таким образом, в соответствии с общей западноевропейской тенденцией к надзору со сто-

ности его судьбы // *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*. 2002. № 1. С. 19.

77. Lindseth, The Paradox.

78. Andrew Moravcsik, The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe // *International Organization*, vol. 54 (2000), 217–52.

роны специального суда, Европейский суд более или менее успешно добился статуса экстраординарной судебной власти (и был, по большей части, признан и национальными судами, и национальными правительствами).

Таким образом, одним из важнейших элементов послевоенного конституционного урегулирования стало то, что (за пределами Великобритании) неограниченное верховенство парламента перестало считаться разумной идеей. Обратной стороной ослабления парламента оказалось усиление исполнительной власти — процесс, который дальше всего зашел при генерале де Голле, превратившем Национальное собрание в самую слабую легислатуру на Западе. Демократия оправдывалась не столько возможностью представлять в парламенте те или иные взгляды, сколько тем, что обеспечивала посредством выборов регулярную сменяемость ответственных политических элит.

По сути дела, именно такое понимание демократии выдвинул в середине XX в. Йозеф Шумпетер, язвительный оппонент Вебера в споре о русской революции, который они вели в венском кафе. Подобно Веберу, Шумпетер, после Первой мировой войны недолгое время (и крайне неудачно) выполнявший функции министра финансов Австрии, считал, что никакой единой воли народа не существует; он отрицал также, что участие в политике имеет какое-либо значение для обычных людей; но, в отличие от Вебера, не признавал особой роли публичной сферы. Борьба между элитами за голоса полезна, а все остальное в демократической идеологии является иллюзией, как и надежды Вебера на политику как сферу, не зависящую от экономики и способную создавать общий смысл. Многие послевоенные мыслители разделяли эти убеждения. Ведущий интеллектуал лейбористской партии Тони Кросланд, например, заявлял: «Как показывает опыт, участвовать в политике пожелает только незначительное меньшинство населения», в то время как большинство неизменно «предпочитает вести полнокровную семейную жизнь и копать в своих садах»⁷⁹.

Таким образом, политика не должна была служить главным источником смысла и, более того, вообще не должна

79. C.A.R. Crosland, *Socialism Now* (London: Cape, 1974), 65–6.

была служить такого рода источником. Но вместе со смыслом (и, возможно, личной реализацией посредством политики) исчезали и надежды на публичную сферу как пространство общей свободы. Во всяком случае, на это жаловались Ханна Арендт и другие критики, которых невозможно заподозрить ни в нацистских, ни в советских симпатиях. Европейские либералы подчеркивали важность «негативной свободы», т.е. невмешательства в жизнь человека, — по-видимому, единственного вида свободы, который нельзя было превратить в тоталитарный кошмар во имя идеалов «позитивной свободы», понятой как индивидуальная или коллективная саморегуляция. Но, с точки зрения критиков, это самоограничение — выдвигавшееся не в последнюю очередь для того, чтобы подчеркнуть отличие от социализма на Востоке, — вело к ослабленной форме демократии. В глазах таких наблюдателей, как Арендт, запретительный либерализм на деле усиливал изоляцию «массового человека» и даже повышал вероятность возвращения к тоталитаризму. Некоторые самопровозглашенные «классические либералы» тоже испытывали страх перед возвращением к тоталитаризму, но это, с их точки зрения, могло произойти не из-за запретительного либерализма, введенного режимами послевоенного периода, а из-за той самой политики консенсуса, которая обещала стабильность.

Либералы в пустыне

Фридрих фон Хайек, дальний родственник Витгенштейна, вырос в Вене начала XX в., служившей лабораторией многих важнейших интеллектуальных течений своего времени⁸⁰. В 1920-х гг. он провел какое-то время в Нью-Йорке, прибыв туда с двадцатью пятью долларами в кармане и готовый заняться пресловутым мытьем посуды в ресторане на Шестой авеню не появившись в Нью-Йоркском университете вакансии научного сотрудника. В 1931 г. Хайек навсегда

80. Рассказ о жизни Хайека основан главным образом на книге Алана Эбенштейна: Alan Ebenstein, *Friedrich Hayek: A Biography* (Chicago: University of Chicago Press, 2003), and Hans-Jörg Hennecke, *Friedrich August von Hayek: Die Tradition der Freiheit* (Düsseldorf: Verlag Wirtschaft und Finanzen, 2000).

покинул Австрию и стал первым иностранцем, принятым на работу в Лондонскую школу экономики.

В Великобритании он быстро завоевал себе имя рядом прямых критических выпадов против Кейнса, но при этом его воспринимали в значительной степени как человека, который потерпел поражение в интеллектуальной баталии, развернувшейся на страницах специальных академических журналов. Горячая дискуссия не повлияла на взаимоуважительные личные отношения двух джентльменов-экономистов: Кейнс позаботился о том, чтобы пристроить Хайека, когда во время войны ЛШЭ эвакуировался в Кембридж, и они даже несли противопожарную вахту вдвоем на крыше капеллы Королевского колледжа.

Хайек расширил сферу своей деятельности, занявшись сочинением популярных политических памфлетов. В 1944 г. появился его бестселлер «Дорога к рабству», адаптированный для американской аудитории журналом *Reader's Digest* и разрекламированный как «Одна из важнейших книг нашего поколения». Книга даже транслировалась по радио. Хайек заявлял, что государство всеобщего благосостояния с необходимостью ведет к тоталитаризму. Потерпев поражение в войне, писал он, нацисты все еще способны выиграть в битве идей, если западноевропейские страны, в частности любимая Хайеком Великобритания, выберут социалистические правительства. Социализм, настаивал Хайек, какими бы гуманными и благонамеренными ни выглядели его лидеры, означает установление центральной власти, занимающейся планированием. Такая власть порождает две проблемы: одну практическую, другую моральную. Во-первых, доказывал Хайек, «социализм... не учитывает, что современное общество основано на использовании весьма рассредоточенного знания. И когда вы понимаете, что способны достичь широкого использования доступных ресурсов только потому, что используете знания миллионов людей, становится понятно также, что посылка социализма, будто центральная власть располагает этим знанием, попросту неверна. Думаю, лучше всего сформулировать это таким образом, что социализм, выступающий против производства ради выгоды, а не ради потребления, возражает против того, что делает возможным расширенное общество (*extended society*). Выгода — это сигнал, оповещающий, что именно следует де-

лять, чтобы помочь людям, которых мы не знаем. Стремясь к выгоде, мы поступаем максимально альтруистично, потому что распространяем нашу заботу на людей, находящихся вне сферы наших личных познаний»⁸¹.

Несмотря на все попытки сказать что-нибудь хорошее о социализме, Хайек не мог не отметить, что тот сталкивается с серьезной моральной проблемой: центральная власть не способна великодушно распределять блага; ей приходится выбирать приоритеты и ценности и, таким образом, в конечном счете навязывать обществу единое представление о благой жизни, вместо того чтобы позволить гражданам стихийно координировать свои действия. Короче говоря, не-тоталитарный социализм невозможен.

Хайек настаивал, что, хотя он не анархист, государствам следует ввести систему общих и предсказуемых законов (иногда он доходил до того, что призывал к равному и минимальному доходу для всех граждан). Кейнс критиковал Хайека за очевидную неопределенность в вопросе о том, где кончаются общие законы и начинается произвол государственного вмешательства: «Вы согласны, что где-то следует провести грань, а логическая крайность невозможна. Но вы не даете нам никакого указания, где провести эту грань. Конечно, мы с вами, скорее всего, проведем ее по-разному. Догадываюсь, что вы серьезно недооцениваете практическую осуществимость среднего пути. Но, признав, что крайность невозможна и линия должна быть проведена, вы, согласно вашей же аргументации, опровергаете сами себя, убеждая нас, что продвижение всего на один дюйм в запланированную сторону означает начало скользкого пути, который рано или поздно приведет на край пропасти»⁸².

Британский социальный теоретик Р. Тони тоже всячески стремился выразить Хайеку свое почтение. По словам Тони, Хайек «пишет так, как, говорят, изъяснялся Бёрк, — тоном человека, которому нечего терять перед лицом убийц. Его

81. Цит. по: Ebenstein, *Hayek*, 313. Это утверждение было сделано в 1984 г., однако в нем подытоживаются мысли об ошибочности социализма, которых Хайек придерживался на протяжении всей жизни.

82. Цит. по: *ibid.*, 130.

честность и компетентность не вызывают сомнений»⁸³. Однако самая важная интуиция заключается в том, что «все зависит» от «спорной территории между экономикой и политикой». Планирование, доказывал он, «подобно парламентам и государственному образованию, не является простой категорией. Его результаты зависят не от наклеиваемого на него ярлыка, но от целей, которым оно предназначено служить, от методов, которые оно использует для их реализации, и от духа, который определяет выбор того и другого».

«Дорога к рабству» в конечном счете сыграла некоторую роль в ходе всеобщих выборов 1945 г. в Великобритании. Идеи этой книги были подхвачены Уинстоном Черчиллем. Тори и герой войны заявил в одной из своих предвыборных речей, что «социализм неразрывно связан с тоталитаризмом и нелепым поклонением государству. Он предписывает всем, где им работать, над чем работать, куда идти и что говорить... Им придется опереться на нечто вроде гестапо, несомненно, руководствующегося в первую очередь соображениями человеколюбия»⁸⁴.

Пресса тут же обвинила Черчилля в использовании «поддержанных идей австрийского профессора»⁸⁵. Он проиграл выборы, и новое лейбористское правительство пошло именно по той дороге, об опасности которой предупреждал Хайек. А сам он пошел по совершенно новому для академического работника пути, основав общество «Мон Пелерин», которое называло себя «не-организацией индивидов»⁸⁶ и представляло собой де-факто элитный передовой отряд в войне идей, особенно хорошо вооруженный для ближнего интеллектуального боя на спорной земле между экономикой и политикой. Хайек говорил: «Мы должны воспитать и обучить армию бойцов за свободу». Он предлагал сосредоточиться на интеллектуалах — профессорах, бюро-

83. R. H. Tawney, *We Mean Freedom // Review of Politics*, vol. 8 (1946), 223–39; here 233.

84. Цит. по: Ebenstein, *Hayek*, 137–8.

85. *Ibid.*, 138.

86. R. M. Hartwell, *A History of the Mont Pèlerin Society* (Indianapolis: Liberty Fund, 1995), xiii.

кратах, учителях и журналистах — этих «торговцах поддержанными идеями», которые, согласно ему, в конечном счете всегда оказываются творцами общественного мнения. Хайек настаивал также, что на молодых людей можно легко повлиять, если предложить им нечто, способное вызвать в них энтузиазм. Отсюда его настоятельные призывы к созданию «либеральной утопии».

Впрочем, на первом заседании общества в Швейцарии так и не прояснилось, какими именно должны быть правильные исходные (*first-hand*) идеи, необходимые для построения утопии. Одни отстаивали *laissez-faire*, другие считали самым важным возрождение христианства, третьи пели старую песню о массовом обществе. Один участник предложил назвать организацию обществом Актона — Токвиля. На эту идею последовало возражение, что клуб середины XX в., созданный с целью возрождения классического либерализма, не может носить имена двух католических аристократов XIX в. Карл Поппер предложил назвать организацию обществом Перикла и принять в него демократических социалистов. В конце концов, не сумев прийти к согласию, члены-основатели называли общество по месту, в котором происходило собрание.

Вплоть до этого момента все выглядело достаточно поддержанно, за тем исключением, пожалуй, что «бойцы за свободу» получали щедрое финансирование. Хайек добывал деньги из различных американских фондов, а в Великобритании куриный магнат Антони Фишер, в подражание тому, что Фабианское общество делало для лейбористов, основал в 1955 г. Институт экономических проблем. Этот научный центр ставил в качестве главной цели продвижение хайекианских идей — воздействуя главным образом на «торговцев поддержанными идеями», а не на политические партии.

До поры до времени крестовый поход Хайека и его последователей почти не пользовался успехом в Великобритании (и в США). Единственной страной, где экономический либерализм, казалось, переживал подлинное возрождение, была Германия. Там интеллектуалы из так называемой Фрейбургской школы поддерживали близкие отношения с министром экономики Людвигом Эрхардом — отцом немецкого «экономического чуда» — и одновременно входили в обще-

ство «Мон Пелерин»⁸⁷. В 1960 г., когда общество распалось на различные фракции, Эрхард предложил свои услуги в качестве посредника⁸⁸.

Впрочем, некоторые представители немецкого экономического либерализма жаловались, что Хайек, позаимствовав термин «неолиберальный», на самом деле был «палеолибералом», человеком XVIII в., стремившимся восстановить принцип *laissez-faire*⁸⁹. Социальные философы Вильгельм Рёпке и Александр Рюстов (после войны Рюстов возглавлял кафедру имени Макса Вебера в Гейдельберге) считали ошибочной веру старого либерализма в первичность рынка. Государства должны жестко регулировать рынки; в частности, они должны бороться с монополиями и поддерживать, а если возникнет необходимость, то и искусственно создавать экономическую конкуренцию. Помимо этого, аргументировал Рюстов, правительства должны заниматься тем, что он называл «либеральным вмешательством», нацеленным на улучшение конкретного положения индивидов, *Vitalsituation*. В идеальной «жизненной ситуации» когда-то находились независимые собственники, например мелкие крестьяне, и она кардинально отличалась от деградировавшей жизни «городских масс»⁹⁰. Поскольку Европа, по мысли Рюстова, уже не может вернуться к миру мелкого собственника, следует найти новые способы поддержки независимых экономических агентов. Итак, рынки не носят естественного характера; они должны иметь государственные гарантии и часто даже вычищаться государствами (которым к тому же всегда угрожает опасность захвата со стороны частных интересов). Но и в самих участниках рынка тоже нет ничего естественного или «данного»; возможно, что и они тоже должны создаваться государством.

Таким образом, немецкий неолиберализм отчасти впитал в себя культурный пессимизм, типичный для межвоенного

87. Еще одним важным исключением был президент Италии Луиджи Эйнауди.

88. Hennecke, *Hayek*, 267.

89. Alexander Rüstow, *Paläoliberalismus, Kommunismus und Neoliberalismus* // Franz Greiss and Fritz W. Meyer (eds), *Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur: Festgabe für Alfred Müller-Armack* (Berlin: Duncker & Humblot, 1961), 61–70.

90. Alexander Rüstow, *Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus*, 2nd edn (Düsseldorf: Küpper, 1950), 91.

периода и первых послевоенных лет. За ним стояла особая авторитарная концепция государства: правительства должны заниматься своего рода народной педагогикой, чтобы научить «массы» добродетелям свободной экономики⁹¹. Но в нем было гораздо больше социального, чем это изображали появившиеся позднее карикатуры на неолиберализм. «Политика общества», или *Gesellschaftspolitik* — концепция, не известная ранним версиям либерализма, — содержала в себе идею, что государство должно формировать общество ради свободы, в то время как «социальная рыночная экономика» частично обосновывалась апелляцией к идеалу рабочих-собственников и предпринимателей, конкурирующих в установленных государством рамках справедливости. Это была формула компромисса, с которой могли согласиться и либералы, и католики и которая сослужила добрую службу немецким христианским демократам.

Хайек, напротив, возражал против самого слова «социальный» в формуле «социальная рыночная экономика» и поссорился с Рёпке (который безуспешно пытался заинтересовать его христианским персонализмом)⁹². Он продолжал настаивать на том, что, на фоне триумфа послевоенного государства благоденствия и административного государства, казалось все большим донкихотством. Впрочем, настал день, когда он все же выбрался из идеологической пустыни.

Деколонизация европейского сознания

Казалось, что в Западной Европе (в отличие от континента в целом) воцарились мир и согласие. Национальные государства, на которые она была поделена, по крайней мере на данный момент не претендовали на территории друг друга (а если бы начали это делать, то наверняка встретили бы противодействие сверхдержав). Однако европейские национальные государства в течение нескольких столетий претендовали также на весь остальной мир. Фашизм при-

91. Philip Manow, *Ordoliberalismus als ökonomische Ordnungstheologie* // *Leviathan*, vol. 29 (2001), 179–98.

92. Hennecke, *Hayek*, 210.

вел к дискредитации империализма, причем не только континентально-религиозного типа империи. После 1945 г. Западная Европа начала обособляться от остального мира, не в последнюю очередь для того, чтобы сосредоточиться на создании собственного Сообщества. При этом она почти сразу отринула свое имперское прошлое. Кроме того, не было никакой внутренней связи между послевоенной европейской моделью демократии и тем, что европейцы делали в остальном мире и с остальным миром. Показательно, что Европейская конвенция по правам человека, вступившая в силу в 1953 г., была применима по большей части только к европейцам. Великобритания оказалась единственной крупной европейской империей, распространившей действие Конвенции на зависимые территории (хотя категорически отклонила право на индивидуальные обращения и не признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека, трактуя Конвенцию как в основном символический акт)⁹³. Бельгия не распространила действие Конвенции на Конго, а Франция не ратифицировала ее вплоть до 1975 г.⁹⁴ По сути дела, то, как вели себя империи в ходе деколонизации, оставалось по большей части делом их собственной совести.

Производя сильное впечатление в смысле разноцветных пятен на карте, европейские империи на самом деле давно превратились в «масштабный обман, основанный на доверии»⁹⁵. Накануне Второй мировой войны британская империя содержала в Африке 1200 колониальных администраторов, которые управляли населением в 43 миллиона черных африканцев при поддержке примерно 900 полицейских колониальной службы и военных советников⁹⁶. Имперский контроль не мог осуществляться без сотрудничества с мест-

93. Нидерланды распространили действие Конвенции на Суринам и Нидерландские Антильские острова, когда главные голландские владения уже были потеряны. Дания распространила ее действие на Гренландию в 1953 г.

94. A. W. Brian Simpson, *Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention* (New York: Oxford University Press, 2004).

95. John Springhall, *Decolonization since 1945: The Collapse of European Overseas Empires* (New York: Palgrave, 2001), 21.

96. *Ibid.*, 22.

ными элитами, которые, по словам Оруэлла, делали «за империю всю грязную работу», а также без минимального послушания, или, говоря иначе, без элементарной веры в ее легитимность.

Вторая мировая война все изменила, и причиной изменений стали как общий ход военных действий, так и программы, объявленные странами-победительницами. Первые же победы японцев на Дальнем Востоке разрушили миф о превосходстве белых и, в частности, стали предвестием таких событий, как падение колониального Сингапура. Как осознал еще до этой катастрофы британский губернатор Южно-тихоокеанского региона, «теория о Сошедшем с Небес Большом Белом Хозяине, который осуществляет колониальное правление, начала трещать по швам»⁹⁷.

Но значение имели и программы, даже лицемерные, потому что лидеры оказывались в ловушке собственных высокопарных заявлений. В конце концов, разве Союзники воевали не во имя антирасизма и антиимпериализма? Как заявил 3 сентября 1939 г. в палате общин один из членов парламента, это война, «которой внутренне присуще установление на незыблемой основе прав индивида, и это война за установление и возрождение достоинства человека». И даже Черчилль, поскольку именно он формулировал таким образом цели войны, не смог бы легко отказаться от этих слов.

И все же удивительно большое число британских политиков настаивали на том, что к ним самим это не относится. Но лидеров ловили на слове, а когда люди (или народы) теряли доверие, переставал работать и основанный на доверии великий обман. Яванский националистический лидер Сукарно вопрошал в октябре 1945 г.: «Разве свобода и независимость только для некоторых привилегированных народов мира? Индонезийцы никогда не поймут, почему, например, неправильно, чтобы немцы правили Голландией, если правильно, чтобы голландцы правили Индонезией. В том и другом случае право на правление опирается на голую силу, а не на санкцию населения»⁹⁸.

97. Цит. по: Ronald Hyam, *Britain's Declining Empire: The Road to Decolonization, 1918–1968* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 14.

98. Цит. по: Springhall, *Decolonization*, 29.

Колониализм как фашизм, или фашизм как колониализм, возвращенный в Европу, — эти мысли преследовали таких разных мыслителей, как Ханна Арендт и родившийся на Мартинике поэт (и политик) Эме Сезер⁹⁹. Последний в своей очень влиятельной книге «Рассуждение о колониализме» (1950) констатировал: «Яд впрыснут в вены Европы, и медленно, но верно континент скатывается к *дикости*». Нацисты обращались с европейцами, как с африканцами, и «вот в один прекрасный день буржуазия просыпается, разбуженная шокирующей реальностью, в которой все поставлено с ног на голову: деятельные гестаповцы, переполненные тюрьмы, палачи у дыбы, изобретающие, совершенствующие, обсуждающие методы пыток». Сезер распространил эту оценку на настоящее и будущее Европы: «Хочется нам того или нет, но в конце тупика, которым является Европа, я имею в виду Европу Аденауэра, Шумана, Бидо и других, стоит Гитлер. В конце капитализма, который хочет пережить свое время, стоит Гитлер. В конце формального гуманизма... стоит Гитлер»¹⁰⁰.

Многие в Европе были согласны с призывом Франца Фанона, тоже родом с Мартиники: «Покиньте эту Европу, в которой без устали говорят о Человеке, и убивают людей везде где только можно». Фанон очень ярко сформулировал тезис о том, что насилие, возможно, является моральной необходимостью и предпосылкой подлинной политической идентичности. Этот взгляд был поддержан Жан-Полем Сартром в его знаменитом предисловии к «Проклятьем заклеянным» Фанона: «Он ясно показывает, что это неудержимое насилие не является ни слепой яростью, ни возрождением диких инстинктов, ни даже следствием крайнего возмущения. Это — человек, творящий себя заново. Думаю, мы когда-то знали, но потом забыли ту истину, что ника-

99. Наблюдатели в Третьем рейхе замечали откровенное использование колониалистского языка — например, терминов *Konzentrationslager* и *Strafexpedition* — Гитлером и его соратниками. См. прежде всего: Victor Klemperer, *LTI — Lingua Tertii Imperii: A Philologist's Notebook*, trans. Martin Brady (London: Continuum, 2006); Клемперер В. *LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога*. М.: Прогресс-Традиция, 1998.

100. Aimé Césaire, *Discourse on Colonialism* (New York: Monthly Review Press, 1970), 15.

кая мягкость не способна стереть следы насилия; их может уничтожить только насилие. И туземцы избавляются от колониального невроза, изгоняя поселенца силой оружия. Когда происходит вспышка гнева, они восстанавливают былую цельность и познают себя через новое творение своей самости...»¹⁰¹.

Сартр утверждал, что, «если не обращать внимания на фашистскую болтовню в духе Сореля, вы обнаружите, что Фанон впервые со времен Энгельса вновь говорит о повивальной бабке истории»¹⁰². Алжирская война 1954–1962 гг. и тезисы Фанона, которого журнал *Time* называл «пленником ненависти», внесли глубокий раскол в интеллектуальный мир французской метрополии и за ее пределами. Для многих наблюдателей такие конфликты были воплощением насилия, которое, казалось, было навсегда изгнано из самой Европы.

Если не считать Великобритании, империи пропадали не только с карты, но и быстро исчезали из поля политического воображения. До некоторой степени деколонизация помогла левым в странах вроде Франции примириться с самой идеей «Европы» как цивилизации и с конкретной формой новосозданного Европейского сообщества (хотя, конечно, под «Европой» неявно имелась в виду только Западная Европа). Во времена Виши французский фашистский вождь (и активный коллаборационист) Жак Дорио объявлял, что Франции необходимо еще доказать, что она достойна «Европы», а именно нацистского европейского *pax Germanica*¹⁰³. Деколонизация стала предпосылкой того, чтобы «Европа» вновь стала достойна эгалитарного универсализма и могла с ним ассоциироваться. По словам французского социолога Эдгара Морена, для его поколения только благодаря деколонизации идея Европы вновь стала «чистой»¹⁰⁴. В каком-то смысле, несмотря на шокирующие заявления о наси-

101. Jean-Paul Sartre, Preface // Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, trans. Richard Philcox (1961; New York: Grove, 2004), xliii–lxii; here lv (translation modified).

102. *Ibid.*, xlix.

103. Его речь на эту тему содержится в последней части «Печали и жалости» Марселя Офюльса.

104. Edgar Morin, *Penser l'Europe* (Paris: Gallimard, 1987), 140–7.

лии в предисловии к книге Фанона, Сартр был прав: Европа тоже должна была деколонизироваться. К 1970-м гг. вновь возникло ощущение, что и левые, и правые (главным образом в виде христианских демократов) вновь способны подписаться под чем-то вроде совместного европейского проекта.

Новый класс захватывает власть

Западная Европа напоминала (немного скучный) благословенный остров, укрытый Соединенными Штатами Америки от суровых ветров истории. Разумеется, холодная война создавала постоянную апокалиптическую угрозу, однако в то же время предоставляла своеобразную защиту. А вот Центральной и Восточной Европе не так повезло. Там послевоенные режимы поначалу следовали модели «народных демократий» — правительств в духе «народных фронтов», представлявших собой антифашистские, весьма левые и, что существенно важно, просоветские коалиции, которые провели экспроприации и консолидировали гомогенные национальные государства, главным образом за счет изгнания немецких меньшинств. По мнению Сталина, эта модель приближала находившиеся под его контролем страны к его версии социализма, но в то же время сохраняла у них ощущение национальной независимости (хотя последней не могло быть слишком много: как идея славянского единства, так и чувство социалистического братства должны были прежде всего помогать становлению «новых демократий», ориентирующихся на Советы). В 1945 г. многие в Центральной и Восточной Европе, конечно, понимали, что как межвоенные авторитарные режимы, так и западный капитализм доказали свою полную несостоятельность и что настало время революционных перемен. Ни в одной стране коммунисты не пришли к власти демократическим путем, но было бы неправильно думать, что по этой причине все эксперименты по установлению «народных демократий» были с самого начала лишены легитимности¹⁰⁵. Поначалу

105. По формулировке венгерского интеллектуала Гаспара Миклоша Тамаша: «Это верно, что диктатура коммунистической партии была принесена в мелкие восточноевропейские страны победоносными войска-

не всегда было понятно, куда они движутся. Однако вскоре неопределенность была рассеяна взятым Сталиным и его последователями на местах курсом на запугивание и подталкивание на выборах.

Почти все вновь пришедшие к власти коммунистические вожди находились во время войны в Москве либо боролись с нацизмом в собственных странах. На более молодых из них лежала печать страха — они хорошо понимали, что ожидало «недочеловеков» в новой Европе Гитлера. Для этой группы победа Сталина над нацизмом доказывала историческую правоту советского коммунизма. Чешский интеллектual Зденек Млынарж описал особую ментальность тех, кому в конце войны было примерно по двадцать лет и кто стал пылким сталинистом: «Мое поколение, захваченное бурным развитием событий, увлеклось политикой слишком рано, не успев накопить политического опыта. Мы знали только войну и оккупированную Чехословакию, но и этот опыт был, скорее, детским. Наше видение мира оказалось поэтому черно-белым: либо — враг, либо — враг врага». «Мы были дети войны, но никогда не сражались. Психологию военных лет мы привнесли в первые послевоенные годы, когда, казалось, наступила наша очередь вступить в борьбу»¹⁰⁶.

Как и сталинский Советский Союз, центрально- и восточноевропейские режимы отчасти использовали язык демократических ценностей: они призывали к формированию «национальных фронтов» из номинально независимых партий и союзов, сотрудничающих в деле построения социализма, а также к постоянному участию масс в политической жизни как единственной подлинной форме демократии. В Венгрии в 1949 г. по стране было разослано 200 000 агитаторов для мобилизации 6 миллионов избира-

ми Сталина, но следует признать, что мы были к ней готовы». Понятие «народной демократии» обозначало переходное состояние между буржуазной демократией и полноценной социалистической демократией. В теории народная демократия означала «власть трудящихся», однако вызвала массу споров, и главным вопросом был следующий: могут ли существовать независимые дороги к социализму, или все должны стремиться к модели СССР?

106. Zdeněk Mlynář, *Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism*, trans. Paul Wilson (New York: Karz, 1980), 1–2.

телей. И хотя исход выборов был предрешен, лидеры все же были обеспокоены количеством реально поданных за них голосов и устраивали целые театральные представления, которые должны были создать видимость участия населения в демократической жизни¹⁰⁷. «Народные демократии» Центральной и Восточной Европы подавали себя как прямых *демократических* конкурентов Запада. Георг Лукач заявил на конференции европейских интеллектуалов в Женеве в сентябре 1946 г.: «Сегодня Европа борется за свой новый облик. Формально эта борьба ведется между различными типами демократии. Но на деле вопрос заключается в том, останется ли демократия правовой и политической по своей форме или же станет реальной жизненной формой народа. И за этой проблемой стоит природа политической власти. Должна ли она ограничиваться двумя сотнями семей, или она должна быть передана рабочим массам? На мой взгляд, новую Европу может создать только идеологическое и политическое тождество с массами»¹⁰⁸.

Вскоре Сталин изменил тактику и попытался заставить все «народные демократии» последовать советской модели, иначе говоря — сталинизму.

Иллюзия, будто сталинский Советский Союз продвинулся дальше всех по пути к «идеологическому и политическому тождеству с массами», была рассеяна «секретной речью» Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 г. Часто упускается из виду, что Хрущев разоблачал Сталина главным образом для того, чтобы подстраховаться и предотвратить расследование собственной деятельности. Сталин осуждался лишь за «игнорирование норм партийной жизни» и «попрание ленинского принципа коллективного партийного руководства», но при этом щадилась сталинская система в целом. Хрущев превозносил роль ленинской партии (и ее «неразрывную связь с массами») как правильной модели «против попыток противопоставить „героя“ массам, народу». Иначе говоря, народу напоминалось, кто настоящий герой: это была партия¹⁰⁹.

107. Árpád von Klimó, *Ungarn seit 1945* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), 63.

108. Цит. по: Kadarkay, *Lukács*, 385.

109. Speech by N. S. Khrushchev on the Stalin Cult delivered Feb. 25, 1956, at a closed session of the 20th Congress of the Soviet Communist Party // *Khrushchev*

И все же советские граждане не могли не заметить, что начались перемены, а вместе с ними изменились и публичные оправдания режима, которые тот предлагал народу. Хрущев не привлекал оппонентов к ответу на показательных процессах и не убивал их, а отсылал подальше, назначая, например, директорами цементных заводов¹¹⁰. Появилось небольшое пространство для интеллектуального и артистического инакомыслия, хотя по большей части это было результатом внутрикремлевских междоусобиц. В 1962 г. с личного разрешения Хрущева был опубликован небольшой рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», откровенное повествование об одном дне в лагерях (достаточно терпимом дне по сравнению с тем, что, например, рассказывала Гинзбург, или тем, что сам Солженицын описал десять лет спустя в «Архипелаге ГУЛАГ»).

Принцип «социалистической законности» был официально провозглашен в 1953 г. (но не породил новых надежд: он уже оглашался обвинителями на сталинских процессах 1930-х гг.). Вместе с этим новым акцентом на правовом формализме делались попытки конституционных корректировок: в частности, были разделены посты главы государства и первого секретаря партии. Правление от имени (искусственной) коллективной, а в случае Сталина личной харизмы уступало место правлению, которое, по крайней мере в теории, отвечало правовым процедурам и потому могло быть названо «рациональным» (в смысле Вебера), несмотря на то что центральное планирование способствовало высокому уровню экономической иррациональности. Последнее не оставалось незамеченным, но предложенное решение проблемы — «больше демократии», понятое как сокращение разрыва между бюрократией и народом через периодическую смену партийных чиновников, — только ускори-

Speaks: Selected Speeches, Articles, and Press Conferences, 1949–1961, ed. Thomas P. Whitney (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1963), 207–65; here 220 and 208. Разоблачения вызвали глубокий шок: в зале, где выступал Хрущев, люди падали в обморок и, как говорят, слышался истерический смех. Запад отправлял через железный занавес небольшие воздушные шары с привязанными к ним копиями выступления.

110. Robert Service, *A History of Twentieth-Century Russia* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997), 331–55.

ло падение Хрущева. Организаторы переворота с целью его смещения обещали «кадровую стабильность» вместо «кампаний по демократизации»¹¹¹.

Польский поэт Чеслав Милош писал: «С логической точки зрения, становится ясно, что интеллектуальный террор является принципом, от которого ленинизм-сталинизм никогда не сможет отказаться, даже если одержит победу в мировом масштабе». В каком-то смысле это было верно, за тем исключением, что интеллектуальный террор осуществлялся со все большими интервалами и все меньше затрагивал обычных людей. Казалось, что речь теперь идет о сделке (хотя «сделка» была слишком громким словом: заключая сделку, люди, в отличие от партии, мало что могли предложить со своей стороны). От людей требовалось всего лишь послушание, а еще лучше — отказ от политики в обмен на материальные блага или хоть что-нибудь, выглядящее как неявное согласие ради потребления. А искренних заверений в идеологическом тождестве требовалось все меньше и меньше. По сути дела, культ личности остался позади, его заменил не требовавший энтузиазма «культ государства», которое теперь разделяло с партией по крайней мере часть ее (исчезающей) харизмы¹¹². И то, что при Сталине можно было смело назвать «идеократией» — господством идей и господством через идеи, — уступило место тому, что французско-греческий философ Корнелиус Касториадис окрестил «стратократией», а именно господству военных и бюрократии, аккумулировавших власть ради власти (и, конечно, ради личной выгоды). Произносящий речи большевик все еще был востребован, но молодежь прекрасно видела, что перед ней просто хорошо продуманный (и унылый) фасад — то, что болгарский интеллектуал Цветан Тодоров, вспоминая о своей юности, которая пришлась на 1950-е гг., называл «псевдоидеократией»¹¹³. Другими словами, в режим почти никто не верил, и все об этом знали. Казалось, что сталинизм умер навсегда. После поездки в 1956 г. в СССР Исайя Берлин рассказывал, что, по словам его русских собеседников, «возвра-

111. Priestland, *Soviet Democracy*, 121–3.

112. Moshe Lewin, *Bureaucracy and the Stalinist State* // Kershaw and Lewin (eds), *Stalinism*, 53–74.

113. Todorov, *Hope and Memory*, 44.

щение к этим кошмарам казалось немыслимым», хотя, добавлял он, «в России нет ничего немыслимого»¹¹⁴.

Но иногда немыслимое в мире коммунизма все же случалось: Югославия доказала, что Сталину можно противостоять во имя национализма, заявляя при этом о строительстве истинного социализма. Лидер страны маршал Тито, в прошлом руководитель единственного по-настоящему успешного движения сопротивления нацистам, поколебал представление о глобальном едином коммунистическом движении, де-факто совершив грех «фракционности» на межгосударственном уровне¹¹⁵. Это было важнейшее событие в истории коммунизма: впервые выученик Коминтерна, человек, которого продвигал Кремль, бросил успешный вызов Советскому Союзу и притязаниям Сталина (и его преемников) на монопольное владение истиной¹¹⁶.

В результате Югославия стала предметом многих восточных и особенно западных надежд, оказавшихся по большей части иллюзорными. Страна гордилась тем, что осуществила на практике рабочее самоуправление и в каком-то смысле выполнила не исполненные Советским Союзом обещания создать подлинные Советы. Впрочем, самоуправление вводилось сверху, чтобы обеспечить народную поддержку в тот момент, когда режим подвергался прямым угрозам со стороны Сталина и «братских социалистических стран», экономические и политические системы которых югославы теперь отвергали как «государственный капитализм»¹¹⁷.

Главным теоретиком особого «югославского пути к социализму» был Милован Джилас — серб, родившийся в деревне в горах Черногории. Его отец был офицером, а деды не ладили с законом в этой маленькой горной стране на Адриатике. Джилас воевал в коммунистическом партизанском отряде, встречался со Сталиным в Москве в 1944 г. и считался вероятным преемником Тито. В начале 1950-х гг., заняв пост вице-президента и члена Исполнительного бюро ЦК,

114. Isaiah Berlin, *The Soviet Mind: Russian Culture under Communism*, ed. Henry Hardy (Washington, DC: Brookings, 2004), 120.

115. David Pryce-Jones, *Remembering Milovan Djilas* // *New Criterion*, vol. 18 (October 1999), 4–9.

116. Vladimir Tismaneanu, *Reinventing Politics* (New York: Free Press, 1992), 46–7.

117. *Ibid.*, 48–9.

он написал серию пронизательных аналитических работ о путях развития Югославии. Призывы к расширению демократии стоили ему в 1954 г. изгнания из правительства и потери всех партийных постов (его партийный билет значился под номером четыре). Джилас дал интервью газете *New York Times*, надеясь, что зарубежное внимание обеспечит хоть какую-то меру личной безопасности. Однако известность не помогла: сенсационные откровения Джиласа обернулись судом, обвинением и тюремным сроком. В тюрьме, используя туалетную бумагу, он писал роман и переводил на сербский «Потерянный рай» Мильтона.

Рукопись его «Нового класса» удалось тайно переправить в Нью-Йорк. В книге говорилось о появлении слоя привилегированных бюрократов, которые предали революцию ради личного обогащения. Согласно Джиласу, «коммунисты поступали точно так же, и иначе поступать они не могли, как все правящие классы и правители до них: веруя, что создают новое идеальное общество, они строили свое, такое, какое только и были в силах выстроить»¹¹⁸. В частности, писал он, отношение нового класса к средствам производства является отношением политического контроля, который партийные бюрократы пытаются непрестанно усиливать, чтобы удовлетворить свое тщеславие и страсть к материальным благам. Подытоживая обвинение, Джилас доказывал, что «коммунистическая революция, совершавшаяся во имя уничтожения классов, привела, не в пример прежним революциям, к сверхгосподству исключительно одного — нового класса. Все остальное — сплошной мираж и иллюзии»¹¹⁹.

Спасти честь социализма

Естественно, Джилас поддержал то, что стало самым мощным вызовом диктатурам «нового класса». Речь идет о венгерском восстании (или революции — назвать это событие так либо иначе значит дать ему ту или иную оценку) ок-

118. Milovan Djilas, *The New Class: An Analysis of the Communist System* (London: Thames & Hudson, 1957), 35.

119. *Ibid.*, 36.

тября-ноября 1956 г. Сталинистский режим в Венгрии носил особенно репрессивный характер. Попытка проведения более умеренного курса при коммунисте-реформаторе Имре Наде после 1953 г. не удалась. Надь был смещен с поста председателя правительства и исключен из партии. К 1956 г. недовольство распространилось даже внутри самой партии. «Кружок Петёфи» (названный по имени венгерского национального поэта, сыгравшего важную роль в войне 1848 г. за независимость от Габсбургской империи) выступал в качестве официально санкционированной внутренней оппозиции и вдохновлялся секретной речью Хрущева. Участники кружка и становившиеся все более радикальными студенты поддерживали реформы в Польше и требовали восстановить Надя на его прежних постах.

23 октября, когда студенческие демонстрации переросли в массовые митинги, «Кружок Петёфи» потребовал: «Центральный Комитет и правительство должны применить все возможные меры, чтобы обеспечить развитие социалистической демократии, установив реальные функции партии, подтвердив законные чаяния рабочего класса и введя фабрично-заводское управление и рабочую демократию»¹²⁰. Это не был язык контрреволюции или квазифашистского национализма, как утверждало впадавшее во все большую панику правительство. Рабочие и студенческие демонстрации вышли из-под контроля и, казалось, требовали немедленного силового подавления; правительство было парализовано (что вынудило Лукача заметить: «нет ничего хуже тирании слабой руки!»)¹²¹. В этой в высшей степени взрывоопасной ситуации Надя восстановили в партии и заставили выйти к огромным толпам, собравшимся перед зданием парламента. Когда он начал традиционным «Товарищи!», в ответ послышались крики «Мы не товарищи, мы не товарищи!» Но Надь так и не смог уйти от партийного жаргона. В конце своей речи он спел национальный гимн. Люди пели вместе с ним. Как заметили два марксистских наблюдателя, хоро-

120. Цит. по: Grzegorz Ekiert, *The State against Society: Political Crises and their Aftermath in East Central Europe* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 61.

121. Ferenc Fehér and Agnes Heller, *Hungary 1956 Revisited: The Message of a Revolution — a Quarter of a Century After* (London: Allen & Unwin, 1983), 95.

шо подготовленный большевик с тридцатилетним стажем, человек, который работал бок о бок с Бухариным, казалось, не знал, что делать в реальной революционной ситуации¹²².

В конце концов Надь был назначен председателем правительства. Он продвигался к партийному плюрализму и был готов признать все легальные партии, существовавшие до начала жестоких сталинских репрессий 1946 г. (за исключением фашистских, возрождение которых решили запретить). Между тем рабочие брали власть на фабриках и формировали собственные Советы, а затем устроили всеобщую забастовку. Надь кооптировал в кабинет не-коммунистов, снова и снова повторяя, что предан делу строительства социализма в нейтральной, вышедшей из Варшавского договора Венгрии.

Назначение из рук Надя получил и Георг Лукач. В конце 1940-х гг. философ лишился работы в университете и должен был заняться «самокритикой» — как мы видели, не в первый и, как оказалось, не в последний раз. Лукач вошел в правительство Надя в качестве министра образования и культуры через три с половиной десятилетия после того, как служил народным комиссаром в правительстве Куна. Советские эмиссары Анастас Микоян и Михаил Суслов сообщали в Москву: «Утвержден Лукач — известный философ, хотя и допускающий немало путаницы в философии, но, политически говоря, более надежный и авторитетный среди интеллигенции»¹²³. По мнению Лукача, у Надя не было последовательной программы, и в любом случае «дядя Имре» не был «настоящим политиком»¹²⁴. Лукач голосовал против выхода страны из Варшавского договора. Однако Надь объявил о нейтралитете Венгрии, после чего рабочие Советы объявили о прекращении забастовки. Последовало вторжение советских войск. Лукач даже не успел переступить порог своего министерства.

Несмотря на всю непродолжительность событий, одно было несомненно: произошло, по сути, первое антисоциа-

122. Ferenc Fehér and Agnes Heller, *Hungary 1956 Revisited*, 17.

123. Report from Anastas Mikoyan and Mikhail Suslov in Budapest to the CPSU CC, October 27, 1956 // Csaba Békés et al. (eds), *The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents* (Budapest: CEU Press, 2002), 251–2; here 251.

124. Lukács, *Record of a Life*, 128.

листическое восстание (или, как пишут некоторые теоретики, произошла антитоталитарная, или по крайней мере антибюрократическая, революция), — восстание, в котором главную роль играл рабочий класс. Последнее ясно видел венгерский политик и политолог Иштван Бибо, вначале представлявший крестьянскую партию, который заметил, что «партия, состоящая главным образом из бюрократов и полицейских, *выступила против* всего рабочего класса»¹²⁵. Бибо был интеллектуалом, известным своими основательными историческими трудами и принципиальной умеренностью (иногда его называют Исайей Берлином *Mittleuropa*, Центральной Европы). Он был назначен государственным министром и завершил карьеру как последний крупный политик, оставшийся в здании парламента на берегу Дуная после его окружения советскими войсками. Бибо спрятался на втором этаже с автоматом в руках и безуспешно пытался войти в контакт с ООН и великими державами. Днем 4 ноября, принятый за рядового клерка, он сумел выбраться и распространил воззвание, которое гласило, что «Венгрия не желает проводить антисоветскую политику. Напротив, ее единственное желание — жить в сообществе свободных восточноевропейских государств, стремящихся организовать себя на принципах свободы, справедливости и отсутствия эксплуатации». После чего он был арестован, заключен в тюрьму и отдан под суд. Бибо избежал казни, а после амнистии ему разрешили работать в библиотеке. Имре Надь и другие лидеры, как и Лукач, были вывезены в Румынию. Надь судили. По его словам, процесс проходил с нарушениями социалистической законности. Его последними словами, произнесенными публично, были: «Я пытался... спасти честь слова „социализм“ в бассейне Дуная... На этом процессе... я должен пожертвовать жизнью ради моих идей. Я охотно приношу ее в жертву. После того, что вы сделали с этими идеями, моя жизнь не имеет больше никакой ценности... И только об одном тошно думать: что реабилитируют меня именно те, кто теперь убьет»¹²⁶.

125. Istvan Bibó, *The Hungarian Revolution of 1956: Scandal and Hope* // *Democracy, Revolution, Self-Determination: Selected Writings*, ed. Károly Nagy, trans. András Boros-Kazai (New York: Columbia University Press, 1991), 331–54; here 337.

126. Цит. по: Fehér and Heller, *Hungary*, 136.

Надь был приговорен к смертной казни и повешен в июне 1958 г. Лукачу позволили вернуться в Венгрию в 1957 г. Позднее он утверждал, что румынский охранник, которому поручили проводить с ним идеологическую работу, в конце концов был направлен в психиатрическую больницу.

В чем было значение 1956-го? Некоторые наблюдатели считали, что, если бы восстание достигло успеха и Венгрия отпала от военного блока, в стране могла возникнуть подлинно советская демократия или, по крайней мере, двоевластие: партий с одной стороны и Советов — с другой (без этого двоевластия ситуация могла стать нестабильной, как это имело место в России в 1917 г.)¹²⁷. Ханна Арендт считала 1956 год примером того, как люди, избавившись от давления со стороны правительства, не впали в беззакония, но сформировали для организации своей жизни Советы и комитеты. Давняя мечта о самоуправлении, казалось, вновь ожила на руинах Будапешта.

И действительно, программа, которую Янош Корнай и другие молодые экономисты составляли для Надя, содержала элементы «рыночного социализма», а также «демократии рабочего места». Корнай и его коллеги настаивали на том, что национализация и программы социального обеспечения должны быть продолжены¹²⁸. Это соответствовало написанному Бибо «Проекту компромиссного решения венгерского вопроса». Составленная им конституция основывалась на двойном отрицании венгерским народом и фашизма, и сталинизма; в ней утверждалась полнота гражданских свобод и демократия. Но Бибо отвергал предложение аннулировать экспроприации земли и фабрик в 1940-х гг., неявно допуская, что даже наихудший вид государственного социализма означает какую-то меру модернизации, поскольку подрывает власть реакционных крупных землевладельцев. Таким образом, потенциально получалось уникальное сочетание социализма и рабочего самоуправления в промышленности, экономического либерализма в сельском хозяйстве, парламентской демократии и, нако-

127. Fehér and Heller, *Hungary*, 103–4.

128. János Kornai, *By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006), 101.

нец, некоторой формы «антиимпериалистического национализма»¹²⁹.

Однако ситуация менялась слишком быстро, чтобы мог появиться какой-то реальный институциональный план или выкристаллизоваться твердый общественный консенсус, отличный от антисталинистского. Чаяния истинно народного движения, сформировавшегося снизу, обогнали (в любом случае в высшей степени импровизированные) цели коммунистов-реформаторов, находившихся у власти¹³⁰. Тринадцатидней было слишком мало для революции в условиях, когда самая «революционная» сверхдержава ее не поддерживала, хотя, как указывали критически настроенные марксисты, то, что произошло в Будапеште, подошло максимально близко к реализации сухого партийного лозунга о «процессе революционного самовоспитания масс»¹³¹.

Подавление восстания 1956 г. не означало, что все осталось по-прежнему. В каком-то смысле триумф политики консенсуса в Западной Европе повторился на Востоке, пусть и в гораздо более скромных масштабах. Но речь шла не о «конвергенции» Востока и Запада, как доказывал целый ряд аналитиков в конце 1950-х гг. Пришедшее после 1956-го венгерское правительство предложило консюмеризм, хотя и в убогой, по сравнению с Западной Европой, форме, в обмен на политическое послушание или (что было бы с точки зрения режима даже лучше) цинизм. Это была стабильность практически любой ценой. В частности, такой ценой, на взгляд партии-авангарда, могла быть идеологическая апатия. Янош Кадар, назначенный после подавления восстания и выполнявший указания Москвы, объявил вместо тотальной мобилизации прямо противоположный принцип: «Кто не против нас, тот за нас». Он даже публично заявил, что «люди существуют не для того, чтобы мы проверяли на них правоту марксизма»¹³², и, насколько это было возможно, убрал политику из жизни людей. Западные

129. François Fejtő, *1956, Budapest, l'insurrection: La première révolution anti-totalitaire* (Brussels: Complexe, 2006), 176.

130. Tismaneanu, *Reinventing*, 70.

131. Fehér and Heller, *Hungary*, 89.

132. Цит. по: Robert Service, *Comrades! A World History of Communism* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007), 382.

аналитики заговорили о «коммунизме благоденствия» или, говоря проще, о «гуляш-коммунизме», а иногда доходили до заявлений, что режим достиг «легитимации через компромисс», хотя на самом деле речь шла просто о том, чтобы усмирить общество¹³³. Чтобы не раздражать Москву, рассудительный Кадар всячески избегал называть то, что он делал, «моделью»¹³⁴.

Однако коммунизм благоденствия стоил недешево, и постепенно странам Центральной и Восточной Европы пришлось во все большей степени опираться на западные кредиты, чтобы поддерживать неявный общественный договор. Никто не мог разрешить проблему, которую Корнаи называл «смягчением бюджетного ограничения»: не существовало рынка, который мог наказать неэффективные предприятия, и не было никаких ограничений на потребление. Имел место неразрешимый конфликт между соображениями эффективности и этическими принципами истинно социалистической экономики¹³⁵.

По иронии судьбы, как раз тогда, когда некоторые «народные республики» более или менее открыто отказывались от тоталитарных устремлений, в среде западных интеллектуалов из числа сторонников марксизма нарастало чувство разочарования. После 1956 г. можно было все реже услышать аргументы вроде того, что «русский социализм имел перед мечтой о безупречном социализме то преимущество, что он существовал». Все реже звучали и бухгалтерские сравнения «страданий людей, посаженных русскими в тюрьму» с жертвами западного колониализма. Сартр пока еще писал: «Следует ли называть социализмом это кровавое чудовище, которое терзает самого себя? Я решительно отвечаю: да»¹³⁶. Однако для все большего числа людей на левом фланге искренний ответ должен был состоять в том, чтобы сказать: нет.

133. Fehér and Heller, *Hungary*, ix.

134. Fejtő, 1956, 172.

135. János Kornai, *The Dilemmas of a Socialist Economy: The Hungarian Experience* (Dublin: Economic and Social Research Institute, 1979), 9.

136. Beauvoir, *Force*, 211–12; Бовуар С. де. *Сила обстоятельств*. С. 149.

Череп, который никогда больше не улыбнется

Пределы толерантности, которые могла себе позволить Москва по отношению к своим сателлитам, и способность коммунизма к реформированию самого себя должны были пройти еще одну проверку. «Пражская весна» 1968 г. стала последней серьезной попыткой реформы советского социализма изнутри, прежде чем к власти пришел Михаил Горбачев. Под руководством Александра Дубчека Коммунистическая партия Чехословакии намеревалась построить то, что было оптимистически названо «новой моделью социалистического общества, глубоко демократического и учитывающего чехословацкие условия». Это должен был стать, как гласила броская фраза, «социализм с человеческим лицом». В соответствии с концепцией ведущего теоретика реформ экономиста Ота Шика, в стране вводились элементы рынка и был ослаблен контроль над ценами. Оглядываясь назад, Дубчек настаивал, что «ни мои союзники, ни я сам никогда не думали о демонтаже социализма, несмотря на расставание с различными догмами ленинизма... Мы верили также, что социализм сможет лучше функционировать в рыночно ориентированной среде». И все же, как он достаточно быстро понял, Советы не собирались этого терпеть: «Должен сказать, что это предложение было немедленно сочтено Советами началом возвращения к капитализму. Брежнев прямо выдвинул такое обвинение во время одной из наших бесед, происходивших в течение ближайших нескольких месяцев. Я ответил, что частный сектор нужен для того, чтобы улучшить рыночную ситуацию и облегчить жизнь людей. Брежнев тут же повысил голос: „Мелкие ремесленники? Мы с этим знакомы! Ваш г-н Бата когда-то был сапожником, а потом построил фабрику!“ Речь шла о ленинской канонической фразе насчет мелкого частного производства, рождающего капитализм „ежедневно и ежечасно“. И ничего нельзя было сделать, чтобы побороть догматическую паранойю Советов».

И все же предсказать результат было трудно. В начале 1960-х гг. Чехословакия стояла перед несомненным полити-

ческим и экономическим кризисом¹³⁷. Когда-то высокоразвитая часть Габсбургской империи, гораздо более богатая, чем Италия, она имела теперь самые низкие в восточном блоке показатели уровня жизни. Многие молодые люди, получившие высшее образование, особенно технические специалисты, могли рассчитывать только на рабочие места, которые не требовали высокой квалификации. Десталинизация прямо отвергалась: в 1957 г. партийная газета «Руде право» писала в редакционной статье: «Не имеющее определенного смысла слово „десталинизация“ обозначает лишь послабления и уступки силам реакции...»¹³⁸.

Новая конституция, обнародованная в 1960 г., гласила, что в стране построен социализм (название страны было изменено на Чехословацкую Социалистическую Республику); правительство настаивало также, что в «общенародном государстве» преодолены «классовые антагонизмы». Понятие «общенародности» вдохновлялось хрущевским, а может быть, и сталинским проектом формирования нового советского народа. Подхватив это заявление, правоведы требовали обеспечить реальную «социалистическую законность» вместо насилия, связанного с описанным Млынаржем манихейским мышлением. Ему и другим людям, ставшим в 1940-х гг. пламенными сталинистами, было по теперь тридцать пять или даже сорок с небольшим лет. Побывав в Югославии, Млынарж был поражен введенной там системой самоуправления. Еще большее впечатление на него произвели Италия, а затем Бельгия, где проходила Брюссельская всемирная выставка. Его политические соратники ежедневно убеждались в том, что государственный социализм не выполнил своих обещаний, и многие искренне пытались понять, почему это произошло. Социология была реабилитирована как дисциплина, и вскоре специалисты показали, что в стране продолжало существовать социальное расслоение¹³⁹.

137. Vladimir Kusin, *The Intellectual Origins of the Prague Spring: The Development of Reformist Ideas in Czechoslovakia, 1956-1967* (New York: Cambridge University Press, 1971).

138. Цит. по: James H. Satterwhite, Introduction // Karel Kosík, *The Crisis of Modernity: Essays and Observations from the 1968 Era*, ed. James H. Satterwhite (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1995), 1-11; here 4.

139. Jan Pauer, *Prag 1968: Der Einmarsch des Warschauer Paktes* (Bremen: Edition Temmen, 1995).

Тем не менее все проблемы, как теперь считал режим, можно было решить за счет продвижения «научно-технической революции». Эта задача казалась осуществимой, учитывая, что Советы только что запустили в космос первый спутник и на равных соревновались с Западом по крайней мере в некоторых областях технологии. Партия создала ряд исследовательских комиссий, во главе которых поставила экспертов. Эксперты заявили, что технология сегодня обеспечивает реальный экономический прогресс и что технократов следует считать представителями прогрессивного рабочего класса. Революционер-марксист отныне мог быть инженером или программистом, а «освобожденный, неотчужденный свободный агент истории носил белый воротничок»¹⁴⁰.

Интеллектуалы чувствовали перемены и способствовали их продвижению. Карел Козик в молодости был сталинистом, воевал с нацистами в рядах Сопротивления и в конце концов был брошен в концлагерь Терезиенштадт. Он учился в Ленинграде и впоследствии стал профессором философии Карлова университета в Праге. Козик считал «практику» центральным понятием гуманистического марксизма. Другие интересовались экзистенциализмом и Гамши. Социализм в искусстве был отвергнут вместе со сталинистской политической мыслью. По иронии судьбы, появление более субъективного и гуманистического марксизма было связано с ростом влияния новой технократической интеллигенции.

После прихода Дубчека к власти в январе 1968 г. цензура была сначала ослаблена, а затем полностью отменена. Он все время настаивал, что от монополии партии на власть не следует отказываться: реформа ни в коем случае не должна была угрожать «партии-государству»; ее целью было лишь расширение «пространства» или «границ» [политического] участия¹⁴¹. Партии, ведущая роль которой была закреплена в конституции 1960 г. (пример, которому последовали многие другие социалистические государства), необходимо было подтвердить свой статус и стать проводником прогресса. Для решения проблем общества ей требовались лучшие

140. Kieran Williams, *The Prague Spring and its Aftermath* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 10.

141. *Ibid.*, 3.

и самые блестящие кадры; она должна была стать инструментом познания, а не принуждения¹⁴². В конце концов, в отличие от других стран Центральной и Восточной Европы, фактом оставалось то, что после войны коммунисты здесь (но не в Словакии) действительно победили на выборах. Это питало иллюзию, что коммунизм все еще располагает полноценной народной легитимностью.

Млынарж пошел дальше. Став в апреле 1968 г. одним из авторов «Программы действий», он призвал к синтезу социалистической экономики и развитой плюралистической демократии, хотя, подстраховываясь, делал оговорку, что все группы и интересы могут быть в конце концов вновь «объединены». Это представление должно было реализоваться в некоторой форме корпоративизма, в котором руководимые государством представители тех или иных кругов могли выражать требования работников на производстве, в сельском хозяйстве и в сфере услуг¹⁴³. По Млынаржу, самой партии следовало до поры до времени сохранять ведущую роль, но не «присматривать» за обществом, а вернуться к своей харизматической роли, чтобы «вдохновлять на социалистическую инициативу... и привлекать всех рабочих на свою сторону систематическим убеждением и личным коммунистическим примером»¹⁴⁴. Партия, считал Млынарж, должна была готовиться к борьбе (и победе) на свободных выборах, которые предполагалось провести ближе к концу 1970-х гг. В отличие от него, Лукач в ходе событий 1956-го полагал, что полностью обновленная коммунистическая партия могла получить на выборах 10% голосов¹⁴⁵.

Дубчек, по-видимому, рассчитывал на то, что Москва не станет вмешиваться, если Чехословакия не предпримет

142. Kieran Williams, *The Prague Spring and its Aftermath*, 15.

143. *Ibid.*, 18.

144. The CPCz CC Action Program, April 1968 // *The Prague Spring 1968*, ed. Jaromír Navrátil et al. (Budapest: CEU Press, 1998), 92–5; here 92.

145. *Ibid.*, 27, and Fehér and Heller, *Hungary*, 109. Другие начали требовать справедливого конституционного суда, составлялись также планы установления демократии через рабочие Советы. Это вынудило Козика заявить, что на самом деле «радикальная демократия» и рабочее представительство — две совершенно разные вещи. См.: Kosík, A Word of Caution on Workers' Councils // Kosík, *Crisis*, 209–10.

шагов, направленных на выход из Варшавского договора (что, с его точки зрения, было ключевой ошибкой Венгрии). В глазах многих наблюдателей, «управляемая либерализация» действительно повышала легитимность компартии, на каком бы уровне она ни находилась в тот момент¹⁴⁶. В отличие от того, что происходило в Венгрии в 56-м и в Польше в начале 1980-х гг., в Чехословакии люди не выступали *против государства*, потому что, как это формулировал Козик, реальное противостояние имело место между старой партийной элитой с одной стороны и «партийными массами» вместе с «не-партийными массами» — с другой.

И все же Москва не могла дать санкцию на возможную потерю коммунистами власти. 21 августа войска стран Варшавского договора с грохотом вошли на улицы Праги. Гораздо позднее, в беседе с Михаилом Горбачевым, Млынарж рассказал, что произошло с руководством и социалистическими убеждениями: «Мы... были в конференц-зале вместе с Дубчеком, когда в помещение ворвались солдаты советской Таманской дивизии. Один из них сел прямо за нами и уставил нам в спины автомат Калашникова. Концепция социализма в такой момент отходит на задний план, но подсознательно ты все же понимаешь, что имеется прямая связь между этой концепцией и нацеленным тебе в спину автоматом»¹⁴⁷.

Дубчека заставили провести то, что получило эвфемистическое наименование «нормализации», после чего сместили, исключили из партии и направили трудиться в чешское лесное хозяйство. Козику вынудили покинуть ряды партии и запретили что-либо публиковать. Тайная полиция несколько раз изымала даже предварительные заметки, которые он делал. Млынаржа тоже исключили из партии, спустя почти четверть века после того, как он в нее вступил. Поступив на работу в Национальный музей, он посвятил себя изучению жуков. Шик, заместитель Дубчека в летние месяцы 1968 г., эмигрировал в Швейцарию. Он заявил, что Запад продвигается к «государственно-бюрократической» форме экономики, в то время как Восток попал в ловушку «госу-

146. Ekiert, *State*, 123.

147. *Mikhail Gorbachev and Zdeněk Mlynář, Conversations with Gorbachev: On Perestroika, the Prague Spring, and the Crossroads of Socialism*, trans. George Shriver (New York: Columbia University Press, 2002), 40.

дарственно-монополистического капитализма» советского образца, и что разумным является только третий путь — истинного демократического социализма¹⁴⁸. Другие заняли более скептическую позицию. Венгр Корнаи, теперь работавший на полставки в Гарварде, настаивал, что «история не предоставляет таких супермаркетов, в которых можно выбрать что душе угодно»¹⁴⁹.

В ответ на события в Праге Леонид Брежнев объявил, что ослабление любого звена в мировой системе социализма прямо влияет на все социалистические страны, и они не могут взирать на это безучастно. Это неприкрытое напоминание о власти Советов, вскоре названное «доктриной Брежнева», привело чешского писателя Милана Кундеру к апокалиптическому выводу: «На самом деле речь идет, за дымовой завесой политической терминологии (революция, контрреволюция, социализм, империализм и т. д. и т. п.), ни о чем другом, как об изменении границ между двумя цивилизациями: российская империя раз и навсегда завоевала часть Запада, часть Европы... Когда-нибудь русские мифотворцы напишут об этом как о новой заре истории. Я вижу в этом (правильно или нет) начало конца Европы»¹⁵⁰.

Но политическая терминология все же *имела* значение. События 1968 г. знаменовали собой не закат Европы, а начало конца коммунизма. «Пражская весна» стала последним случаем, когда «реформаторский коммунизм» или «ревизионизм» был поддержан на Востоке и Западе. В 1974 г., после своего выдворения из Польши, Лешек Колаковский категорически заявил по поводу марксистского ревизионизма, ведущим поборником которого он сам являлся в 1950-х гг.: «Этот череп никогда больше не улыбнется»¹⁵¹.

Венгерское восстание серьезно, но далеко не окончательно дискредитировало друзей коммунизма на Западе. Подавление «пражской весны» как своего рода позднего «ответв-

148. Ota Šik, *Argumente für den Dritten Weg* (Hamburg: Hoffmann & Campe, 1973).

149. Kornai, *Dilemmas*, 18.

150. Milan Kundera, *The Joke*, trans. Michael Henry Heim (New York: Harper & Row, 1982), x.

151. Leszek Kolakowski, My Correct Views on Everything: A Rejoinder to Edward Thompson's «Open Letter to Leszek Kolakowski» // *Socialist Register* (1974), 1–20; here 20.

ления хрущевизма» покончило с любыми надеждами на то, что правящая коммунистическая партия способна реформировать саму себя в условиях, когда существует нереформированный Советский Союз¹⁵². Многие западные социалисты потеряли всякую веру в «народные демократии». Например, британский социалист Ральф Милибэнд, который все еще благосклонно относился к Советскому Союзу во время своего визита в эту страну в 1961 г., писал другу в 1968 г. по поводу «чешских дел» (и по поводу студенческих волнений во Франции), что «у меня нет настоящего понимания» происходящего и что «я... совсем запутался». Но для многих наблюдателей на левом фланге путаница исчезла, как только они увидели, как разворачивается чешская «нормализация». Милибэнд тут же заявил, что восточный блок состоит из «бюрократических коллективистских» государств¹⁵³. Искренняя или, быть может, не очень искренняя вера очень многих представителей левого фланга на Западе, что режимы, несмотря на все их существенные недостатки, все же так или иначе продвигаются к социализму, было разбито вдребезги.

Понятие «реформаторского коммунизма» отличалось внутренней противоречивостью: оставалось непонятным, каким образом ленинская партия-авангард собирается отменить саму себя на пути к коммунизму. Не было такого объяснения и в конце 1960-х гг. Его не появилось вплоть до самого конца Советского Союза. Таким образом, «ведущая партия» не могла избавиться от того, что Имре Надь называл «бонапартистским духом диктатуры меньшинства», если только, подобно некоторым чешским реформаторам, она не рассматривала свои самые первые выборы как обеспечившие достаточную легитимность для того, чтобы достичь такого (более или менее неизвестного) момента в будущем, когда привлекательность построенного социализма станет настолько неотразимой, что это каким-то образом оправдает период, в который выборы не проводились¹⁵⁴.

152. Tismaneanu, *Reinventing*, 114.

153. Michael Newman, *Ralph Miliband and the Politics of the New Left* (London: Merlin Press, 2002), 146 and 143.

154. Цит. по: Tismaneanu, *Reinventing*, 72.

Но это было явным преувеличением. На роль харизматического института не годилась ни одна из партий-авангардов, наполовину самопровозглашенных, а наполовину провозглашенных Советами. В первые послевоенные годы они выглядели убедительно как борцы с фашизмом, но когда время прошло, остались только традиционализм и «бюрократизм» самого дурного толка. И положение продолжало ухудшаться. В Польше Адам Михник сделал вывод, что «не бывает не-тоталитарного правящего коммунизма», хотя развитие событий в Венгрии после 1956-го и могло навести на мысль о его существовании. А вот *не-авторитарного* коммунизма действительно не существовало: без террора можно было и обойтись, а без полицейского государства — нет. Оглядываясь назад, Млынарж извлек именно этот урок: рассчитывать можно было в лучшем случае, полагал он, на нечто вроде кадаровской Венгрии, на версию развитого хрущевизма с изрядной долей цинизма; но «в таком случае вряд ли вообще стоило что-либо затевать»¹⁵⁵. В простой формулировке Вацлава Гавела, «веселье явно закончилось», и началась «эпоха серого, повседневного тоталитарного консьюмеризма»¹⁵⁶. Тезис, которого до конца жизни придерживался Георг Лукач, а именно что даже худшая форма социализма лучше самой лучшей формы капитализма, перестал казаться самоочевидным¹⁵⁷.

Чехословацкий реформаторский коммунизм имел ярко выраженные технократические черты, его отличала вера во всеобъемлющую социальную инженерию (или, скорее, ре-инженерию), осуществляемую при помощи экспертов, в частности экономистов и социологов. Правда, звучали призывы к созданию рабочих Советов и самоуправлению, однако, учитывая идеологическое давление (отличавшее Чехословакию от Венгрии), что еще могли говорить ре-

155. Цит. по: Jacques Rupnik, *The Other Europe* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1988), 256–7.

156. Цит. по: Gale Stokes, *The Walls Came Tumbling Down: The Collapse of Communism in Eastern Europe* (New York: Oxford University Press, 1993), 12, and Barbara J. Falk, *The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe: Citizen Intellectuals and Philosopher Kings* (Budapest: CEU Press, 2003), 209.

157. Колаковский якобы ответил на это: «Ну да, преимущества Албании над Швецией очевидны».

форматоры? Таким образом, здесь не было почти никакого сходства с другим, западным 1968-м, к которому мы сейчас перейдем. Не имея политических последствий, сравнимых с теми, к которым привела «пражская весна», западный 1968-й стал наиболее ярким выражением бунта против технократии, против того, что Лукач называл «кибернетической религией», согласно которой машины должны были полностью взять на себя управление миром. Но он был направлен также против послевоенной политики консенсуса, против понимания демократии как серьезно ограниченного парламентаризма и против набиравшего все большую силу административного государства. В Праге движение реформаторов стремилось к минимальному плюрализму и конституционализму. В отличие от него, западный 1968 год носил глубоко антиконституционалистский характер.

ГЛАВА 5

Новое время споров: в направлении общества без отца

Государство применяет монополию на физическое насилие и потому претендует на безграничную привилегию решать, что является обменом идеями, а что — обменом ударами. Под предлогом защиты свободы чистых идей оно наделяет себя свободой определять, что является идеей, а что нет. Монополизируя использование силы и тем самым определяя использование идей, государство в конечном счете провозглашает: «Я — единственный философ».

Андре Глюксман, июль 1968 г.

У нас нет никакого желания захватывать государство, подобно Троцкому или Ленину, но мы хотели бы захватить власть во всем мире, что является значительно более трудным делом, а также более общим, более постепенным и менее зрелищным. Наши методы будут меняться в соответствии с эмпирическими фактами, которые мы встретим здесь и теперь, там и потом... захват власти в мире должен быть в самом широком смысле культурным.

Член Ситуационистского Интернационала

У демократии нет оснований благосклонно относиться как к принципу власти вообще, так и к идеалу фюрера в частности. Отец — архетип власти, первый опыт всякой власти, и поэтому демократия является, по самой своей идее, обществом без отца.

Ганс Кельзен

Мужчины должны научиться молчать. Это, вероятно, очень мучительно для них... Еще не пережито такое важное событие, как май 68-го, а мужчины уже высказываются, формулируют теории и нарушают тишину. Да, в мае 68-го эти трепачи вновь принялись за свои фокусы.

Маргерит Дюрас, 1973 г.

Иллюзии, в той мере, в какой они направляют политическое действие, могут иметь реальные исторические последствия. Они открывают альтернативы и не растворяются без остатка в истории, которая определена законами движения и структурными ограничениями.

Ульф Кадрицке, немецкий студенческий лидер

XX ВЕК показал, сделав это совершенно чудовищным образом в Первой и Второй мировых войнах, что Европа перестала быть центром мировой политики. Менее

очевидным и, конечно, не столь бесчеловечным способом это доказали 1960-е гг. В это десятилетие политическая и культурная неудовлетворенность проявилась на всей планете — ЦРУ тогда ссылалось на «общемировой феномен беспокойной молодежи» (другой американский институт, журнал *Time*, даже объявил в 1967 г. молодежь «человеком года»). За пределами Западной Европы происходили очень серьезные события: вьетнамская война, жестокое подавление студенческого протеста в Мексике, культурная революция в Китае, а в Центральной и Восточной Европе — разгон польского марша (по сути, первый студенческий мятеж 68-го года, беспощадно подавленный партией-государством, которое к тому же развязало злобную антисемитскую кампанию, чтобы расколоть интеллектуалов и рабочих) и «пражская весна». В Западной Европе ничего подобного не происходило. И все же именно она породила культовые образы 68-го. К западу от Чехословакии, как часто отмечалось, «никто не погиб», не пало ни одно правительство и, разумеется, не произошло ничего даже отдаленно напоминавшего вторжение 170 тысяч солдат стран — членов Варшавского договора в маленькую страну, строившую социализм с человеческим лицом. Даже не особенно консервативным наблюдателям и 1968-й, и все в целом 1960-е гг. казались игрой в революцию, затеянной мелкой группой избалованных детей. Раймон Арон, ведущий французский либерал своего времени, презрительно характеризовал 1968-й как обычную «психодраму» (оценка, с которой были согласны и коммунисты, такие как Эрик Хобсбаум). Эрнест Геллнер, британский социальный антрополог чешского происхождения, констатировал «безумную логику семейной ссоры». И даже некоторые главные действующие лица в конце концов пришли к выводу, что это был гигантский «костюмный спектакль»¹.

Различные происходившие в 1960-х гг. «события» сопровождались таким количеством мифов, или, употребляя более нейтральный термин, такой коллективной памятью, что трудно понять не только то, что же именно происходи-

1. Thomas Hecken, 1968: *Von Texten und Theorien aus einer Zeit euphorischer Kritik* (Bielefeld: transcript, 2008), 135–48. В этом костюмном спектакле разные люди рядились, например, Лениными или Робеспьерами. Но Арон всегда являлся в костюме Токвиля.

ло (если вообще происходило) на самом деле, но и каковы были намерения главных действующих лиц. Одни наблюдатели считали, что в 68-м родилось европейское левое либертарианство. Другие говорили о возвращении политического романтизма, или анархизма, или даже фашизма. По замечанию одного историка, 1968-й был похож на «интерпретацию в поисках самого события»².

Особенно интересны интерпретации, обсуждающие вопрос о непредвиденных последствиях. Нередко отмечалось, что мятеж имел весьма позитивные последствия, но что эти последствия не совпадали с интенциями главных действующих лиц. Линия, разделявшая высокую и низкую культуру, стерлась, общественная жизнь стала менее иерархичной, а инакомыслие и даже гражданское неповиновение все чаще признавались в качестве нормальной демократической политики. Юрген Хабермас говорил о «фундаментальной либерализации», другие — о «модернизации» и даже об американизации³. Многие участники волнений соглашались с такими интерпретациями, но отмечали, что в ретроспективе события того времени вызывают у них чувство дискомфорта. Даниэль Кон-Бендит, французско-немецкий студенческий лидер, которого называли в свое время «Рыжий Дани», заявлял: «Когда смотришь сегодня снятый фото-и киноматериал 68-го, слушаешь речи, кажется, что это катастрофа. Это причиняет настоящую боль».

Между тем консерваторы не просто соглашались с французским писателем и голлистским политиком Андре Мальро, что 1968 год был «кризисом цивилизации», но считали, что участники событий 1968 г. продемонстрировали полное презрение к демократическим институтам, поскольку питали отвращение к *любым* институтам. Почему? Потому что институты как таковые предполагали признание власти. Этот антиавторитаризм, продолжали обвинители, нанес долговременный ущерб политическим культурам Западной

2. Sunil Khilnani, *Arguing Revolution: The Intellectual Left in Postwar France* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993), 122.

3. Хитрость разума, по-видимому, гарантировала, что антиамериканизм, который в то время выглядел отличительной чертой западноевропейского 1968 года, оказался наилучшим способом продвижения американизации.

Европы. Согласно самой крайней версии такого подхода, 1968 год прямо породил терроризм 1970-х гг. — Фракцию Красной Армии в Германии и «Красные бригады» в Италии.

Изучение политической мысли 1968 года, разумеется, не лучший путь к пониманию феномена «беспокойной молодежи». Но сами участники событий были убеждены, что их действия неразрывно связаны с политической теорией: ими двигала теория, а теорию, в свою очередь, двигал вперед практический опыт. И теория действительно должна была играть огромную роль в той конкретной исторической ситуации, с которой столкнулись студенты. Это было послевоенное конституционное урегулирование 1950-х и 1960-х гг., с его весьма ограниченной демократией и сознательно антиидеологической политикой консенсуса, которое расправлялось с левыми радикалами, а иногда запрещало коммунистические партии. Казавшийся «непродуманным» акцент на стабильности и производительности, деполитизированная личная жизнь и в неменьшей степени долгое правление политических патриархов, таких как де Голль, усиливали ощущение политической духоты. Поэтому многие студенты, и не только в США, прониклись словами социолога Ч. Райта Миллса в его известном «Послании к новым левым»: «Концепция конца идеологии уходит в небытие, поскольку означает отказ от четко сформулированной политической философии. А живые люди сегодня повсюду ощущают потребность в такой философии. И мы должны откликнуться на эту потребность. Полезно помнить, что иметь работающую политическую философию означает иметь философию, которая позволит вам работать...».

Итак, теоретизирование как таковое представлялось значимым политическим жестом, направленным против политики консенсуса.

Впрочем, неправильно было бы считать то, что итальянцы называли великим *contestazione* (спором, протестом), всего лишь культурным неприятием «цивилизации холодильников» (по насмешливой оценке Арагона). Непосредственными мотивами протеста стали неприятие вьетнамской войны и в целом лицемерное отношение Запада к третьему миру. Многие французские левые впервые радикализировались под воздействием алжирской войны, а немецкое студенческое движение по-настоящему развернулось

после жестокого подавления демонстраций протеста в связи с визитом в Берлин в июне 1967 г. шаха Ирана. Для многих людей он был символом жестокой и коррумпированной диктатуры, которой Запад не просто потакал, но и оказывал всемерную поддержку.

Таким образом, хотя не все студенты знали, за что именно они выступают, почти все знали, против чего направлены их действия. По словам немецкого студенческого лидера Руди Дучке, 1968 год начался с «экзистенциального отвращения»⁴. При этом оборотной стороной неприятия западного лицемерия стала идеализация освободительной борьбы в третьем мире и, в частности, романтизация фигуры партизанского лидера (распространенный лозунг того времени: «Войне — нет, партизанскому действию — да»). Не было случайным и то, что террористические группы 1970-х гг. именovali себя «городскими партизанами»⁵.

Помимо Вьетнама, для «экзистенциального отвращения» имелись и другие причины — иной природы и не столь отдаленные, например, кризис высшего образования в Европе. Этот кризис еще больше обострился после значительного расширения университетов, не повлекшего за собой преобразования старых институциональных структур. В 1958 г. во Франции в университетах училось 175 тысяч студентов; в 1968 г. их насчитывалось 530 тысяч. В Италии количество студентов почти удвоилось после отмены в 1965 г. вступительных экзаменов⁶. Правительство, разумеется, не оставалось в неведении, а многие консерваторы выступили против самой тенденции как таковой. Британский автор Кингсли Эмис, например, категорически настаивал, что «больше — значит хуже». Но, как это часто бывает, взрыв произошел именно тогда, когда государственные реформы начали приносить плоды.

Отчасти дело было в стилистике. Реформы сверху, как правило, преподносились на технократическом и мене-

4. Дучке. Цит. по: Gérard Sandoz, *Etre révolutionnaire* // Rudi Dutschke, *Ecrits politique (1967–1968)* (Paris: Christian Bourgois, 1968), 31.

5. Важно подчеркнуть, что примерно до 1970 г. столь желанная «революция в сознании» не должна была осуществляться с применением насилия. Вначале «партизанская война» означала всего лишь, по словам Дучке, «партизанскую войну отказа и саботажа».

6. Ginsborg, *History*, 299.

джерском языке; в одной печально известной итальянской книге университет анализировался как «предприятие»⁷. В ответ на такие спускавшиеся сверху и обосновывавшиеся эффективностью подходы в 1966 г. появился так называемый Страсбургский манифест — памфлет под названием «О нищете студенческой жизни», написанный радикальными студенческими активистами. В нем заявлялось: «Студент во Франции является наиболее презируемым существом после полицейского и священника. <...> Благодаря тем крохам престижа, которые хранит университет, студент счастлив быть студентом. Увы, слишком поздно. Получаемое им узкоспециализированное образование, основанное на механическом повторении, уже предельно деградировало... как и его собственный уровень интеллекта, просто потому, что повсеместно господствующая реальность (экономическая система) требует массового производства плохо образованных и не способных думать студентов»⁸.

Было еще кое-что, придавшее особую форму движениям 1960-х гг. и глубоко повлиявшее не только на практику, но и на характер политической мысли. Речь идет о маленьком голубом экране. Это была первая революция, передававшаяся по телевидению. Как отмечал позднее Кон-Бендит, благодаря телевидению различные студенческие лидеры встречались, обменивались опытом и черпали вдохновение в том, что делали другие. Европейцы импортировали многие методы американского движения за гражданские права и американского студенческого протеста, такие как сидячая демонстрация, оккупация университетов, диспуты-семинары (очень немногие молодые люди при этом побывали в Соединенных Штатах, хотя были и исключения — например, немецкий студенческий лидер К. Д. Вольф участвовал в марше свободы в Миссисипи). Теоретики вроде Дучке утверждали также, что с интернационализацией средств коммуникации революция должна обрести международный характер: «студенческое восстание в одной, отдельно взя-

7. Gino Martinoli, *L'università come impresa* (Florence: La Nuova Italia, 1967).

8. On the Poverty of Student Life: Considered in its Economic, Political, Psychological, Sexual and Especially Intellectual Aspects, with a Modest Proposal for its Remedy // *Situationist International Anthology*, ed. and trans. Ken Knabb (Berkeley, Calif.: Bureau of Public Secrets, 1981), 319–37; here 319 and 321.

той стране» уже не годилось. Менее осязаемо, чем все вышеперечисленное, телевидение давало всем, кто его смотрел, ощущение присутствия и собственной всемирно-исторической значимости. В важности происходившего не могло быть никаких сомнений, ведь его показывали по телевидению!

То, что получило название «май 68-го», началось, в числе прочего, с известной стычки. В январе 1968 г. французский министр по делам молодежи и спорта Франсуа Мисофф посещал в Нантере новый университет — бетонное чудовище, в котором не были предусмотрены совместные общежития. Министр должен был открыть новый бассейн (чтобы избежать неожиданностей, студентов не пригласили). Когда Мисофф выходил из здания университета, к нему обратился молодой рыжеволосый студент с детским лицом, который попросил прикурить и мягко заметил: «Господин министр, я прочитал ваш доклад о делах молодежи. На трехстах страницах нет ни слова о сексуальных проблемах молодых людей». Министр, продолжил он, не имел никакого права говорить о молодых людях. Мисофф, имевший награды боец Сопротивления, ответил, что он здесь для того, чтобы поддержать спортивные программы. Рыжеволосый, не кто иной, как Кон-Бендит, стоял на своем, пока министр не попытался от него избавиться, произнеся бессмертные слова: «Уверен, что с таким лицом вы хорошо знаете эти проблемы. Предлагаю вам окунуться в бассейн». Кон-Бендит парировал: «А вот это ответ, достойный гитлерюгенда»⁹.

В целом реакция на протест была жесткой и свидетельствовала о поразительной неуверенности властей. С одной стороны, они отказывались принимать студентов всерьез. Де Голль утверждал, что смысл мая 68-го состоял в нежелании студентов сдавать экзамены, а в какой-то момент даже провозгласил: «Реформам — да, энурезу — нет». Британский лейбористский министр образования метал громы и молнии, говоря об «университетских головорезах», которые (что только ухудшало положение) даже не относятся к числу «уважаемых марксистов». Это заявление было подхва-

9. Hervé Hamon and Patrick Rotman, *Génération: Les années de rêve* (Paris: Seuil, 1987), 400–1.

чено французской компартией, лидер которой заклеил Кон-Бендита как обыкновенного «немецкого анархиста»¹⁰.

С другой стороны, студентов демонизировали как серьезную угрозу для государства. Даже де Голль в конце концов занервничал и в разгар *événements* (событий) тайно отбыл на один день в Германию для консультаций с генералом Массю, печально известным стратегом в битве за Алжир. По возвращении, взяв себя в руки, генерал обратился к своим сторонникам, и миллион французов вышли на Елисейские поля: почти все пели Марсельезу, а кое-кто, говорят, выкрикивал «Кон-Бендита — в Дахау»¹¹.

Теория? Спасибо, не надо

Была ли у «беспокойных молодых людей» какая-то позитивная политическая программа? Парадокс заключается в том, что 1960-е гг. были насыщены философией. Это было время экзегезы Маркса, которая проводилась такими эксцентричными и трудными мыслителями, как работавший в Париже Луи Альтюссер; была заново открыта марксистско-фрейдистская франкфуртская школа; британские левые мыслители, такие как Перри Андерсон и другие, связанные с только что созданным журналом *New Left Review*, обратились к континентальной теории (и отказались от британского эмпиризма, который они объявили поверхностным). И все же, несмотря на всю теоретическую работу, и не в последнюю очередь вымученные рассуждения об отношениях между теорией и праксисом, оставалось ощущение, что каждый должен познавать, что-то при этом делая, или, говоря еще проще, придумывать по ходу дела. Не случайно *en route* стало любимым словечком французских студенческих лидеров. Кон-Бендит тоже говорил о «познании через действие», а Дучке — о «единстве деятельности и рефлексии». Почти все радикалы, по-видимому, верили, что события сами по себе каким-то образом «практически проблемати-

10. Цит. по: Sassoon, *One Hundred*, 384.

11. Решимость де Голля явно усилилась, когда Массю сказал ему: «Vous êtes dans la merde, il faut y rester encore» («Вы в дерьме, придется побыть в нем еще»).

зируют» (как гласила одна из характерных фраз) элементы теории, казавшиеся трудными или запутанными.

Но возникало и искушение полностью отбросить теорию и вложить всю энергию в творчество и стихийность, надеясь на шок и воображение как на реальные инструменты революции. Казалось, что лозунги вроде «Вся власть воображению!» и «Будь реалистом — требуй невозможного!» вдохновляют гораздо больше, чем сложная марксистская теория. В Италии серьезным обвинением стал «книжный фетишизм»¹², и даже немецкое студенческое движение, наверное, больше других обремененное многословной политической философией, выступило с лозунгом «*Theorie? Nein, danke*».

Однако за всем ретроспективным мифотворчеством и отложившимися в памяти броскими лозунгами вроде «Запрещать запрещается» легко не разглядеть того, что студенческие лидеры говорили на самом настоящем языке революции (часто обставляя это интересными оговорками: например, лидеры «Движения 22 марта» во Франции говорили о «не-катастрофической революции»). Они не считали себя «реформаторами» или «либерализаторами». Даже знаменитый тезис Дучке о «долгом походе через институты» не был вариантом «реформы изнутри» — факт совершенно очевидный, если прочитать его слова в контексте: «Долгий поход через институты есть подрывное использование противоречий и возможностей внутри и вне политико-социального аппарата для того, чтобы в конце концов уничтожить этот аппарат».

Революцию обычно подавали как революцию сознания. С точки зрения почти всех теоретиков, революция должна была инициироваться меньшинством, которое, устраивая провокации или прибегая к «прямому действию», демонстрировало большинству жульническую природу чисто «формальной демократии» и патологии капитализма. В Германии власти часто отмахивались от студентов как от «ничтожного радикального меньшинства». Так оно и было, и вскоре сами студенты скандировали на демонстрациях: «Мы ничтожное радикальное меньшинство!»

12. Ginsborg, *History*, 306.

Многие лидеры выступали против одного и того же, а именно против «формальной демократии», или, в одной из формулировок Дучке, «неразумной демократии», а в получивших широкую известность формулировках Герберта Маркузе — «авторитарного государства всеобщего благосостояния» и «репрессивной толерантности». В то же время, каким бы удивительным это ни показалось, многие теоретики объясняли, чем плохи демократия и либеральные институты, такие как парламенты, опираясь на наивные идеалы и неправдоподобные исторические описания европейского либерализма XIX в. Противопоставление реальных институтов, в том виде как они функционировали в условиях массовой демократии середины XX в., воображаемому «золотому веку» было типичным теоретическим приемом и напоминало антипарламентаризм Карла Шмитта 1920-х гг.

Вполне либеральным было и главное понятие 68-го — автономия. Однако совершенно не либеральными в любом историческом смысле этого слова были институты, которые студенты и рабочие предлагали для осуществления автономии. Самоуправление в виде рабочих советов, студенческих советов, крестьянских советов, «непосредственной демократии» и «прямого действия на заводе и на улице», — все это должно было заменить существующую «производственную и управленческую монархию»¹³. Официальный левый фланг, особенно коммунистические профсоюзы, отвергал понятия вроде «autogestion» как «бессодержательные формулы». Но многие из предлагавшихся институтов были на самом деле вполне «левыми» и принадлежали к давним социалистическим, синдикалистским или анархическим традициям¹⁴. По замечанию целого ряда наблюдателей, политический язык 68-го в том, что касалось позитивных установок, порой выглядел странно архаичным, как какое-то последнее «ура» радикализму XIX в. Даже в высшей степени неортодоксальные ситуационисты (которых мы более подробно рассмотрим чуть ниже) отправили в политбюро Москвы и Пекина телеграмму, в которой подтверждали верность давней мечте о рабочих Советах, хотя и в типично

13. Ingrid Gilcher-Holtey, 1968: *Eine Zeitreise* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2008), 83.

14. См. об этом также: Hecken, 1968.

шокирующей манере: «Трепещите бюрократы точка Интернациональная власть рабочих советов скоро с вами покончит точка Человечество не будет счастливо, пока последнего бюрократа не повесят на кишках последнего капиталиста точка».

Самое поразительное, учитывая то, что происходило в западноевропейской политической мысли и практике (мы рассмотрели их в предыдущей главе), заключается в том, что и самоуправление, и большинство других студенческих требований были направлены прежде всего против главных принципов конституционного урегулирования после окончания Второй мировой. Французский студенческий лидер Ален Гейсмар и многие другие решительно отвергали любое «делегирование власти», и, по сути дела, тезис об «отказе от делегирования» разделяли все студенческие движения в Европе. В Италии, например, выдвигался лозунг «Мы все делегаты» и провозглашался «суверенитет общего собрания»¹⁵. Вместо очень осторожной и ограниченной демократии, поддержанной европейскими элитами в период после окончания Второй мировой, предлагалась демократия непосредственная и прямая.

Политическое поражение 1968 года объясняется не столько отмечавшейся критиками утопичностью таких предложений, как самоуправление, сколько полным отсутствием (за частичным исключением Италии) у движения собственной социальной базы. Симптомами этой проблемы стали поиски того, что американский социолог Ч. Райт Миллс назвал «историческими факторами структурного изменения», и известный «организационный вопрос». Ответ на последний так и не был найден, хотя примерно до 1970 г. общепринятым казалось мнение о неприемлемости ленинских авангардных групп¹⁶. В конечном итоге «шоппинг в поисках революционного субъекта», как презрительно охарактеризовал его один социолог, ничего не дал: корзина осталась пустой. Бесплодными оказались и отчаянные попытки найти вдохновляющие идеи у мыслителей, которые игра-

15. Robert Lumley, 1968/1989: Social Movements in Italy Reconsidered // Levy and Roseman (eds), *Three Postwar Eras*, 199–215; here 201.

16. Gerd Koenen, Der transzendental Obdachlose — Hans-Jürgen Krahel // *Zeitschrift für Ideengeschichte*, vol. 2 (2008), 5–22.

ли ведущую роль в марксистских дискуссиях межвоенного периода. Иногда такие попытки встречали решительный отпор. Лукач, например, заявлял: «Мы все ошибались, и было бы совершенно неправильно пытаться воскресить произведения тех времен, как если бы они стали истинными сегодня. На Западе имеется тенденция возвести их в разряд „классиков ереси“, но нам нет необходимости делать это сегодня. Двадцатые годы — ушедшая эпоха. Нам должны занимать философские проблемы шестидесятых»¹⁷. Когда Дучке приехал к Лукачу в Будапешт, тот порекомендовал ему прекратить изучение малопонятных партийных документов межвоенного периода и сосредоточиться на «производственных отношениях» в третьем мире¹⁸.

Что же было делать теперь, когда революция не материализовалась? Лишь немногие могли перейти на сторону либеральной демократии и отправиться в «долгий поход», понятый как «реформа изнутри». Поэтому в краткосрочном плане победа осталась за маоистами, давным-давно сформулировавшими ответ на «организационный вопрос»: создав дисциплинированную организацию, следовало отправиться на фабрики и заводы — к рабочим¹⁹.

Революция в повседневной жизни

Впрочем, в долгосрочном плане выиграли, конечно же, не маоисты. Процитированный выше Страсбургский манифест был составлен членами Ситуационистского Интернационала, вероятно, наиболее оригинальной группой мыслителей 1960-х гг., с почти мифической фигурой Ги Дебора в центре. Своим появлением движение было обязано не столько традиционным левым политическим доктринам

17. Lukács, *Record*, 173. Об интенсивных контактах Дучке с Лукачем см.: Rudi Dutschke, *Versuch, Lenin auf die Füsse zu stellen: Über den halbasiatischen und westeuropäischen Weg zum Sozialismus. Lenin, Lukács und die Dritte Internationale* (Berlin: Wagenbach, 1974).

18. Rudi Dutschke, *Besuch bei Georg Lukács // Geschichte ist machbar: Texte über das herrschende Falsche und die Radikalität des Friedens*, ed. Jürgen Miermeister (Berlin: Wagenbach, 1980), 43–4.

19. Gilcher-Holtey, 1968, 142.

нам, сколько художественному авангарду. В частности, ситуационисты стремились выйти за рамки того, что, на их взгляд, представляло собой интеллектуально исчерпавший себя сюрреализм с его вниманием к языку. Вместо этого следовало вернуться к дадаистскому эстетическому шоку как способу глубокого преобразования общественных отношений. Целью была совершенно «другая жизнь», отличная от той, в которой господствует потребительский капитализм. Последний заставлял охотиться за вещами, вместо того чтобы аутентично взаимодействовать с другими людьми. По оценке ситуационистов, в ситуации выбора между любовью и мусородробилкой молодые люди выбирали мусородробилки²⁰. Дебор испытал влияние теории овеществления Лукача и вдохновлялся работами Йохана Хейзинги, голландского историка культуры, который писал об «игровом инстинкте», присущем человеческим существам. По словам Дебора, его книга *Homo ludens* открыла путь к пониманию сути подлинной человечности как игры, а не как производства и уж подавно не как планирования, и «теперь вопрос [заключался] в том, чтобы преобразовать правила игры из произвольной конвенции в моральный принцип»²¹.

Но во что или ради чего играть? В центре ситуационизма — идея создания ситуаций как моментов поэтической насыщенности, проблесков того, какой могла бы быть другая, реальная жизнь. Новый «психогеографический» опыт приобретает в городах, где можно практиковать *dérive* — перемещение по улицам, не преследующее целей, которые

20. Andy Merrifield, *Guy Debord* (London: Reaktion Books, 2005). Символический роман о потребительском капитализме и одержимости «вещами» в 1960-х гг. написал Жорж Перек: Georges Percc, *Things: A Story of the Sixties*; Перек Ж. *Вещи. Одна из историй шестидесятых годов*. М.: Молодая гвардия, 1967.

21. Цит. по: *ibid.*, 28. В конечном счете в подходе Дебора и некоторых из его союзников к предложенной «революции повседневной жизни» не было ничего особенно игривого или стихийного. Дебор усердно читал Макиавелли и продумывал всеобщую, практически военную стратегию «завоевания мира». Ситуационистский Интернационал сам оказался в высшей степени сектантским: из него часто исключали, а поведение его членов жестко регулировалось; в частности, они не имели права на какую-либо личную семейную жизнь.

навязываются обществом²². *Dérive* служило условным обозначением для подрывного *flâneur*, который мог существовать даже в городской среде, сконструированной во имя бездушной рациональности высокомерными послевоенными проектировщиками. Но то, что могло показаться бездельничаньем с сопровождающей его фантазией, содержало в себе стратегическое начало и должно было оказывать долгосрочное политическое влияние. Дебор писал: «Не попадать в приключения, но быть тем, кто заставляет их случаться... Конструирование ситуаций будет постоянной реализацией великой игры — игры, в которую решили играть игроки...». «То, что изменяет наш способ видения улиц, важнее того, что изменяет наш способ видения живописи».

По словам еще одного ситуационистского мыслителя, Рауля Ванейгема, «партизанская война является тотальной войной. Это путь, по которому идет Ситуационистский Интернационал: преднамеренное устрашение на всех фронтах — культурном, политическом, экономическом и социальном. Сосредоточение на повседневной жизни обеспечит единство сражения». Таким образом, то, что ситуационисты называли «непосредственным участием в страстном изобилии жизни», было не гедонистическим уходом от политической борьбы: в продуктивистском и консьюмеристском обществе *это и было* политической борьбой. Кроме того, тактический репертуар ситуационизма включал новые «жизненные эксперименты», а также «ужасение» через пародирование и провоцирование властей. Немецкое подразделение Ситуационистского Интернационала, намекая на предвыборный лозунг Аденауэра, озаглавило один из своих памфлетов «*Nervenruh! Keine Experimente*» («Спокойствие! Никаких экспериментов»).

Было ли это просто новым способом *épater les bourgeois* мыслителями, которых *Nouvel Observateur* назвал «Сен-Жюстами в кожаных пиджаках»? Тот же журнал утверждал: «Конечно, ситуационизм — это не призрак, который преследует индустриальную цивилизацию подобно коммунизму, настоящему призраку, бродящему по Европе с 1848 г.

22. Еще одним важным методом ситуационистов был *détournement* — перефункционализация, например, произведений искусства и рекламы, с помощью разрисовывания их подрывными лозунгами.

Но это — идеологический символ»²³. Идеологический символ чего? — спрашивали наблюдатели. Конечно же, это был символ сильнейшего разочарования в выглядевшем все более манипулятивным потребительском и медийном обществе. В этом не было никакого сомнения, и это нашло теоретическое выражение в опубликованном Дебором в ноябре 1967 г. трактате «Общество спектакля». Разделенный на пронумерованные параграфы, написанный намеренно сухо, трактат начинался с утверждения, что «вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение *спектаклей*. Все, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление»²⁴. Согласно Дебору, спектакль — это «тотальное оправдание условий и целей существующей системы»²⁵; он всемогущ, не поддается контролю, хотя его форма может быть в конечном счете объяснена тем, что это — отражение господствующих производственных отношений. В каком-то смысле Дебор занимался обновлением хорошо знакомых марксистских идей — в частности, о ложном сознании, — приводя их в соответствие с медийной эпохой. Его текст изобилует намеками и даже поэтическими образами: «Спектакль есть дурной сон закабаленного современного общества, который, в конечном счете, не выражает иных желаний, кроме его желания спать. А спектакль — страж этого сна»²⁶. Перефразируя достаточно традиционную левую идею, Дебор писал: «В корне спектакля — древнейшая специализация, специализация власти. Таким образом, спектакль является специализированным родом деятельности, заключающимся в том, чтобы говорить от имени других. Это дипломатическое представительство иерархического общества перед самим собой, откуда устраняется всякое иное слово»²⁷.

23. Цит. по: Andrew Hussey, *The Game of War* (London: Cape, 2001), 219.

24. Guy Debord, *The Society of the Spectacle*, trans. Donald Nicholson-Smith (1967; New York: Zed Books, 1999), 12; Ги Дебор. *Общество спектакля*. М.: Логос, 2000. С. 23.

25. *Ibid.*, 13; Там же. С. 24.

26. *Ibid.*, 18; Там же. С. 27.

27. *Ibid.*, 19; Там же. С. 28.

В том же духе Дебор настаивал, что «повсеместное расщепление, производимое спектаклем, неотделимо от современного государства, то есть от обобществленной формы социального расслоения, продукта общественного разделения труда и орудия классового господства»²⁸. Не играя в ситуационизме центральной роли, антиэтатизм следовал из его главных посылок.

Антиэтатизм объяснял также то, что Дебор предлагал в последних параграфах «Общества спектакля» в качестве противоядия от общества отчуждения, в котором образы господствуют не меньше, чем угроза физического насилия: «„Наконец-то открытая политическая форма, при которой могло бы осуществиться экономическое освобождение труда“, в этом веке обрела свой четкий образ в Советах революционных рабочих, сосредоточивающих в себе все законодательные и исполнительные функции и образующих федерацию посредством делегатов, ответственных перед рядовыми членами и отзываемых в любой момент».

И далее: «Во власти Советов, которая в международном масштабе должна вытеснить всякую иную власть, пролетарское движение является ее собственным продуктом, а этот продукт и есть сам производитель. Он сам является своей собственной целью. Ибо только в нем, в свою очередь, отрицается зрелищное отрицание жизни»²⁹.

После всех концептуальных фейерверков, истраченных на освещение всемогущего спектакля, «решение» найдено, и оно — в рабочих Советах, традиционной, если не сказать избитой левой идее?

В 1973 г. Дебор снял фильм о (по его словам) «конкретном производстве отчуждения» с тем же названием, что и книга, — «Общество спектакля». В нем модельные киносессии перемежались отрывками из лент Джона Форда, фотографиями Кастро, запусками ракет и речами президента Валери Жискар д'Эстена, — и все это подавалось как части спектакля. Фильм потерпел полное фиаско, но в ретроспективе он кажется гораздо более убедительным и пронизательным в своей критике современной медийной власти, чем агит-

28. *Ibid.*, 20; Там же.

29. *Ibid.*, 86–7; Там же. С. 73–74.

проповедская лента «Все в порядке» режиссера *nouvelle vague* (новой волны) Жан-Люка Годара (которого Дебор не выносил за «псевдосвободу» и «псевдокритику»). В ней герои Джейн Фонды и Ива Монтана попадают на захваченную фабрику, а не-коммунистические левые, гошисты, декламируют пылкие речи и против капитализма, и против французской компартии³⁰.

К тому времени, как фильм Дебора наконец показали в Латинском квартале, Ситуационистский Интернационал был уже формально распущен. Дебор, всегда гордившийся тем, что не провел ни дня без спиртного, окончательно опустился. Навсегда покинув Париж, он перебрался в Верхнюю Луару, в простой деревенский дом, окруженный высокой каменной оградой, где изучал труд Клаузевица «О войне»³¹. В последний день ноября 1994 г., с наступлением сумерек, он выстрелил себе в сердце. Ему было шестьдесят два года³². Без всякого преувеличения можно сказать, что это был самый оригинальный марксистский мыслитель Европы в период после 1945 г. Во всяком случае, он предложил новую и убедительную трактовку марксистских идей об отчуждении, соответствующую медийной эпохе (хотя рекомендованное им противоядие от отчуждения было не столь оригинальным).

Несмотря на свою миниатюрность и во многих отношениях маргинальность, ситуационизм находился в самом центре 68-го и сыграл важную роль благодаря своим известным лозунгам об освобожденной субъективности, акценту на повседневной жизни и на культуре в самом широком смысле слова. Провозгласив себя «отборными париями», ситуационисты пытались инсценировать «события», которые могли найти, а могли и не найти своего интерпретатора и были свободны от всякой, предположительно буржуазной, заботы о «законности»³³. Ситуационистское действие должно

30. Christophe Bourseiller, *Vie et mort de Guy Debord, 1931–1944* (Paris: Plon, 1999), 217.

31. Merrifield, *Debord*, 10.

32. Он уже умирал от вызванной алкоголизмом болезни, которая причиняла ему страшную боль. См.: *ibid.*, 8.

33. Frank Böckelmann, *Anfänge: Situationisten, Subversive und ihre Vorgänger //*

было оставаться прямым и непосредственным; главные его участники являлись авангардом, но авангардом, преданным новым страстям и вдохновляющим на новые желания, перерисовывающим всю карту «психогеографии» современного города³⁴. По форме ситуационизм, возможно, в чем-то и напоминал ленинизм. Но по своему содержанию он не имел с ним ничего общего.

По правде говоря, значимость всего этого в то время почти не осознавалась, а Дебора, в той мере, в какой он был известен более заметным политическим лидерам 1968 года, не любили и даже презирали. Кон-Бендит без обиняков называл его «грязным ублюдком», а Дебор в свою очередь осыпал насмешками всех традиционных теоретиков, а также «официальный авангард», состоявший из таких художников, как Годар. В Германии тоже имел место глубокий раскол между ситуационистами вроде Дитера Кунцельманна с одной стороны и антиавторитаристом Дучке вместе с ортодоксальными социалистическими теоретиками — с другой³⁵. Последних все еще волновало правильное понимание марксистской теории и даже ее чистота, основательно одобренные «протестантской» преданностью революции. В то время как антиавторитаристы пытались примирить свои убеждения с тем фактом, что всякая эффективная политика требует определенной меры иерархической организации, ситуационистское *Subversive Aktion* объявляло, что смысл организации в ее провале³⁶. Поэтому не было ничего удивительного в том, что «марксистские» теоретики обвиняли ситуационистов и лидеров новых *Kommunen* (с их знаменитыми лозунгами вроде «Трахайся во имя мира») в квазианархистской «ложной непосредственности» как главном теоретическом (и практическом) грехе³⁷.

Frank Böckelmann, *Die Emanzipation ins Leere: Beiträge zur Gesinnungsgeschichte 1960–2000* (Berlin: Philo, 2000), 21–43; here 26–7.

34. *Ibid.*, 41.

35. Ulrich Chaussy, *Die drei Leben des Rudi Dutschke: Eine Biographie* (Zurich: Pendo, 1999), 44–53.

36. Frank Böckelmann and Herbert Nagel (eds), *Subversive Aktion: Der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern* (Frankfurt/Main: Verlag Neue Kritik, 1976).

37. Характерно, что Дучке не присоединился к знаменитой берлинской Коммуне № 1, а вместо этого пытался создать *Wissenschaftskommune*. Лидер

Как оказалось, либертарианские «жизненные эксперименты» так и не смогли принести освобождение, обещанное их интеллектуальными промоутерами, и часто выливались в наихудшего рода сектантство и психологический террор по отношению к некоторым участникам движения. В них проявлялось то извращение идеалов братства и сестринства, о котором писал еще Вебер. И все же некоторые из этих экспериментов легли в основу создания целых «альтернативных» и «автономных» районов в Европе (какие-то из них существуют и сегодня). Одни действительно превратились в рассадники насильственного анархизма, но большинство сохранили искреннюю преданность миру, энвайронментализму и феминизму. В каком-то смысле их обитатели стремились создать собственную «политику прообраза», демонстрируя буржуазному большинству, какой может быть по-настоящему освобожденная равноправная жизнь в условиях, когда нет необходимости насильственно свергать существующие политические институты. Это было нечто вроде Красной Вены, построенной снизу.

Трансформация демократии

Одной из причин того, почему либеральные и консервативные наблюдатели почти сразу заговорили о «левом фашизме», было очевидное обращение студенческого движения к идеям антипарламентаризма, столь характерным для 1920-х гг. и казавшимся гораздо более конкретными, чем общий антиэтатизм такого мыслителя, как Дебор. Вместе с антипарламентаризмом произошло возрождение мыслителей начала XX в., таких как друг Вебера Роберт Михельс и другие «теоретики элиты», которые считали, что рано или поздно все институты перейдут под контроль олигархий. Теперь этих мыслителей использовали для демонстрации того, что либеральные демократии не сумели выполнить обещаний гражданского равенства.

коммуны Кунцельманн, в свою очередь, сделал широко известное заявление: «Was geht mich Vietnam an — ich habe Orgasmusschwierigkeiten» («Какое мне дело до Вьетнама — у меня проблемы с оргазмом»). Necken, 1968, 117.

По большей части студенты и другие критики имели основания считать послевоенные парламенты театральной сценой, за кулисами которой в корпоративистских тайных комнатах принимались реальные властные решения, причем делалось это всегда с одним и тем же набором игроков. Появление в Западной Германии грандиозной партийной коалиции означало, что в бундестаге оставалась всего одна мелкая оппозиционная партия. Это привело к призывам создать «внепарламентскую оппозицию». В Италии христианские демократы оставались у власти, оттачивая тактику кооптирования номинально конкурирующих партий, вроде социалистов. Во Франции правление де Голля, хотя и обеспечившее невиданный прежде, в периоды Третьей и Четвертой республик, уровень политической преемственности, все больше напоминало президентскую диктатуру.

Главным политическим теоретиком немецкого 1968-го был Йоханнес Аньоли. Критика им плюрализма и парламентаризма сыграла важную роль в движении и в дальнейшем лежала в основе большей части левой мысли 1970-х и 1980-х гг. Поразительная интеллектуальная эволюция Аньоли напоминала межвоенный феномен *rechte Leute von links und linke Leute von rechts* (т.е. интеллектуалов, снующих туда и обратно между крайне правыми и крайне левыми)³⁸. Джованни Аньоли родился в 1925 г. в деревне Валле ди Кадоре в Доломитовых Альпах в обеспеченной семье. Его отец позволил себе непристойные выражения, когда выходил из местной церкви, и поэтому вынужден был уехать в Латинскую Америку. Там ему удалось сделать приличные деньги на контрабанде алкоголя. В конце концов он стал инженером и весьма уважаемым в левых кругах человеком, хотя и потерял состояние во время «Великого краха». Будучи подростком, Аньоли, неизменно «белая ворона», если верить хорошо знавшим его людям, писал гимны во славу дуче — «защитника культуры». В 1943 г., сразу по окончании школы, он вступил добровольцем в вермахт, воевал с югославскими партизанами, попал в плен к британцам и был отправлен в лагерь для «перевоспитания» в Египет. В 1950-х гг. Аньоли учился в Тюбингене,

38. Barbara Görres Agnoli, *Johannes Agnoli: Eine biografische Skizze* (Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 2004).

написал диссертацию о Вико и получил немецкое гражданство (в 1955 г.). Какое-то время он был членом социал-демократической партии. По свидетельству большинства свидетелей, Аньоли никогда не скрывал своего фашистского прошлого и часто открыто об этом говорил.

Аньоли и его последователи исходили из того, что в условиях капитализма подлинная демократия невозможна. Буржуазное государство систематически сужает пространство для автономного выражения желаний масс. Поскольку фашизм в конце концов потерпел поражение как стратегия контроля и регуляции желаний масс, касающихся политического самоопределения, буржуазное государство трансформировало существующие институты парламентской демократии таким образом, чтобы, не прибегая к открытому угнетению, сделать изменения невозможными. Эта «трансформация демократии», говорил Аньоли, означала «модернизацию государства в смысле приспособления к новым формам коллективной жизни (так называемому массовому обществу), а также его совершенствование в смысле модернизации средств господства»³⁹.

Потребность в модернизации была вызвана «техно-экономическим прогрессом», а также «общими интересами господствующих групп»⁴⁰. Все «господствующие группы» были заинтересованы в ослаблении демократии как потенциального средства совершения «революции по согласию» (по выражению Ласки)⁴¹. Парламентская демократия была не самой надежной гарантией капитализма. По самой своей природе она отличалась неоднозначностью, поскольку теоретически парламент был способен, правильно отразив базовый общественный антагонизм, стать плацдармом для социализма.

Политическое единообразие, которое фашистское государство могло навязывать только с помощью однопартийной системы, теперь достигалось через «отрегулированный плюрализм»: иначе говоря, оно выглядело как идеологиче-

39. Johannes Agnoli and Peter Brückner, *Die Transformation der Demokratie* (Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt, 1968), 10.

40. *Ibid.*, 17.

41. *Ibid.*, 26.

ское разнообразие, но в конечном итоге являлось все тем же единообразием. Общество не преодолело фундаментального антагонизма между капиталистами и рабочими, но показательный плюрализм в парламенте весьма успешно скрывал этот факт. Социальный мир и иллюзия демократического участия масс поддерживались посредством переговоров между различными партиями и «социальными партнерами», такими как объединения работодателей и профсоюзы. Следуя идеям Вильфредо Парето, этому «Марксу буржуазии», который советовал Муссолини, трансформируя итальянское государство в государство фашистское, использовать парламент как «декорацию», западногерманская элита построила особенно коварную форму псевдодемократии⁴².

В течение всей этой «трансформации» официальная идеология демократии сохранялась в неприкосновенности. Единственное изменение касалось языков гуманизма и технократического развития, которые должны были заменить язык классовой борьбы среди представителей рабочих. Партии, в своем стремлении «уловить всех», не желали больше знать ни рабочих, ни капиталистов и обращались только к человеческим существам как таковым. Они больше не придерживались политических платформ, но лишь следовали объективным императивам технологии. То, что один консервативный политик назвал «отменой пролетариата», означало просто, что классовое сознание могло быть подорвано ростом массового потребления и другими «грандиозными попытками коллективного подкупа»⁴³. Это был все тот же диагноз Арагона — *civilization de baignoires et de frigidaires* (цивилизация ванн и холодильников).

Так возникло то, что в ретроспективе выглядит законченным антилиберальным антипарламентаризмом, напоминающим презрение Сореля к парламентским социалистам, которые преследовали только свои собственные интересы. Но можно ли было изменить эту ситуацию? Ответы Аньоли на этот вопрос страдали неопределенностью и часто были просто противоречивыми. С одной стороны, Аньоли считал, что «трансформированные демократии» не поддаются

42. *Ibid.*, 11.

43. *Ibid.*, 18 and 21.

реформе. Но все же присутствие компартий в некоторых западноевропейских странах, по его мнению, могло каким-то образом повлиять на ситуацию. Впрочем, в конечном счете, в существующих рамках законности, процесс казался неостановимым, и из этого на самом деле следовало только одно — требование слома буржуазного государства вместе с его фальшивым парламентом⁴⁴.

Аньоли и его коллеги-теоретики всегда не колеблясь высказывали следующие два тезиса: что либерализм породил фашизм и может в любое время сделать это еще раз; и что развитые капиталистические общества вступили в эпоху изобилия, где появилась возможность отмены «иррационального господства»⁴⁵. Следовательно, смысл 1968 года должен был заключаться в глубоком «изменении политической формы», а любая интеграция в существующие институты считалась обреченной на неудачу. Тем не менее это оставляло открытым вопрос, кто же теперь, после того как рабочих подкупили холодильниками, станет революционным субъектом. Аньоли так и не смог ответить на этот вопрос. Ответ был дан другими.

Пророк

Важной ценностью и даже, возможно, ключевым понятием интернационального 1968 года стала «автономия». В Порт-Гуронском манифесте 1962 г., основополагающем интеллектуальном документе американской студенческой революции, провозглашалось, что «целью человека и общества должна быть человеческая независимость». Автономия, понятая как индивидуальная, а также коллективная саморегуляция, прямо противопоставлялась послевоенному мироустройству, в котором, казалось, господствовали технократия и бюрократия — «стальной панцирь» Вебера. Технократия изгоняла политическую волю из политики и даже из личной жизни человека, которая должна была формироваться в соответствии с трудовыми и потребительскими

44. Johannes Agnoli and Peter Brückner, *Die Transformation der Demokratie*, 16.

45. *Ibid.*, 154.

императивами индустриального общества. В глазах таких критиков, как Ханна Арендт, любое специфически политическое поле было поглощено индустриальным «обществом», т. е. дело обстояло именно так, как утверждали Форстхофф и другие теоретики; послевоенный мир был стабилен, потому что место индивидуального действия занимало теперь конформистское (и полностью предсказуемое) «поведение». Европейские «ассоциации госслужащих» требовали от своих членов отказаться от любой остаточной индивидуальности в пользу «функционального типа поведения». Как пронизательно заметила Арендт, «в современных теориях бихевиоризма тревожны не их неувязки, а то, что они, наоборот, могут оказаться слишком верны»⁴⁶.

Поэтому смысл протестного движения, согласно социалисту-теоретику Оскару Негту, состоял в восстановлении как индивидуальной, так и коллективной «цельности политической воли». Во что бы это ни выливалось на практике, в теории это означало, что движение должно было носить антиавторитарный и, в частности, антибюрократический характер. Гейсмар, от которого требовали изложить свои философские принципы, заявил: «Я не теоретик. На мой взгляд, социализм можно определить негативно, через отношение к существующим структурам, отвергая всякую бюрократию, всякую централизованную регуляцию...»⁴⁷. Всякая власть, даже делегированная, находилась под подозрением — она могла быть прямо связана с политическими катастрофами XX в. На плакатах рисовали Гитлера под маской де Голля; французские студенты, поддерживавшие Кон-Бендита, повторяли нараспев: «Мы все немецкие евреи».

И все же индивидуалистический антиавторитаризм было трудно согласовать с идеей революции, которая предполагала революционный коллектив с некоторой степенью организации и даже, *horribile dictu*, страшно сказать, власти. Совершенно неясно было и то, что это за революционный

46. Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 322; Арендт Х. *Vita activa, или О деятельной жизни*. СПб.: Алетейя, 2000. С. 420.

47. Hervé Bourges (ed.), *The French Student Revolt: The Leaders Speak*, trans. B. R. Brewster (New York: Hill & Wang, 1968), 43.

субъект, который способен действовать пусть харизматическим, но все же последовательно антиавторитарным способом и, таким образом, *не* превращаться в подобие ленинской партии-авангарда.

Ответить на этот вопрос, по крайней мере в предварительном порядке, попытался человек, которого *New York Times* объявила в 1967 г. «самым значительным из ныне здравствующих философов», а именно Герберт Маркузе. Во времена Веймарской республики Маркузе учился у Мартина Хайдеггера. Бежав из Третьего рейха и находясь в американской ссылке, он развивал идеи, близкие проектам франкфуртского института социальных исследований (позднее известного как франкфуртская школа), а также работал на Управление стратегических служб (предшественника ЦРУ). В 1950-х гг. на деньги Рокфеллера Маркузе провел анализ советской марксистской теории (которую обвинил в «крайней убогости и даже в лживости») ⁴⁸. Попытки вернуться в Германию после 1945 г. не имели успеха. К началу 1960-х гг. он преподавал в Калифорнии. Политико-философские взгляды Маркузе получили мировое признание, чего с тех пор не удавалось достичь ни одному другому философу. Его концепция представляла собой необычное сочетание европейской высокой теории и американской массовой культуры и доминировала на протяжении почти всех 1960-х гг. Трудно представить себе других марксистов, идеи которых освещались бы в журнале *Playboy* ⁴⁹.

Глобальное признание Маркузе имело по меньшей мере две главные, на первый взгляд противоречащие друг другу причины: с одной стороны, его мрачная оценка «господствующей идеологии развитого индустриального общества», изложенная в самой знаменитой его книге «Одномерный человек», попросту была в цель; с другой стороны, это была

48. Herbert Marcuse, *Soviet Marxism: A Critical Analysis* (New York: Columbia University Press, 1958), 1. См. также: Tim B. Müller, *Die gelehrten Krieger und die Rockefeller-Revolution: Intellektuelle zwischen Geheimdienst, Neuer Linker und dem Entwurf einer neuen Ideengeschichte* // *Geschichte und Gesellschaft*, vol. 33 (2007), 198–227.

49. Michael Horowitz, *Portrait of the Marxist as an Old Trouper* // *Playboy*, September 1970. Номер содержал также интервью с Питером Фонда и «нежный взгляд на фигуру без лифчика».

оптимистическая точка зрения: Маркузе заявлял, что полностью маргинализированные слои в индустриальном обществе, как и движения освобождения в третьем мире, все же могут оказаться способными к осуществлению радикальных преобразований (или революции). Какая-то роль отводилась даже студентам.

Это особое сочетание отчаяния и надежды имело смысл в контексте общего диагноза, который Маркузе ставил обществу, характеризуя его одновременно как общество изобилия и как культуру *gleichgeschaltete*, унификации. Общество сверхбогатства было для него чем-то само собой разумеющимся, как и существовавшие бок о бок с ним нищета и угнетение. Важно помнить, что 68-й произошел под конец продолжительного бума в экономиках западных стран, который начался вместе с войной в Корее и подошел к завершению только во время нефтяного кризиса 1973–1974 гг. Однако не менее важно помнить, что социализм, за который выступали мыслители, подразумевал не просто изобилие, но иное качество жизни⁵⁰.

Во многих отношениях Маркузе ставил «развитой индустриальной цивилизации» тот же диагноз, что и консервативные или либеральные ее защитники, такие как Форстхофф в Германии или Арон во Франции: система стабилизировала саму себя и выдерживала инакомыслие. Впрочем, в отличие от многих технократических мыслителей, Маркузе настаивал, что технология не нейтральный инструмент, а средство господства, и она играет важную роль в формировании особого рода личности, полностью адаптированной к индустриальному обществу. Подобно многим своим современникам на левом фланге, Маркузе подвергал критике безудержный консьюмеризм, с помощью которого капиталисты подкупили пролетариат, осуществив по ходу дела синтез государства благоденствия (*welfare*) и военного государства (*warfare*).

Помимо изобилия, еще одной аксиомой для Маркузе было ложное сознание. В частности, доказывал он, то, что прежде служило инструментом протеста, — например, вели-

50. Herbert Marcuse, *Konterrevolution und Revolte* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1973), 9.

кое искусство, помогавшее бороться с социальным конформизмом, — теперь превратилось в средство упрочения статус-кво, или, что еще хуже, в средство извлечения прибыли. «Музыка души, — утверждал он, — становится ходовой музыкой»⁵¹. Не просто индивидуальная личность, но культура в целом стала одномерной. И даже (что сильнее всего шокировало его либерально-демократическую аудиторию) демократия, по крайней мере в ее ограниченном послевоенном виде, «стала наиболее эффективной формой господства»⁵².

Вплоть до этого пункта его диагнозы поразительно напоминали левую мысль 1930-х гг.: пролетариат не выполняет отведенной ему роли; ложная форма культуры может стать препятствием для революции. Но Маркузе сделал еще один шаг, осуществив оригинальный синтез марксизма и теорий Фрейда. Развитая индустриальная цивилизация не просто «подавляет» сексуальность. Скорее, заявлял он, псевдоосвобождение либидо идет рука об руку с «деэротизацией» современного мира с целью дальнейшего его угнетения. Приводя доводы в пользу своей позиции, он призывал читателей «сравнить любовь на лужайке с любовью в автомобиле, любовь во время прогулки за городскими стенами и любовь на улицах Манхэттена».

Итак, при развитии капитализме люди испытывают глубокое сексуальное угнетение. Маркузе настаивал, что цивилизация не должна быть репрессивной, или, во всяком случае, не должна быть до такой степени репрессивной. Существующая система, писал он, характеризуется «избыточной репрессивностью», которую можно преодолеть не сексуальной разрядкой, но тем, что Маркузе называл «трансформацией либидо»: а именно переходом от «сексуальности, ограниченной факторами генитального превосходства, к эротизации всей личности в целом». Не очень понятно, что конкретно имел в виду Маркузе, но суть того, что он говорил, была ясна: подлинно свободной субъективности противостоит западный капитализм; задача состоит в том,

51. Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (1964; Boston: Beacon Press, 1966), 57; Маркузе Г. *Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества*. М.: АСТ, 2002. С. 320.

52. *Ibid.*, 52; Там же. С. 316.

чтобы помочь этой субъективности встать на ноги с помощью политической борьбы. В конце «Одномерного человека» можно увидеть проблески надежды. Маркузе говорит о «прослойке отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых представителей других рас и цветных, безработных и нетрудоспособных. Они остаются за бортом демократического процесса, и их жизнь являет собой самую непосредственную и реальную необходимость отмены невыносимых условий и институтов. Таким образом, их противостояние само по себе революционно, пусть даже оно ими не осознается. Это наносит системе удар снаружи, от которого она не в силах уклониться; именно эта стихийная сила нарушает правила игры и тем самым разоблачает ее как бесчестную игру»⁵³.

В конце 1960-х гг. Маркузе уверенно добавил к этому, что «воинствующие движения освобождения в развивающихся странах представляют собой наиболее мощную потенциальную силу радикальной трансформации». В то же время он однозначно утверждал, что студенты сами по себе не являются носителями революции. Отвечая на обвинения в разложении молодежи повсюду (но особенно в родном университете в Ла Холла, где члены местного весьма консервативного сообщества предлагали выкупить его должность профессора и вывесили чучело с надписью «Маркузе марксист»), он писал: «Я никогда не говорил, что нынешняя студенческая оппозиция является сама по себе революционной силой, и я никогда не считал, что хиппи являются „наследниками пролетариата“! Сегодня революционную борьбу ведут только фронты национального освобождения развивающихся стран. Но даже они сами по себе не представляют серьезной революционной опасности для системы развитого капитализма»⁵⁴.

Впрочем, Маркузе все же питал надежду на объединение и сотрудничество движений за освобождение третьего мира, маргинальных групп в западных обществах и сту-

53. *Ibid.*, 256–7; Там же. С. 514–515.

54. Herbert Marcuse, *The Problem of Violence and the Radical Opposition* // Herbert Marcuse, *The New Left and the 1960s* [Collected Papers of Herbert Marcuse, vol. 3], ed. Douglas Kellner (New York: Routledge, 2005), 56–75; here 64.

дентов. Не входя в детали этого диагноза, выделим главное: Маркузе хранил верность исходному проекту франкфуртской школы тем, что связывал теоретизирование на базе эмпирических исследований, но определенное нормативными философскими целями, с реальными историческими субъектами, способными осуществить преобразования. Именно эта особая комбинация идей больше всего способствовала международному признанию Маркузе.

Но свою роль сыграл и особый тон его сочинений, экзистенциальное напряжение, которое отличало Маркузе от большинства конкурирующих теоретиков. И как он ни отрешивался от роли отца-основателя движения, в нем все же видели своего рода патрона⁵⁵. Говорили о трех «М», имевших первостепенное значение для студентов: Марксе, Мао и Маркузе. В 1967 г. в Западном Берлине его принимали как «мессию» (по его собственному замечанию, добавив четвертое «М»)⁵⁶. Казалось, что он на редкость хорошо понимает студентов и движущие ими мотивы. Маркузе сам сформировался под влиянием немецкого молодого движения начала столетия, а теперь предлагал головокружительную смесь из «политики и эроса», «новую чувственность». Немаловажным было и обоснование им идеи тотального отказа, от которого нельзя откупиться парой реформ. Маркузе превозносил хиппи за «агрессивную неагрессивность», а в 1970-х гг. поддержал формулу Кон-Бендита о «единстве сопротивления и жизни»⁵⁷. В отличие от других представителей франкфуртской школы старшего поколения, он не только общался со студентами, но и поощрял их не ограничиваться его теориями. Маркузе писал Теодору Адорно, что готов смириться с (теоретическим) отцеубийством, хотя признавал, что это его ранит⁵⁸.

Самое главное заключалось в том, что Маркузе, будучи сторонником либертарианского социализма, принимал студентов всерьез (что делали немногие), хотя и повторял

55. Herbert Marcuse, *Nachgelassene Schriften*, vol. 4: *Die Studentenbewegung und ihre Folgen*, ed. Peter-Erwin Jansen (Springe: zu Klampen, 2004), 105.

56. См. цитаты из переписки с Лео Левенталем: *ibid.*, 185–6.

57. Marcuse, *Nachgelassene Schriften*, 132.

58. Цит. по: Peter-Erwin Jansen, «Vorwort», in *ibid.*, 7–14; here 10.

вновь и вновь, что сами по себе они не являются в настоящее время революционным субъектом⁵⁹. Во Франции рабочие (не компартия, эта «партия порядка», и не коммунистический профсоюз, Всеобщая конфедерация труда) присоединились к студентам. А в Германии рабочие к студентам не присоединились, и у Маркузе с его идеей всепроникающей манипуляции и «моронизации» (его собственный термин) имелось свое объяснение тому, почему этого не произошло.

Поскольку потребность в конкретных организационных инструментах для осуществления радикальных перемен становилась все более настоятельной, Маркузе предложил особый способ политического действия, не ориентировавшийся ни на массовые партии, ни на организацию переворота. Вместо этого предлагалась «диффузная дезинтеграция системы» через локальные и региональные «открытые» и «автономные» группы⁶⁰. Впрочем, в конце концов, подобно многим студенческим лидерам, Маркузе заявил, что точная природа революционных целей и наилучших способов противодействия тому, что он называл «неоимпериалистической, глобальной реорганизацией капитализма»⁶¹, должна быть найдена *en route*, по ходу дела. Практика не может выводиться из теории, но эксперименты по политическому действию и локальные «реформы» должны помогать построению теории⁶². По его словам, «праксис должен быть не в конце, а в начале теории, и не заходить на территорию, которая располагается за пределами теории».

В ретроспективе кажется поразительным, как много фундаментальных посылок защитники контркультуры разделяли со своими оппонентами. Масштабы и дальнейший темп модернизации считались само собой разумеющимися, как и экономическое изобилие; общей с технократами была тенденция приуменьшать значение государства; и, подобно технократам, они отказывались от традицион-

59. Marcuse, *The Problem of Violence*, 57.

60. *Ibid.*, 108–110.

61. Marcuse, *Konterrevolution*, 12.

62. *Ibid.*, 139.

ного языка политической власти⁶³. Почти все эти послышки были опровергнуты вскоре после 1968 года, хотя в одних странах на это понадобилось гораздо больше времени, чем в других.

Долгий май: автономия

Италия, даже независимо от 1968 года, занимает особое место в послевоенной европейской политической мысли. Ни одна другая европейская страна не породила такого количества низовых радикальных движений, возникавших в условиях непрерывного консервативного правления⁶⁴. Но и итальянский 1968-й был особенным: нигде социальные волнения не носили столь затяжного характера, как в Италии (некоторые наблюдатели даже говорили о «нескончаемом мае»)⁶⁵. *Contestazione*, протест, продолжался по меньшей мере до конца 1970-х гг. и породил чрезвычайно богатый (но при этом путанный и противоречивый) поток радикальной политической мысли. С учетом этой *longue durée* протеста такой теоретик, как Антонио Негри, заявлял, что в Италии революционный опыт и его теоретическая формулировка идут рука об руку — в отличие от теории, предшествующей праксису (как у немцев), или теории, догоняющей всегда ускользающий момент времени, не продолжавшийся и месяца (как, по-видимому, дело обстояло во Франции)⁶⁶. Главное заключалось в том, что только в Италии политические языки антиавторитаризма пост-68-го и более ранние идиомы классового конфликта объединились в одно целое, несмотря на все трения между старыми и новыми левыми, между рабочими и *movimento studentesco*, между маоистскими

63. Этот момент не ускользнул в свое время от критиков Маркузе слева. См., например: Claus Offe, *Technik und Eindimensionalität: Eine Version der Technokratiethese?* // Jürgen Habermas (ed.), *Antworten auf Herbert Marcuse* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1968), 73–88.

64. Tobias Abse, *Italy: A New Agenda* // Perry Anderson and Patrick Camiller (eds), *Mapping the West European Left* (London: Verso, 1994), 189–232; here 189.

65. Gerd-Rainer Horn, *The Spirit of '68: Rebellion in Western Europe and North America, 1956–1976* (New York: Oxford University Press, 2007), 111.

66. Antonio Negri, *Du retour: abécédaire autobiographique* (Paris: Calman-Lévy, 2002).

и другими радикальными левыми группами с одной стороны и более или менее просоветской коммунистической партией, КПИ, — с другой⁶⁷.

В конце 1950-х гг. секретная речь Хрущева и подавление венгерского восстания привели к выходу из компартии нескольких тысяч человек. В результате за пределами КПИ возникло новое политическое движение. Под руководством друга Грамши Пальмиро Тольятти послевоенные коммунисты, по сути дела, решили занять грамшианскую позицию: по меньшей мере риторически поддерживая буржуазную демократию в том виде, как она существовала (несмотря на то что христианские демократы не допускали коммунистов в правительство), они постепенно выстраивали культурную гегемонию в своих многочисленных региональных и городских цитаделях (таких как Тоскана и Эмилия-Романья). Итальянская республика была в культурном смысле фактически расколота между красными и белыми, однако с виду непрекращающаяся *Kulturkampf* на самом деле сводилась к стабильным, уважительным отношениям, чем-то напоминавшим конфликт между священником Камилло и членом компартии мэром Пеппоне в сатирических рассказах Джованнинио Гуарески. Поэтому более радикальные левые мыслители сделали очевидный вывод, что КПИ, по сути, отказалась от планов радикальных политических преобразований. В то же время эти интеллектуалы не считали, что *fare come in Russia* (т. е. подражание Советскому Союзу) способно решить проблемы Италии.

Социалист-теоретик Раньеро Панцери выступил в 1950-х гг. против сознательных двусмысленностей тольяттизма, в частности против концепции «прогрессивной демократии» Тольятти, которая казалась специально придуманной для того, чтобы иметь возможность колебаться между внутрисистемной реформой и революцией. Вместо этого, настаивал Панцери, необходимо вернуть классовую борьбу на заводы и фабрики, не надеясь на перемены, которые якобы сулил альянс рабочего класса с прогрессивными предста-

67. Donatella Della Porta, *Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany* (New York: Cambridge University Press, 1995).

вителями буржуазии⁶⁸. Согласно Панцери, все итальянские левые, т. е. и социалисты и коммунисты, должны были вновь объединиться вокруг старых идей фабрично-заводских Советов. Когда социалисты примкнули к христианским демократам в правительстве, Панцери фактически махнул рукой на собственную партию. В 1961 г. он учредил журнал *Quaderni Rossi* («Красные тетради»), на страницах которого началось обсуждение теории операизма (*operaismo*), делавшей особый акцент на реальной классовой борьбе на фабриках и заводах в противовес партийно-политическому маневрированию в рамках существующих институтов республики и корпоративистской «политике продуктивности».

Первые тексты итальянского движения *nuova sinistra* (новых левых) были наполнены социологическим энтузиазмом. В частности, исследования, проведенные в 1950-х гг. на заводах «Фиат» и «Оливетти», демонстрировали, что главной формой господства может выступать сам производственный процесс и что недостаточно просто захватить средства производства — должны измениться сами условия производства, и это — более правильный исходный пункт для революционных преобразований, чем сосредоточенный на государстве «неореформизм» тольяттинской КПИ. Таким образом, радикалы отвергали не только культурный подход Грамши (по крайней мере в той его интерпретации, которая давалась партийными чиновниками), но и благосклонное отношение сардинца к «американистской» модернизации фабрик и заводов. Как и следовало ожидать, Панцери и его сторонники подверглись критике со стороны КПИ за «детскую болезнь левизны» и «опору на стихию»⁶⁹.

Еще больше радикализировали эту программу два ученика Панцери: Марио Тронти и Антонио Негри. На обоих произвели глубокое впечатление беспорядки, устроенные рабочими «Фиата» на площади Пьяцца Статутто в Турине в 1962 г. В отличие от Панцери, они считали их свидетельством того, что революционная рабочая автономия способна сокрушить капитализм. При этом они расширили по-

68. Richard Drake, *The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy* (Bloomington: Indiana University Press, 1989), 40.

69. *Ibid.*, 46.

нятие потенциального революционного субъекта: Тронти доказывал, что внимание следует сосредоточить не на фабриках и заводах в узком промышленном смысле слова, а скорее на «социальных фабриках», т. е. на процессах угнетения, имеющих место во всем обществе. Негри утверждал, что понятие «массового», т. е. неквалифицированного, наиболее униженного рабочего, первоначально находившееся в центре концепции операизма, должно уступить место понятию «социализированного рабочего». Подобно Тронти, он полагал, что муштра и угнетение, практиковавшиеся на заводах и фабриках, распространились как вирус и охватили все общество. Негри указывал на целый ряд групп, не охватываемых традиционным определением рабочего класса: «временные рабочие», студенты, женское движение, — по существу, все они страдали от угнетения, присущего традиционной семье и традиционным способам воспитания. Это теоретическое переключение было явно нацелено на то, чтобы поддержать слабеющий огонь революционных надежд. Даже если рабочий класс был теперь вполне доволен, получив свои холодильники, существовали и другие группы, которые могли встать на защиту автономии. Эта идея напоминала мысли Маркузе о маргинализированных слоях одномерного общества.

Таким образом, теория операизма с фигурой рабочего в центре была заменена концепцией всеобщей автономии; однако, как и прежде, любая концепция ленинской партии-авангарда считалась неприемлемой. Вместо нее теоретики выдвигали концепцию автономии, в которой главную роль должны были играть местные комитеты и сообщества, а также прямое действие любого, кто желал устроить забастовку на «социальной фабрике», отказываясь работать, или проводя так называемое *autoriduzione* (самовольное снижение цен), или не оплачивая проезд на транспорте и аренду жилья.

Государство как враг

Часто отмечалось, что студенческое движение 1968 года распалось на множество мелких групп, каждая из которых исповедовала становившиеся все более эзотерическими доктрины. Впрочем, движение с самого начала не было

сколько-нибудь единым, а в Италии (в меньшей степени в Германии, и в еще меньшей — во Франции) *contestazione* (протест) 1970-х гг. был значительно более массовым феноменом, чем 1968 год. В событиях 1968 года как таковых участвовало несколько десятков тысяч человек, в то время как в высшей степени фрагментированные оппозиционные культуры 1970-х гг. насчитывали сотни тысяч участников. Как правило, чем более доктринерскими они становились, тем меньше в них было интеллектуальности в традиционном смысле слова (а иногда и просто разумности). В декабре 1968 г. британский социалист старшего поколения Ральф Милибэнд, преподававший в ЛШЭ, воскликнул в отчаянии: «Я поражен интеллектуальной нищетой студенческого движения, которая сопровождается вызывающим тревогу тоталитаризмом, несмотря на все антиавторитарные заявления. [Один из протестующих студентов] <...> сказал мне вчера, что при социализме „социология завянет“. Я спросил, что займет ее место. „Марксизм“, — сказал он. „Что это значит?“ — спросил я. „Чтение Маркса, Энгельса, Ленина, Грамши и т. д.“, — сказал он, добавив, что это не помешает людям читать другие книги, если они того пожелают. Меня поражает в этой глупости полное отсутствие уважения к интеллектуальной деятельности, исследованию, научной проработке очень сложных проблем и даже отказ признавать само существование сложных проблем. Эти люди хотят социальной науки, которую массы могли бы насвистывать, используя выражение... Жданова о социалистической музыке»⁷⁰.

Некоторые группы посылали теперь своих представителей на фабрики для мобилизации или хотя бы организации рабочих, но большинство было сосредоточено на себе и становилось все более сектантским. Ни одна из этих групп так и не смогла решить известный «организационный вопрос» и сконструировать реальный революционный субъект. Итальянская *Lotta Continua* («Борьба продолжается») взяла, например, в качестве своего девиза принцип «организация есть процесс», однако процесс казался бесконечным и колебался между принципом централизма и идеа-

70. Newman, *Miliband*, 144–5.

лом *spontaneismo* (стихийности)⁷¹. Такое же противоречие существовало между попытками мобилизовать маргинальные группы, как предлагал Маркузе, и обращением к более широкому слою населения. Радикалы колебались между провоцированием более традиционного массового протеста и индивидуализированными, почти анархическими подходами, такими как новаторская итальянская забастовка (*sin-giozzo*), а также инициативами в областях, которые до сих пор не охватывались революционной агитацией: а именно в армии и в тюрьмах⁷².

Некоторые активисты в конце концов пошли по пути «прямого действия», понятого как нападение на государство и капитализм. Как часто бывает, те, кто сделал такой выбор, считали, что они просто вынуждены защищаться, поскольку государство или «система» напали первыми. Их (поставленная ими самими) задача состояла в участии в антиимпериалистической или, как это чаще всего формулировалось, в антифашистской борьбе. Это выглядело более или менее правдоподобно в Италии, где в конце концов некоторые части государства поддерживали «стратегию конфликта», чтобы спровоцировать в стране авторитарный переворот. Однако в Германии об этом не могло быть и речи. Конечно, немецкое государство перегнуло палку в своей реакции на студенческий протест, а созданная Аденауэром «дисциплинированная демократия» иногда казалась не только косной, но и потенциально авторитарной. Рассказывали, что Гудрун Энслин, одна из основательниц Фракции Красной Армии, более известной под названием банды Баадера — Майнхоф, отреагировала следующим образом на стрельбу по безоружному и мирно протестовавшему студенту во время антишахских демонстраций 1967 г.: «Они убьют всех нас... Вы знаете, с какими свиньями мы имеем дело. Мы имеем дело с поколением Освенцима. С людьми, которые устроили Освенцим, обсуждать нечего. У них оружие есть, у нас его нет. Мы должны вооружиться»⁷³. Это отличалось от вывода, который сделали студенты. Но лидер

71. *Ibid.*, 92.

72. Ginsborg, *History*, 315.

73. Butz Peters, *Tödlicher Irrtum: Die Geschichte der RAF* (Berlin: Argon, 2004), 72.

RAF Ульрике Майнхоф всегда говорила, что ее организация возникла на руинах студенческого движения. В манифестах RAF в качестве достижения студенческого движения отмечалось укоренение в сознании, по меньшей мере в сознании интеллигенции, марксизма-ленинизма как единственной теории, объясняющей «политические, экономические и идеологические факты» и их отношения⁷⁴.

В решении «организационного вопроса» антиавторитарные идеалы студентов больше не учитывались. Террористов интересовали модели третьего мира, в частности «Краткий учебник городского партизана» бразильского марксистского теоретика Карлоса Маригеллы, который был опубликован на немецком языке в мае 1970 г. Они взяли также на вооружение формулу Мао о «вооруженной борьбе как высшей форме марксизма-ленинизма», а в качестве самой первой задачи поставили его требование «провести четкую грань между своими и врагами».

Несмотря на некоторые возражения, группа Баадер — Майнхоф, по сути дела, требовала примата практики над теорией. На кону стоял вопрос, находится ли Германия в революционной ситуации или нет, и ответ мог дать только «революционный праксис». Члены группы заявляли, что не могут ждать, пока «массы» дадут согласие: ясно выраженное согласие должны были породить (или так они надеялись) сами действия группы. В более откровенной формулировке: «Мы должны пойти в атаку, чтобы разбудить революционное сознание масс».

В высказываниях членов RAF часто слышались несомненные антитеоретические нотки: «студенческие лидеры говорят — RAF действует». Это было особенно характерно для весьма харизматичного Андреаса Баадера, который считал себя своего рода мачо: он смеялся над другими членами группы, когда те принимались цитировать Маркса и Энгельса, пока они не замолкали. Лидеры RAF любили повторять лозунг уругвайской партизанской группы *Tupamaros*: «На этом историческом этапе никто не может отрицать, что вооруженная группа, какой бы мелкой она ни была, имеет больше шансов на преобразование в большую народную ар-

74. Butz Peters, *Tödlicher Irrtum: Die Geschichte der RAF*, 268.

мию, чем группа, ограничивающаяся провозглашением революционных доктрин»⁷⁵.

Повторяла ли себя история как трагедия или как фарс? Иногда казалось, что *RAF* ближе к традиции анархистов, а иногда они выглядели реинкарнацией русских террористов конца XIX в., которых кумир Ленина Чернышевский прославлял как «новых людей». Они явно считали себя авангардом, ядром будущих совершенно новых, идеологически реформированных людей. В глазах некоторых своих левых сторонников они казались харизматической организацией — их преследовали на полицейских машинах, они были безоглядно преданы делу и устраивали в тюрьмах голодовки со смертельным исходом. Но они, конечно же, не были ни организацией ленинского типа, ни прямым порождением идей 68-го. И тем не менее их нельзя представить вне более широкого контекста коммунистического теоретизирования в Европе XX в. и о Европе XX в., особенно той идеи, что капитализм использовал фашизм для самосохранения, и, следовательно, в любой момент капиталистические государства могут показать свое истинное фашистское лицо.

Как оказалось, «праксис» действительно дал ответ на вопрос, была ли в Западной Германии революционная ситуация. 68-й стал последней главой в истории восстаний в Европе, а не первой главой в истории новой революционной эпохи. Малочисленная вооруженная группа не могла разбудить «массы», которые питали почти единодушное отвращение к ее методам. Но она все же смогла глубоко поколебать самоуверенность самопровозглашенной воинствующей демократии. Во время событий «немецкой осени» 1977 г. был похищен промышленник (и бывший нацист) Ганс Мартин Шлейер и угнан самолет «Люфтганзы». Эти акции ставили своей целью освобождение из тюрьмы лидеров группы Баадера — Майнхоф (в 1976 г. Майнхоф повесилась в камере после того, как ее изолировали от других заключенных-террористов). В этой чрезвычайной ситуации западногерманские политические элиты едва не потеряли самообладание и не перешли границы нормальной парламентской политики. Говорят, что на секретных встречах ключевых прави-

75. *Ibid.*, 272.

тельствующих и оппозиционных лидеров в 1977 г. некоторые политики даже предлагали сделать террористов «контрзаложниками» и расстреливать их в ответ на расстрелы заложников. Такие меры стали бы не только признанием террористов как равноправных комбатантов, но и поставили бы знак морального равенства между государством и террористами, бросающими ему вызов в новом «состоянии природы».

В конечном итоге правительство канцлера Гельмута Шмидта справилось с искушением и продолжало обращаться с членами *RAF* как с уголовными преступниками. С другой стороны, то, как на самом деле обращались с заключенными членами *RAF*, и спешное принятие новых законов в ответ на террористические акты делали очевидным, что группа Баадера — Майнхоф не была обычной бандой уголовников. Из соображений воинствующей демократии было решено также ввести запрет на занятие коммунистами постов в госаппарате. Террор никогда не представлял угрозы для государства, подобного Федеративной Республике, однако он продемонстрировал, до какой степени нервно относились некоторые режимы в период после 1945 г. к своей стабильности и в конечном счете к своей демократии.

Италия нервничала особенно сильно, и во многих отношениях на то имелись причины. В 1970 г. Роберто Курчо, студент нового и прогрессивного университета Тренто, на тот момент единственного итальянского университета, имевшего факультет социальных наук, основал Красные бригады. Это была самая радикальная группа в рамках значительно более широкого движения воинствующих левых (незамедлительно названного теоретиками «массовой интеллектуальностью»). В целом эти воинствующие активисты были ближе к официально признанным партиям, чем доктринерские группировки в Западной Германии. С другой стороны, выбор итальянскими террористами своих мишеней был гораздо более «демократическим»: среди жертв были не только видные политики и влиятельные промышленники, которым надлежало жить в страхе, но и менеджеры среднего звена и не самые высокопоставленные бюрократы, которым простреливали колени чашечки, которых похищали, а иногда убивали⁷⁶.

76. Рискую быть обвиненным в распространении клише об Италии, отметим, что имело место также то, что Нил Андерсон назвал «зловещей игри-

Внимание итальянских левых было приковано не столько к империализму, сколько к тому, что все чаще рассматривалось как «двойное государство»: с одной стороны официальные правовые и политические институты, а с другой — тайные теневые круги, готовые на все, чтобы защитить Италию от коммунизма, если необходимо — с помощью диктатуры. «Стратегия конфликта» и «черный террор» крайне правых политических групп должны были усилить поляризацию на левых и правых и ставили в качестве своей цели государственный переворот ради защиты демократии, поскольку даже *democrazia protetta* (итальянская версия воинствующей демократии), как утверждалось, не способна себя защитить⁷⁷. Как и для многих других правых мыслителей послевоенной Европы, их идеалом оставалась авторитарно-бюрократическая президентская система, нечто вроде радикализированного голлизма.

Продолжавшаяся поляризация итальянского общества вынудила целый ряд теоретиков правого толка заявить в 1970-х гг. о приближении революции и последнего сражения между силами реакции и «реальным пролетариатом», включающим разного рода маргинальные группы. Именно тогда итальянские левые обратились к идеям Карла Шмитта. Шмитта считали теоретиком политического конфликта не на жизнь, а на смерть и в каком-то смысле противоядием от Грамши, у которого всегда на первом месте стояло завоевание культуры и лишь затем политическая борьба⁷⁸. Другими словами, молодые теоретики стремились к маневренной, а не к бесконечной позиционной войне, которую предлагал

востью итальянского городского терроризма» — стиль имел значение в том смысле, который не имел значения для серьезных немцев, оставшихся серьезными даже в самых романтических обстоятельствах. См., например: Giorgio, *Memoirs of an Italian Terrorist*, trans. Antony Shugar (New York: Carroll & Graf, 2003).

77. Henner Hess, *Italien: Die ambivalente Revolte // Angriff aus das Herz des Staates: Soziale Entwicklung und Terrorismus*, vol. 2 (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1988), 9–166; here 53–9.

78. О рецепции Шмитта в Италии и, в частности, о «марксистских шмиттианцах» см.: Ilse Staff, *Staatsdenken im Italien des 20. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Carl Schmitt-Rezeption* (Baden-Baden: Nomos, 1991), и Jan-Werner Müller, *A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-war European Thought* (London, 2003), 177–80.

Тольятти, и считали, что Италия готова к сражению. Они требовали полного уничтожения государства и, даже в большей степени, чем немцы, настаивали на самой решительной повстанческой стратегии.

В конце концов государство ответило глубоко нелиберальными, но очень эффективными мерами. «Свинцовые годы» после убийства Красными бригадами в 1978 г. популярного пятикратного христианско-демократического премьер-министра Альдо Моро были ознаменованы массовыми арестами, а также заключением в тюрьму некоторых теоретиков движения автономизма, таких как Антонио Негри, который был обвинен не просто в «антигосударственном мятеже», но и в руководстве Красными бригадами (обвинение, которое впоследствии было с него снято). Многие бежали во Францию, где президент Миттеран пообещал не экстрадировать тех, кто не причинил «телесного вреда» и раскаивается, и смогли вернуться в Италию лишь в начале XXI в.

Взрыв 1968 года нанес сильный удар по неповоротливой Французской коммунистической партии, которая разоблачила себя, когда ситуация прояснилась, как силу, стоящую на страже существующего порядка. Нечто подобное произошло и в Италии, но по иной причине, нежели близорукая ортодоксия французов. Лидер Итальянской коммунистической партии Энрико Берлингуэр извлек (горький) урок из переворота 1973 г. в Чили, сместившего Сальвадора Альенде. С помощью «исторического компромисса» с христианскими демократами он стремился достичь возможно более широкого демократического консенсуса, защищая Вторую республику и тем самым противодействуя «стратегии конфликта»⁷⁹. «Еврокоммунисты», такие как Берлингуэр и испанский коммунистический лидер Сантьяго Карильо, теперь однозначно встали на сторону «легальной революции», следуя идее Ласки о революции по согласию⁸⁰. Вместо насильственной революционной деятельности они избрали парламентский путь к власти — и к революционному преобразованию государства.

79. Eley, *Forging Democracy*, 409.

80. Santiago Carrillo, *Eurocomunismo y estado* (Barcelona: Editorial Critica, 1977).

В конце концов Италия сумела избежать того радикального выхода из тупика, который произошел в Австрии в период между двумя мировыми войнами. По сути дела, итальянские коммунисты стали защитниками демократической законности, даже «щитом конституции». Но защита коррумпированного государства имела свои издержки и привела в 1980-х гг. к значительным электоральным потерям. «Еврокоммунизм» породил надежды среди европейских левых в период, когда любые надежды на Советский Союз полностью рассеялись, однако все закончилось не взрывом, а всхлипом.

Намерения и последствия

В ретроспективе понятно, почему сигнал тревоги услышали не только консерваторы, но и либеральные антитоталитаристы: студенты, казалось, презирали парламент так же, как крайне левые и крайне правые в 1920-х гг., а подчеркивание стихийности, «непосредственного опыта», казалось, прямо противоречило веберовской этике ответственности в любой ее форме (и подтверждало диагноз Вебера, что господство безличных сил, таких как технология, всегда порождает в качестве мнимого противоядия «перевозбужденную» субъективистскую культуру). Как с горечью писал ведущий французский веберовец Раймон Арон, достигнутые с таким трудом завоевания либеральной политической культуры в странах вроде Франции и Германии теперь были безрассудно перечеркнуты.

И все же реальные долгосрочные последствия *charade* (маскарада или фарса), как Арон называл 1968 год, очень отличались от оценок того времени. Конечно, месяц май не стал «причиной» масштабных социальных и культурных преобразований. Но во многих европейских странах он послужил их предвестником. Потому что перемены все же начались: в частности, возник квазилибертарианский язык «самореализации», кульминацией которого стало нарциссическое «я-десятилетие» 1970-х гг. и то, о чем Маркузе предупреждал как о «политике в первом лице». Но это было не просто (в терминах Вебера) «стерильное возбуждение». По всей Европе объектом нападок стала традиционная се-

мья — теперь ее считали главной преградой для самовыражения. В некоторых странах, таких как Италия, это произошло впервые в их истории⁸¹. Студенты, сыновья и дочери *Mittelstand* и *ceti medi* (средних слоев), стоявших на правых позициях на протяжении почти всего XX в. (и игравших ведущую роль в продвижении фашизма в 1920-х и 1930-х гг.), теперь в большинстве своем выступали на стороне левых.

В то же время в значительной мере исчезла вера в способность обществ к коллективному самопреобразованию через массовое политическое действие, изнутри или извне политических институтов, таких как парламенты. Теперь считалось, что значение имеют не коллективные, а индивидуальные преобразования. События и идеи 68-го и последовавших лет поставили под сомнение традиционные представления о «политическом», уничтожив барьеры между публичным и приватным и придав повседневному опыту явный политический характер. Именно на это надеялись ситуационисты — хотя им бы пришлось по душе и рабочие Советы.

Перри Андерсон ликовал: «долгая ночь теории» 1960-х гг. наконец закончилась (во всяком случае, в Великобритании), но рассвет не возвестил ничего похожего на обычную политическую революцию. Вместо этого произошла революция в ценностях и культуре, которая, по крайней мере на какое-то время, оставила в покое главные политические институты. Кроме того, она оттеснила на второй план признанные (и в известной мере лояльные) оппозиционные силы вроде французской компартии, реакцией которой на акции студентов стала такая же бессильная ярость, какую проявили ведущие сторонники коммунизма в среде интеллектуалов. Уже в июне 1968 г. режиссер Пьер Паоло Пазолини опубликовал в журнале *Espresso* антистуденческую поэму, которая начиналась словами: «Теперь журналисты всего мира (включая /телевизионных)/ лижут вам задницы (как все еще говорят на студенческом /жаргоне). Но не я, дорогие мои /У вас лица испорченных богатых деток...»⁸².

Наиболее важной из *реальных* революций оказался, несомненно, феминизм, или то, что обычно называют «фемин-

81. Ginsborg, *History*, 304.

82. Цит. по: *ibid.*, 307.

низмом второй волны», противопоставляя его более ранней борьбе за политические права, в частности за право голоса. Политика консенсуса была патерналистской и во многом патриархальной. В этом отношении ничего не изменилось даже после того, как женщины получили избирательные права. Нет никакого сомнения (об этом часто забывают, и не в последнюю очередь сами участники событий, когда вспоминают бывшее), что феминизм второй волны был не частью 68-го в узком смысле слова, а реакцией на него. Термин «студенческие лидеры» в конце концов обозначал мужчин, которые посылали женщин за чаем, кофе или дополнительными копиями листовок. Мужчины любили женское общество и революционных фанаток, не говоря уже о том, что называлось *sozialistischer bumszwang* (социалистическим императивом потрахаться). Например, Барбаре Гёррес, жене Йоханнеса Аньоли, приходилось вставать в пять утра, чтобы и позаботиться о дочери, и приготовить теоретiku завтрак. Избрание ее «генеральным секретарем» общества революционеров означало, что ей придется взять на себя все печатание на машинке⁸³. В конце концов французские феминистки сделали вывод, что приготовление стейка для революционера занимает столько же времени, сколько приготовление стейка для реакционера⁸⁴.

Снова и снова наступали моменты шока, но в конце концов приходило освобождение, когда женщины левых убеждений сознавали, что должны проводить свою собственную политику. Когда было проигнорировано выступление в дискуссии Хельке Зандер, режиссера кино и театра и основательницы Комитета действий за освобождение женщин в Германии, женщины закидали студенческих лидеров-мужчин помидорами. Итальянские феминистки, организовавшие шествие в Риме, чтобы привлечь внимание к несправедливостям в законе о семье, потребовали, чтобы женщины

83. Görres, Agnoli. Говорят, что Дучке как-то раз заметил, какое огромное революционное значение имела бы всеобщая забастовка домашних хозяек, однако эта его мысль не получила никакого продолжения.

84. Некоторые студенческие лидеры отвечали, что женщины всегда могут устроить «бойкот Лисистраты». В конце концов, все сводилось к домашней войне — но «дом» мог также означать и «спальню». См.: Gilcher-Holtey, 1968.

из различных левых радикальных групп участвовали в нем именно как женщины, а не как представительницы групп с их собственными символами и лозунгами. На Виа Кавур несколько мужчин из *Lotta Continua* попыталась силой встроиться в колонну. Встретив сопротивление, они принялись толкать и избивать женщин-участниц шествия⁸⁵.

Такие моменты укрепляли феминисток в мысли, что они уже не могут довольствоваться «женским вопросом» и ролью, отведенной им в более широком социалистическом движении, в котором, если возникала проблема выбора, на первом месте всегда оказывались интересы рабочих-мужчин. Разумеется, борьба женщин была похожа на любую другую борьбу. Поначалу угнетенные даже не имели своего политического языка; они с трудом, иногда испытывая смущение, пытались артикулировать свою ситуацию и возможные способы ее исправления. Не в силах была помочь и имевшаяся в наличии «теория». Напротив, как отмечала в 1969 г. Шейла Роуботэм, «имеется задача связывания во едино. Теория и отвлеченный язык, на котором она выражается, являются способами выхода за пределы непосредственного. Теория кристаллизует бесчисленные опыты, она покрывает мир пологом, который позволяет ему предстать как связное целое. Она делает реальность постижимой. Но эта теория построена с опорой на опыт угнетателей и, следовательно, отражает мир с их точки зрения. Впрочем, сами они считают ее суммой мира как такового»⁸⁶.

Имелось в виду, что движение за освобождение женщин не должно оперировать теориями эксплуатации и угнетения, выработанными в применении к классу. Как доказывала Роуботэм, «эти эксплуатации являются лишь частью угнетения некоторых женщин. Полный масштаб нашего угнетения не вскрывается выявлением этих отдельных форм эксплуатации. Женский вопрос может быть понят только с точки зрения тотального процесса, состоящего из целого ряда репрессивных структур. Поэтому, хотя конкретная

85. Об этом инциденте (и его последствиях) см.: Sidney Tarrow, *Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975* (Oxford: Clarendon, 1989), 325-48.

86. Sheila Rowbotham, *Women's Liberation and the New Politics*, Spokesman Pamphlet, no. 17 (n.d.), 29.

форма угнетения меняется, сам процесс продолжает действовать как в докапиталистическом, так и в посткапиталистическом обществе. Функция революционной теории заключается в выявлении меняющейся формы таких субординаций»⁸⁷.

Конечно, феминистская теория существовала и раньше, например, она была изложена в знаменитой книге Симоны де Бовуар «Второй пол», в которой доказывалось, что женщина является для мужчины «Другим» и что женщиной не рождаются, а становятся. Бовуар призывала женщин понять, что яичники не должны быть приговором и осуждать на «вечное стояние на коленях». Но феминизм конца 1960-х гг. был радикальнее экзистенциалистского феминизма Бовуар (от которого она и сама впоследствии отреклась, сочтя его недостаточно материалистическим: в 1963 г. она заявила, что «лишь революция» изменит «положение женщины», и выступила тем самым против тенденции разделять вопросы труда и феминизма)⁸⁸. Но еще через несколько лет Бовуар осознала «специфичность борьбы женщин». В 1970 г. в беседе с Жан-Полем Сартром (или, скорее, на устроенном ему допросе) она разъясняла: «Ты принял „Второй пол“. Он тебя никак не изменил. Возможно, следует добавить, что он не изменил и меня тоже, потому что, мне кажется, у нас в то время были одинаковые взгляды. Мы оба считали, что социалистическая революция обязательно приведет к эмансипации женщин. Потом мы разочаровались... Это... стало, примерно в 1970 г., решающим аргументом в пользу того, чтобы перейти на феминистские позиции. Под этим я имею в виду признание специфического характера борьбы женщин»⁸⁹.

Новый феминизм сосредоточился на конкретных правовых преобразованиях. В какой-то мере именно по этой причине ему удалось добиться конкретных результатов: в 1970-е гг. была проведена реформа законов о разводе (а в Италии были впервые приняты сами законы), а также, что

87. *Ibid.*, 29.

88. Beauvoir, *Force*, 202; Бовуар С. де. Сила обстоятельств. С. 199.

89. Perry Anderson, Ronald Fraser, Quintin Hoare and Simone de Beauvoir, *Conversations with Jean-Paul Sartre* (Calcutta: Seagull Books, 2006), 75.

самое важное, был смягчен или де-факто отменен запрет на аборт. Европейские государства наконец начали отказываться от права контролировать то, что происходит в женских матках.

Таким образом, феминизм придал новый импульс опережающей или «прообразной» концепции политического действия, которая показалась бы очень знакомой австромарксистам: даже если государство как таковое еще не стало социалистическим, социальное изменение в семье, в сфере личной жизни должно быть осуществлено здесь и теперь. Лозунг американской феминистской организации NOW, что личное является политическим, был подхвачен повсюду в Европе⁹⁰.

Политика консенсуса привела к серьезному расширению сферы деятельности государства. Но это не означало усиления его власти. В ходе событий 1968 года и в последующие годы власть государства и глубоко укоренившиеся привычки почитания власти подверглись серьезному испытанию. Политика консенсуса, разделявшаяся «чопорными консерваторами, уставшими либералами и разочарованными радикалами» (Ч. Райт Миллс), была призвана к ответу за ее «элитизм» и вертикализм». Люди, настаивали участники событий 1968 года, желали не просто иметь своих представителей, но и принимать участие в принятии решений. Кроме того, разные люди желали быть представленными по-разному — и прежде всего на этом настаивали женщины. «Автономия» была не просто лозунгом.

Государства и даже конституции все это пережили, не претерпев изменений. Но что изменилось навсегда, так это *moeurs* (нравы), и не в последнюю очередь потому, что 1968 год имел потрясающий успех как форма социально-культурной критики, или, по выражению британского теоретика новых левых Стюарта Холла, «культурного восстания». Можно также вспомнить важный для того времени термин «культурная революция». Умберто Эко отмечал: «Даже если никаких видимых следов 1968 года и не осталось, он глубоко изменил то, как все мы, по крайней мере в Европе, себя ведем и как относимся друг к другу. Отноше-

90. Ginsborg, *History*, 368–9.

ния между боссами и рабочими, студентами и преподавателями, даже между детьми и родителями стали более открытыми. И они уже не будут такими, какими были прежде»⁹¹. Немецкий социальный теоретик Никлас Луман предложил еще более сжатую формулировку: после 1968 года, заявил он, появилась возможность ходить по газонам. Так что консервативные голлисты были в каком-то смысле правы: смысл 1968 года заключался в «кризисе цивилизации» (как и в кризисе политического представительства). И этот кризис разрешился преобразованием цивилизации.

Можно спорить, не оказалась ли эта культурная либерализация в конце концов именно той «репрессивной десублимацией», которой опасался Маркузе. Можно даже выразить сожаление, что много обсуждавшаяся «плюрализация стилей жизни» на самом деле придала капитализму большую легитимность. И можно также спросить: а не произошла бы либерализация и без 1968 года? Но в чем не может быть никаких сомнений, так это в том, что, как продемонстрировал 1968 год (и последующие годы), послевоенное фундаментальное конституционное урегулирование оказалось в целом совместимым с либерализацией культуры. Тем же, кто рассчитывал на более глубокие институциональные политические преобразования, оставалось опереться на две добродетели, которые Аньоли считал необходимыми для настоящего революционера: иронию и терпение.

91. Цит. по: Robert Lumley, *States of Emergency: The Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978* (London: Verso, 1990), 2.

ГЛАВА 6

Антиполитика и ощущение конца

Суверенитет всегда создается снизу, и теми, кто напуган.

Мишель Фуко

Быть демократом — значит, прежде всего, не бояться...

Иштван Бибо

Экономика — метод; цель — изменить душу.

Маргарет Тэтчер

Думаю, что конец коммунизма является серьезным предупреждением всему человечеству. Это сигнал, что эпоха высокомерного, абсолютистского разума подходит к концу и что из этого факта самое время сделать выводы.

Вацлав Гавел

Смешно приписывать развитому капитализму... какое-то исключительное родство с «демократией» или «свободой». Вопрос заключается только в одном: как они вообще «возможны» при его господстве?

Макс Вебер

ВРЕТРОСПЕКТИВЕ середина 1970-х гг. кажется апофеозом глубокого кризиса, поразившего не только Западную Европу, но весь Запад в целом. По крайней мере это была кульминация острейшего ощущения кризиса. Знаменитый доклад, подготовленный в 1975 г. для Трехсторонней комиссии, группы политиков и бюрократов высокого уровня из США, Западной Европы и Японии, выражал обеспокоенность тем, что европейские страны могут стать «неуправляемыми»: нефтяной шок 1973 г. привел к очевидному концу *trente glorieuses*, «тридцати славных лет» беспрецедентного (по сравнению с первой половиной XX в.) экономического роста и социального мира. Появился не известный ранее и не собиравшийся исчезать феномен стагфляции — сочетания безработицы и неконтролируемой инфляции. Немецкий философ Роберт Шпеман заявил, что с точки зрения интеллектуальной истории нефтяной шок стал самым важ-

ным событием послевоенного периода¹. В 1976 г. британский премьер-министр Джеймс Каллаган поведал потрясенному съезду лейбористской партии: «Мы привыкли думать, что выходить из рецессии и повышать уровень занятости можно снижая налоги и увеличивая государственные расходы. Говорю вам со всей откровенностью, что такого способа больше не существует». В том же году шведские социал-демократы впервые за последние сорок лет потеряли власть. Судя по всему, времена технократической тонкой настройки экономики, считавшейся ключом к послевоенному процветанию и, прежде всего, к стабильности, ушли в прошлое.

Стабильности угрожал еще один фактор — подъем внутреннего и международного, левого и правого терроризма. Терроризм поставил под вопрос единственный казавшийся несомненным атрибут современного государства, которому следовало оставаться незыблемым, несмотря на конец технократических иллюзий, а именно монополию на насилие. Однако терроризм можно было сдерживать, в отличие от поднявшейся в конце 1960-х гг. неудержимой волны социальной мобилизации с ее требованиями более широкого и разнообразного представительства и, в любом случае, более прямого участия в политике.

Кроме того, казалось, что потеряно самообладание. Как заявил Александр Солженицын в своей речи в 1978 г. перед ассамблеей выпускников Гарвардского университета, «падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом, и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии». Он отмечал, что «этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создается ощущение, что мужество потеряло целиком все общество»².

Каким же образом Западная Европа выбралась из того, что Хабермас в 1970-х гг. называл «легитимационным кризисом позднего капитализма», а Мишель Фуко уже в конце

1. Цит. по: Jens Hacke, *Philosophie der Bürgerlichkeit: Die liberalkonservative Begründung der Bundesrepublik* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), 105.

2. *Solzhenitsyn at Harvard*, ed. Ronald Berman (Washington, DC: Ethics and Public Policy Center), 5.

1960-х гг. — «смертью человека» (которая, помимо многого другого, по-видимому, означала конец иллюзий либерально-индивидуализма)? И каким образом Западная Европа пришла в конце 1980-х гг. к триумфальному либерализму Френсиса Фукуямы, а также к очевидному оправданию апологетов капитализма, таких как Хайек, и, по-видимому, к окончательной дискредитации ленинской модели политики? Было ли это, как считал целый ряд наблюдателей, результатом быстрой либерализации западноевропейской мысли, возможно, бравшей пример с диссидентских мыслителей на Востоке, многие из которых обратились к либерализму в той или иной его форме? Или это стало, как утверждали критики слева, победой неолиберального заговора, составленного еще в 1945 г. на горе Мон Пелерин, но захватившего, в лице главных заговорщиков, Хайека и Милтона Фридмана, командные высоты интеллектуального дискурса в 1970-х гг.? И что, собственно говоря, означало это возвращение (или движение вспять, в зависимости от точки зрения) для концепций демократии и особенно для судеб послевоенного западноевропейского конституционного урегулирования?

«Кризис демократии»

«Кризис демократии» — таково было прозаичное название влиятельного «Доклада об управляемости демократий для Трехсторонней комиссии», опубликованного в 1975 г. Доклад претендовал на то, чтобы дать ответ на широко распространенное мнение о «дезинтеграции гражданского порядка, падении общественной дисциплины, деградации лидеров и отчуждении граждан»³. Эксперты-социологи, которые его подготовили, предупреждали о «мрачном будущем, ожидающем демократическое правление». Более конкретно, их беспокоила «перегрузка» правительства требованиями, исходящими от общества, в частности тем, что было названо одним из главных исследователей, Сэмюелем Хантингтоном, «демократической волной», захлестнувшей

3. Michel Crozier, Samuel P. Huntington and Joji Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission* (New York: New York University Press, 1975), 2.

Соединенные Штаты и западные страны в целом. Слишком большое количество людей, желающих слишком многого *от* правительства, и в конечном счете слишком широкое участие *в работе* правительства создали серьезные проблемы в управлении государственными делами. Во всяком случае, таков был поставленный диагноз.

В дополнение к этому в предисловии к докладу Мишель Крозье, Хантингтон и Дзедзи Ватануки утверждали, что «в настоящее время серьезный вызов исходит от интеллектуалов и связанных с ними групп, которые заявляют о своем отвращении к коррупции, материализму и неэффективности демократии, а также к раболепию демократического правительства перед „монополистическим капитализмом“»⁴. Говорилось также о распространении вызывающей сожаление «враждебной культуры» «ценностно-ориентированных интеллектуалов», склонных к «разоблачению и делегитимации признанных институтов»⁵.

Один из возможных путей выхода заключался, по мнению докладчиков Трехсторонней комиссии, в придании более важной роли «технократически и политически ориентированному интеллектуалу» — так сказать, не-враждебной культуре. Самым известным ее поборником в конце XX в. был, вероятно, немецкий социолог Никлас Луман, — не потому, что он оказал серьезное влияние на политику (как раз наоборот), но потому, что предложил наиболее последовательное и изощренное теоретическое оправдание того, почему принятие политических решений должно быть ограждено от широкого участия [населения] и, по существу, оставлено на попечение бюрократов. Луман и сам был *Beamter*'ом (государственным служащим) в Нижней Саксонии, прежде чем выиграл стипендию на обучение в Гарварде, где его научным руководителем стал социальный теоретик Толкотт Парсонс (который способствовал тому, чтобы познакомить американское академическое сообщество с Максом Вебером). Затем Луман в рекордные сроки завершил хабилизацию (вторую докторскую степень, которая требуется от всех немецких преподавателей) и стал профес-

4. *Ibid.*, 6.

5. *Ibid.*, 7.

сором новосозданного университета в Билефельде — бетонного воплощения технократического оптимизма 1960-х гг.

Лумановская «теория систем» испытала глубокое влияние со стороны Парсонса, который, в свою очередь, формализовал и систематизировал многие идеи Вебера. Бывший немецкий госслужащий, радикализировав одну из центральных интуиций Вебера и Парсонса, полагал, что современные общества постоянно эволюционируют и, в частности, разделяются на все большее количество «систем» (таких, например, как экономика, искусство и правительство), которые действуют по своей собственной логике или «функции»⁶. Системы редуцируют сложность, они делают окружающий их мир постижимым для самих себя. Любая попытка вмешательства одной системы в другую прежде всего контрпродуктивна. Поэтому ожидать, что правительства смогут реализовать «ценности», находящиеся вне системы государственного управления, значит совершать своего рода категориальную ошибку. А пример того, что происходит, когда политика пытается господствовать над экономикой, можно было наблюдать ежедневно, обращая взгляд на восток от железного занавеса.

Из теории Лумана следовал вывод, что дело государственного правления следует оставить политикам и, в конечном счете, бюрократам и что активисты общественных движений, не слышащие ничего, кроме голоса своей совести, могут причинить большой ущерб современным обществам, если правительства уступят их ложным требованиям и удовлетворят иллюзорные надежды на участие. Такой диагноз, якобы вдохновленный веберовской критикой этики совести, часто сопровождался выражением презрительного отношения к представителям «враждебной культуры». Например, учитель Лумана социолог Хельмут Шельски высмеивал интеллектуалов как «новый класс первосвященников», стремящихся к власти, пока «другие занимаются делом»⁷. Однако более интересным и более тревожным выводом из лумановской теории было то, что политика (и государство) на самом

6. Thornhill, *Political Theory*, 174.

7. Helmut Schelsky, *Die Arbeit tun die anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen* (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975).

деле вовсе не так значимы, как полагает большинство людей: правительства не способны «руководить» обществами в целом, а государства — не более чем «самоописания» особых «политических систем», самодостаточных и не способных, например, к реформированию экономической системы⁸.

В отличие от Вебера, Луман не наделял политику смыслообразующей ролью и не считал, что публичная сфера может стать домом для «высших ценностей». Наоборот, для «сплочения обществ» не нужны никакие всеохватывающие системы верований — гражданские религии или идеологии. Таким образом, идеи Лумана не столько знаменовали наступление бабьего лета технократического мышления, доминировавшего в 1950-х и 1960-х гг., сколько прекрасно подходили для эпохи заниженных политических и экономических ожиданий. В эту эпоху, согласно Луману, в центре мышления о будущем должно стоять не планирование общества, а эволюция.

Луману было суждено сыграть роль главного теоретического оппонента Юргена Хабермаса, наиболее известного наследника идей франкфуртской школы критической теории. Хабермас дистанцировался от бунтарей 1968 года, но не терял надежды на демократизацию (в широком смысле этого слова) государственного управления и экономики⁹. Его философия стала важным ориентиром для знвайронментализма и феминизма — общественных движений, возникших в 1970-х гг. наряду с мелкими революционными группами как результат 1968 года. Хабермас подчеркивал необходимость защиты того, что он называл «жизненным миром», т. е. сферы семейных и других межличностных отношений, а также гражданского общества, которые, на его взгляд, должны быть ограждены от инструментальной логики — или беспощадного стратегического мышления, — присущих экономике и государственному управлению. Рынок и государство, доказывал Хабермас, всегда стремятся к «колонизации» жизненного мира. Общественные движения и, не в последнюю очередь, интеллектуалы, вращающиеся в публичной сфере,

8. Niklas Luhmann, *The «State» of the Political System // Essays on Self-Reference* (New York: Columbia University Press, 1990), 165–74.

9. См. в прямом противостоянии: Jürgen Habermas and Niklas Luhmann, *Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1971).

могут противодействовать такой колонизации и даже, быть может, добиваться постепенной деколонизации.

Луман, который считал себя обязанным заниматься «социологическим просвещением», относился к этим надеждам с иронией, даже не вступая в полемику. Чтобы понимать общества и их эволюцию, говорил он, следует рассматривать системы, а не индивидов или движения, борющиеся за те или иные политические ценности или против них. В каком-то смысле его теория систем подтверждала веберовский диагноз «стального панциря» и зиммелевскую «трагедию культуры»: общество стало настолько сложным, что далеко превзошло возможности реальной индивидуальной автономии. Но при этом Луман настаивал на том, что предложенное им социологическое разочарование (*disenchantment*) тоже освобождает, несмотря на то что «системы» (никогда просто «система», *the system*) имеют свою собственную железную логику. По замечанию британского теоретика новых левых Перри Андерсона, «если Хабермас говорил читателям, что вещи могли бы быть такими, какими они должны быть... то Луман провозглашал более сухую, но не менее обнадеживающую весть: вещи такие, какими они и должны быть»¹⁰.

Интересно, что Хабермас в конце концов включил многие элементы лумановских теорий в собственные концепции и даже, по-видимому, отказался от каких-либо надежд на широкую демократизацию экономики и государственного управления. Вместо этого лучшее, на что можно надеяться, писал он, является живая публичная сфера, бдительная пресса и, как результат, решительно настроенное общественное мнение, которые относятся к государству так же, как постоянная осада относится к крепости¹¹. Это легитимировало активистов и общественные движения, бросающие вызов государству, однако из этого образа следовал еще один и, возможно, более очевидный вывод, что крепость государства взять невозможно и делать этого не следует.

10. Perry Anderson, *A New Germany* // *New Left Review*, second series, no. 57 (May/June 2009), 5–40; here 26.

11. Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms* (1992; Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996).

Значение французского антитоталитаризма

Стойкое недоверие к бюрократии — в государстве или на капиталистических предприятиях — стало источником вдохновения для ряда французских интеллектуалов, получивших известность после волнений конца 1960-х гг. Они не желали присоединяться к ортодоксальному марксизму (считая официально признанные коммунистические партии в Западной Европе лучшим примером бюрократической косности) или лелеять маоистские или иные экзотические надежды. Философы старшего поколения, такие как Корнелиус Касториadis и Клод Лефор, когда-то стоявшие на троцкистских позициях, предложили оригинальную концепцию бюрократии при государственном социализме. Их теории воодушевили более молодых интеллектуалов, искавших новые формы социальной организации с автономией как центральной ценностью. Одним из ключевых слов середины — конца 1970-х гг. было *autogestion* (нечто вроде самоуправления), которое уже появлялось в середине 1960-х гг., но стало предметом теоретического осмысления лишь среди участников движения, которое в 1970-х гг. получило наименование *la deuxième gauche* (вторых левых)¹². Пьер Розанваллон и другие интеллектуалы, собравшиеся вокруг не-коммунистического, первоначально христианского профсоюза Французская демократическая конфедерация труда, предложили политическую повестку дня, которая должна была дать новое дыхание Французской социалистической партии, а также провести четкую линию разграничения между социалистами и коммунистами. В качестве лозунга *autogestion* была способна служить целому ряду политических течений, от либертарианских до технократических. В качестве теории *autogestion* должна была описывать и предписывать новую, антибюрократическую форму демократии, направленную как против государственного

12. Мишель Рокар заявлял, оглядываясь назад, что Объединенная социалистическая партия взяла слоган *autogestion* у Французской демократической конфедерации труда, а сам термин был позаимствован в химической промышленности в 1965 или 1966 г. Но *autogestion* использовалось и раньше, в только что получившем независимость Алжире.

социализма на Востоке, так и против традиционной социал-демократии на Западе¹³. В частности, теория *autogestion* должна была реабилитировать понятие гражданского общества — с автономными индивидами, свободно вступающими в ассоциации и управляющими своими делами настолько, насколько возможно, без вмешательства государства. В отличие от либералов XIX в., тоже придерживавшихся концепции гражданского общества, «вторые левые» считали, что самоуправление должно распространяться и на экономику. Розанваллон цитировал христианского демократа Марка Саннье, заявлявшего, что демократия невозможна до тех пор, пока на предприятиях царит монархия¹⁴.

Во Франции середины 1970-х гг. дискуссии об *autogestion* в конце концов переплелись с получившими широкий резонанс спорами о тоталитаризме. К началу десятилетия голлистские мифы были разбиты вдребезги. По логике вещей, наступило время для критики самого ярого врага голлизма в Пятой республике — коммунизма. В политическом и культурном смысле эти два направления как бы делили между собой республику, и при этом французская компартия предлагала не просто «контркультуру», но даже своего рода потенциальное «контргосударство»¹⁵.

Главным мифом голлизма, конечно же, был сам генерал, который завершил карьеру в 1969 г., потерпев обидное поражение на считавшемся второстепенным референдуме. Но все же была и определенная логика в том, что человек, олицетворявший *la France*, не мог проиграть в принципе. Франция долго жила в тени де Голля. Однако с начала 1970-х гг. она пошла по пути сближения с послевоенным западноевропейским конституционным урегулированием (хотя ослабление парламентов с самого начала было частью голлистской конституции). В частности, в 1971 г. Конституционный совет принял прецедентное решение, установив принцип, согласно которому права человека должны были

13. Pierre Rosanvallon, *L'Âge de l'autogestion, ou la politique au poste de commandement* (Paris: Seuil, 1976), 7–8.

14. *Ibid.*, 15.

15. Pierre Grémion, *Modernisation et progressisme: fin d'une époque 1968–1981* (Paris: Editions Esprit, 2005).

защищаться в судебном порядке. После де Голля плебисцитное лидерство навсегда изменило свой прежний облик.

Мифы коммунизма имели главным образом моральную и интеллектуальную природу и не основывались на индивидуальной харизме и идеале сильной исполнительной власти, которые олицетворял де Голль. Поэтому, по логике вещей, развенчать эти мифы должны были сами левые интеллектуалы¹⁶. По мнению многих людей, они вышли из идеологической дремы благодаря тому, что стало называться *choc Soljenitsyne*. Вероятно, нигде публикация «Архипелага ГУЛАГ» не прозвучала так громко, как во Франции. Но это произошло не потому, что Солженицын рассказал нечто совершенно новое. В книге Солженицына была несомненная литературная мощь, а его саркастический тон заставлял читателей занять позицию, испытывать гнев и горечь. И все же атака на коммунизм была вызвана также и конкретными внутренними причинами. В 1972 г. Франсуа Миттеран создал союз левых сил, в который вошли социалисты и коммунисты. Была принята пятилетняя совместная программа. В преддверии выборов 1978 г. возникло ощущение, что коммунистическо-социалистическая коалиция действительно получит большинство голосов. Это поставило важнейший вопрос: кто именно выиграет сражение за доминирующее политическое и интеллектуальное положение внутри социалистическо-коммунистической коалиции — социалисты или коммунисты?

Поэтому не случайно именно в этот момент новый интеллектуальный антикоммунизм, хотя и облеченный в язык «антитоталитаризма», достиг своей кульминации. Высказанное компартией отношение к Солженицыну многие истолковали как признак ее авторитаризма. Лидер ФКП Жорж Марше заявил, что русский диссидент мог бы, конечно, опубликоваться в социалистической Франции, «если бы нашел издателя»¹⁷. Левые журналы, такие как *Esprit*, принялись доказывать, что французская компартия так и не порвала со своим сталинистским прошлым, а совместная

16. Дальнейшее изложение основано на кн.: Michael Scott Christofferson, *French Intellectuals against the Left: France's Antitotalitarian Moment* (New York: Berghahn, 2004).

17. Цит. по: *ibid.*, 96.

программа предлагает слишком государствоцентричный подход к строительству социализма.

Затем на сцену ворвались так называемые новые философы. Молодые и телегеничные Андре Глюксман и Бернар Анри Леви выступили с серией бестселлеров, которые активно рекламировались популярными журналами и на телевидении. В них доказывалось, что социализм и марксизм, а также, по сути дела, все политическое мышление, вдохновленное Гегелем, смертельно отравлено авторитаризмом. Экс-маоист Глюксман особенно бичевал более или менее современную философию, делая это с тем же пылом, с каким прежде восхвалял маленькую красную книжицу Мао. Он обрушивался на «теоретический кретинизм, свойственный нашему веку», и доказывал, что «наш век производит и воспроизводит характерное для него изобретение — концентрационный лагерь». И Восток и Запад разделяют то, что он назвал императивами «Колонии, Порядка, Труда». Полемической вершиной стала фраза: «мыслить — значит господствовать». Леви, в свою очередь, провозгласил, что ГУЛАГ — то же «Просвещение минус толерантность»¹⁸. Неприятие государства, фактически всех форм власти, а также бескомпромиссный исторический пессимизм пронизывали литературную продукцию новых философов до такой степени, что либералы старшего поколения, такие как Раймон Арон, решили дистанцироваться от *les nouveaux philosophes*, заподозрив их в черно-белом мышлении, в котором черное и белое просто поменялись местами¹⁹.

Впрочем, в том же направлении двигались и более серьезные интеллектуалы. Франсуа Фюре, не только выдающийся историк, но и блестящий организатор и творец институтов, неустанно критиковал марксистские интерпретации Французской революции. Он доказывал, что тоталитаризм был присущ революции с самого начала и что коммунисты были совершенно правы, прямо связывая 1789 и 1917 г., хотя и не понимали, что преемственность заключалась в терроризме и тоталитаризме. На его взгляд, «книга Солженицы-

18. Цит. по: Christofferson, *French Intellectuals*, 186.

19. Raymond Aron, Pour le progrès: après la chute des idoles // *Commentaire*, vol. 1 (1978), 233–43.

на подняла вопрос о ГУЛАГе, который пронизывает весь в целом революционный проект до самых его корней... Сегодня ГУЛАГ приводит к переосмыслению Террора в силу того, что эти проекты идентичны»²⁰.

Дело заключалось не просто в том, что революционное воображение было истощено в период после очевидного поражения 1968-го как политической революции. Скорее, сама логика прославления 1917 г. через его сопоставление с 1789 г. начала работать в обратном направлении, и Французская революция вдруг оказалась частично зараженной ленинизмом и сталинизмом²¹. Потеряли свою популярность и революции в других частях мира, в частности в Китае и на Кубе. В апреле 1976 г. Мишель Фуко писал, что «сегодня роль интеллектуала должна состоять в том, чтобы вернуть имиджу революции тот уровень желательности, который существовал в XIX в.»²². Всего через год (или немного позднее) ему пришлось признать, что «впервые... весь в целом способ мышления европейских левых — революционное европейское мышление, которое имело опорные точки во всем мире... и, таким, образом, ориентированное на то, что находилось вне его самого, — это мышление потеряло исторические опорные точки, которые ранее находило в других частях мира»²³.

20. Цит. по: Christofferson, *French Intellectuals*, 105–6.

21. Антитоталитаризм был не просто возрожденным антикоммунизмом или потерей веры в программы насильственного революционного действия. Как заметил Тони Джадт, он подрывал весь левый нарратив, касающийся XX в., поскольку «традиционное „прогрессивное“ настоятельное требование считать нападки на коммунизм неявной угрозой для всех социально-мелиоративных целей, а также тезис о том, что коммунизм, социализм, социальная демократия, национализация, централизованное планирование и прогрессивная социальная инженерия являются частью общего политического проекта, начали работать против самих себя». См.: Judt, *Postwar*, 561.

22. Цит. по: Eric Paras, *Foucault 2.0: Beyond Power and Knowledge* (New York: Other Press, 2006), 85.

23. Michel Foucault, «Die Folter, das ist die Vernunft» // *Literaturmagazin*, no. 8 (December 1977), 60–8; here 67. Конечно, это может выглядеть как несерьезное обобщение: не всякий теоретик революции должен был принадлежать к марксизму либо стремиться улавливать некие новые формы революционного действия (такие как иранская революция). Хорошим примером является уникальный Корнелиус Касториадис, хотя, наверное, его акцент на «автономии» и «само-учреждении общества» ока-

Казалось, что разверзлась идеологическая бездна. И права человека стали единственной областью, где — после Солженицына — либералы старой школы, мятежные леваки и даже некоторые неперестроившиеся левые могли объединиться в общем моральном проекте, который выходил за пределы старых идеологических разногласий. Это была своего рода минималистская, приемлемая для всех моральная программа, появившаяся после того, как провалилось множество других проектов будущего²⁴. Поэтому глубоко символичным, по мнению многих, стал совместный выход на сцену Сартра и Арона в 1978 г. в ходе кампании поддержки вьетнамских беженцев-лодочников. Глюксман подвел их друг к другу, и они обменялись рукопожатием. И это после того, как Сартр публично заявил в 1968 г., что Арон не заслуживает звания профессора²⁵!

Тем не менее вскоре появились сомнения, способны ли права человека сами по себе стать основой для позитивной политической программы. Марсель Гоше, ученик Лефора и редактор «*Le Débat*» (начавшего выходить в 1980 г. и быстро завоевавшего репутацию лучшего интеллектуального журнала Франции), задался вопросом, достаточно ли для этого прав человека: играя важную роль в критике тирании, они становятся бесполезными, когда дело доходит до формирования групп, способных к самостоятельному политическому действию²⁶. Иначе говоря, пра-

злся популярным только потому, что был объединен с политическими языками пост-68-х общественных движений. См.: *L'Exigence révolutionnaire* (entretien avec Olivier Mongin, Paul Thibaud et Pierre Rosanvallon enregistré le 6 juillet 1976) // *Esprit* (February 1977), 201–30.

24. Samuel Moyn, *The Last Utopia: Human Rights in History* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010).

25. Сартр умер в 1980 г., и вместе с ним исчез образец всеобщего интеллектуала, который способен говорить обо всем исключительно в силу своего морального авторитета. Арон, либеральный скептик, иногда выглядевший педантом-ученым, но прежде всего анти-Сартр, получил позднее и приятное признание, когда в 1982 г. появились его «Мемуары». По меньшей мере два поколения французских интеллектуалов считали неоспоримой морально-политической максимой, что лучше опираться вместе с Сартром, чем быть правым вместе с Ароном, но теперь, по-видимому, «левый берег» изменил свое мнение.

26. Marcel Gauchet, *Les Droits de l'homme ne sont pas une politique* // *Le Débat*, no. 3 (1980), 3–21.

ва человека весьма полезны в борьбе с репрессивными режимами, но акцент на них одних, в ущерб коллективным целям, может подорвать позитивные идеалы управления государственными делами, в частности социал-демократические идеалы.

На выборах 1981 г. социалисты и коммунисты наконец одержали победу. Но вместо того чтобы реализовывать что-либо напоминающее совместную программу или пойти по пути, ведущему к самоуправлению, Франсуа Миттеран радикально сменил курс и в 1984 г., под сильным давлением международных финансовых рынков, вынудил своего премьер-министра отказаться от любых амбициозных планов национализации. Эпоха заниженных ожиданий, наступившая в начале 1970-х гг., не могла быть преодолена усилением политической воли.

В интеллектуальном отношении антитоталитаризм достиг успеха, уничтожив любое сколько-нибудь благосклонное отношение к коммунизму — даже движимое самыми благими намерениями, — однако критика им социальной инженерии и бюрократии задела другие политические силы левого фланга, в частности социал-демократов, считавших себя ярыми антикоммунистами. Во Франции это не привело к каким-либо немедленным последствиям. Единственным заметным изменением стало почти полное исчезновение к концу 1980-х гг. коммунистической контркультуры. В Италии ничего подобного не наблюдалось. Но там компартия тоже постепенно приходила в упадок. РСІ продолжала подчеркивать значение возвышенного, исходно вдохновленного грамшианством, самосовершенствования (и высокой культуры) и как будто не замечала размывания границ между высокой и популярной культурами, происшедшего в 1970-х и 1980-х гг. Но коммунистическая теория при этом продолжала развиваться. Во Франции, с другой стороны, то, что осталось от социализма, не вдохновляло ни в теоретическом, ни в практическом плане. А более захватывающие идеалы *deuxième gauche* так никогда и не были реализованы. Не в последнюю очередь это произошло потому, что Миттеран был одержим стремлением пресечь политические амбиции ведущего политического представителя вторых левых — Мишеля Рокара и не позволить ему стать следующим президентом.

Социальная демократия под огнем критики

Главной мишенью для критики в конце 1970-х и в 1980-е гг. оказалась социал-демократия старого образца. В то время самым консервативным (в буквальном смысле нежелания перемен) политиком считался, согласно Ральфу Дарендорфу, «социал-демократ правого толка»²⁷. Нападки последовали сразу с двух сторон. Во-первых — со стороны новых левых и порожденных ими общественных движений, в том числе движения за мир, которое стремительно развивалось после размещения «евроракет». Кроме того, социал-демократия подверглась атаке со стороны движения, которое наблюдатели называли то возрождением классического либерализма XIX в., то, признавая содержащиеся в нем новые теоретические веяния, неолиберализмом. Совершенно отдельно от этих очевидных угроз стоял постмодернизм — не политическое движение, но, несомненно, политическое настроение, которое отличалось недоверием к «великим нарративам» прогрессивного развития человечества и, в частности, к технократическому, «модернистскому» языку, игравшему центральную роль в эпоху массовой демократии.

Истинными наследниками новых левых оказались феминизм и энвайронментализм, хотя, как отмечалось в предыдущей главе, ни тот ни другой не имели непосредственной связи с теориями 68-го или 1960-х гг. и, конечно, практически ничем не были обязаны марксизму. Феминизм в значительной степени мог быть интегрирован в партии, которые традиционно считали себя, стараясь более или менее об этом помалкивать, мужскими и работающими на мужчин, особенно на мужчин, занятых в промышленности. Что касается энвайронментализма, то он вначале институционализировался отдельно, в зеленых партиях, которые заявляли о себе на первых порах как об «антипартийных партиях». Понятно, что мыслителям и политическим партиям с марксистскими корнями было крайне трудно порвать с верой в благотворную природу промышленного производства.

27. Ralf Dahrendorf, Am Ende des sozialdemokratischen Konsensus? Zur Frage der Legitimität der politischen Macht in der Gegenwart // *Lebenschancen: Anläufe zur sozialen und politischen Theorie* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1979), 147–66.

Пионером такого разрыва стал социальный философ Андре Горц, в результате ставший мишенью злобной клеветы со стороны традиционных марксистов. Горц (настоящее имя Герхард Хирш) родился в Вене в 1923 г. в семье еврей-торговца и католички-секретарши. Во время войны его отослали на учебу в Швейцарию, где он получил диплом инженера-химика. Хирш привлек внимание Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, приезжавших в Лозанну в 1946 г. После этого человек, переименовавший себя в Горца (по названию фирмы — производителя полевого бинокля, который был у его отца), переехал в Париж и стал близким сотрудником самого знаменитого в мире философа. Поначалу его привлекала писательская карьера. В 1958 г. появился его первый роман «Изменник» с предисловием Сартра. Но впоследствии Горц занимался главным образом журналистикой, став одним из учредителей влиятельного левого еженедельника *Nouvel Observateur*.

В конечном итоге он заинтересовался социальной философией и стратегиями борьбы рабочего класса в условиях «развитого капитализма» — в духе идей Маркузе и итальянских новых левых 1960-х гг. Но затем направление его мысли изменилось, повернув в более радикальную, чем когда-либо у итальянцев, сторону, и к середине 1970-х гг. он начал подчеркивать значение экологии. В 1982 г. Горц опубликовал свою самую спорную работу «Прощание с рабочим классом: эссе о постиндустриальном социализме». В ней он призывал «будущих левых» отказаться от веры в пролетариат как революционный субъект и вместо этого подумать над «освобождением времени», а также над «отменой работы», т. е. над уничтожением труда за деньги. В практическом плане Горц выступал за базовый доход для всех граждан, независимо от рода занятий, что стало бы последним шагом в преодолении «рабочизма» (*workerism*), иначе говоря, акцента исключительно на пролетариате, и одержимости трудом как главным условием человеческой реализации. Требование покончить с трудом, доказывал Горц, вовсе не утопично, а полностью соответствует тенденциям, наблюдаемым в западных обществах. Кейнс, писал он, «мертв. В контексте нынешнего кризиса и технической революции абсолютно невозможно обеспечить полную занятость с помощью количественного экономического роста. Альтерна-

тивной является совершенно другой путь, а именно отмена работы: вместо общества, основанного на массовой безработице, можно построить общество, в котором освобождено время»²⁸.

С точки зрения Горца, носителями радикальных перемен, в противовес традиционному промышленному рабочему классу, а также низкооплачиваемым лицам и безработным, является новый «не-класс не-рабочих» — мужчины и женщины, занятые в не-промышленных, «интеллектуализированных» секторах.

Лозунг «не-класс не-рабочих», конечно, не мог послужить сигналом, способным разбудить спящий революционный субъект. И все же Горц предложил одну из самых радикальных теорий последней трети европейского XX в.: она бросала вызов не только социал-демократической политике, но всему в целом политическому воображению послевоенных левых. В ней подвергалось сомнению евангелие неуклонного экономического роста, и она утверждала, что находиться слева не значит быть рабочим или быть на стороне рабочих. Как писал Горц, теперь «это вопрос не о завоевании власти в качестве рабочего, но о завоевании власти, чтобы не функционировать больше в качестве рабочего». Горц возражал даже против идей рабочего контроля (поскольку производство в конечном счете все равно определяется «гигантской машиной» общества)²⁹.

28. André Gorz, *Farewell to the Working Class* (1980; London: Pluto Press, 1997), 3.

29. Оставалось гадать, что же конкретно следовало делать. Горц призывал к «конститутивному акту, который, сознавая свою свободную субъективность, утверждает себя как абсолютную цель в себе внутри каждого индивида». Лишь не-класс не-рабочих, согласно Горцу, способен к такому акту, «ибо он воплощает то, что лежит за пределами продуктивизма: отрицание этики накопления и исчезновение всех классов». Горц, явно неудавшийся романист, опубликовал в 2006 г. еще одну книгу, не по политической теории: «Письмо к Дорин», его 58-летней жене (изображенной довольно нелестным образом в романе «Предатель» и умиравшей от неизлечимой болезни), начинается так: «Тебе 82 года. Ты стала ниже на 6 сантиметров, вешишь всего 45 килограммов, и все же ты еще красива, грациозна и желанна». В сентябре 2007 г. Горц и его жена совершили двойное самоубийство. «Письмо к Д.: история любви» (*Lettre à D.: histoire d'un amour*) — самый трогательный текст, написанный кем-либо из европейских политических мыслителей XX в.

Энвайронментализм, несмотря на то что его придерживались в том числе и мыслители, выступавшие против любого дальнейшего экономического роста, не требовал ничего столь же радикального. Вероятно, поэтому энвайронменталистские идеи в конце концов перестали быть достоянием исключительно зеленых антипартий и оказались, по крайней мере частично, переняты практически всеми партиями в Европе. Если вообще когда-либо существовал конец идеологии (по крайней мере, в Европе), то его можно было найти именно здесь: все расходилось по вопросам политики, но никто не стал бы отрицать фундаментального императива спасения планеты³⁰.

И феминизм и энвайронментализм были тесно связаны с движением за мир. Выступления против ядерной войны шли рука об руку с попытками положить конец «мужскому насилию», а также тому, что Эдвард Томпсон называл общим «экстерминизмом» (exterminism) промышленной системы³¹. Философ Рудольф Баро настаивал на том, что «милитаризм является естественным следствием сырьевой зависимости нашей перегруженной промышленной системы»³². Таким образом, «экопацифизм» требовал ни много ни мало того, что мыслители вроде Баро называли «промышленным разоружением», даже если неясно было, на что будет похоже промышленно разоруженное общество. И все же, как заявляли Баро и другие, «в целом неверно считать, что общественных преобразований можно достичь, только если предварительно дать людям научное объяснение, что именно может быть сделано»³³.

30. Как выразился Рудольф Баро, энвайронментализм стал своего рода новым «магнитным полем», изменив ориентацию и позиции существующих партий (хотя Баро выводил из своей метафоры прямо противоположное заключение: он доказывал, что «это трудно включить в существующую партийно-политическую систему, и поэтому экологическое движение, по сути дела, превратилось в альтернативный тип партии»). См.: Rudolf Bahro, *From Red to Green: Interviews with New Left Review*, trans. Gus Fagan and Richard Hurst (London: Verso, 1984), 130.

31. E. P. Thompson and Dan Smith (eds), *Protest and Survive* (New York: Monthly Press, 1981).

32. Bahro, *From Red*, 138.

33. *Ibid.*, 146.

Общественные движения расцветали пышным цветом на всем протяжении 1980-х гг., но их программы носили по большей части негативный, если не прямо апокалиптический характер. Как объявил Баро в 1982 г., «на нас насланы мор и чума Древнего Египта, всадники апокалипсиса уже рядом, семь смертных грехов повсюду вокруг нас в сегодняшних городах, равных тысячам Вавилонов. В 1968 г. на горизонте появился обещанный Ханаан всеобщей эмансипации, на этот раз наконец и для женщин тоже. Но почти все, кто в это верит, молчаливо признают, что вначале придется провести многие годы в пустыне. И недостает только огненного столпа, который укажет нам путь исхода»³⁴.

Хабермас не знал, где искать огненный столп, но разделял ощущение новой интеллектуальной пустыни. В 1985 г. он заявил о «новом смятении» — или *neue Unübersichtlichkeit* — и об «истощении утопических энергий». В частности, окончательно потеряли свою привлекательность утопии, ориентирующиеся на труд. Дарендорф уже объявил несколькими годами ранее о конце «социал-демократического столетия»³⁵. Но что это означало, ведь социал-демократические партии явно никуда не исчезли с политического ландшафта? Речь, конечно, шла не об электоральных результатах, а о доверии и неявных предпочтениях. Была подорвана, не исключено, что навсегда, вера в возможность широкомаштабных коллективных самопреобразований общества, часто, но не обязательно, облекаемая в язык технократии.

По словам Хабермаса, этот идеал, который он отождествлял с Просвещением и, говоря шире, с прогрессом разума, подвергся нападкам со стороны «неоконсерваторов» (смысл этого термина в трактовке его Хабермасом лишь частично совпадает с тем смыслом, который он имеет в Соединенных Штатах). Неоконсерваторы, согласно Хабермасу, верили в некое «урезанное» или «приостановленное» Просвещение: капитализм при этом оставался на месте, а тра-

34. Rudolf Bahro, Who Can Stop the Apocalypse? Or the Task, Substance and Strategy of the Social Movements // *Praxis International*, vol. 2, no. 3 (1982), 255–67; here 255.

35. Jürgen Habermas, Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien // *Die neue Unübersichtlichkeit* (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1985), 141–63; Dahrendorf, *Lebenschancen*.

диционные ценности и культура должны были компенсировать любой вред, который он мог нанести индивидам и жизненному миру, служа своего рода утешением с помощью приятной (и ни в коем случае не раздражающей) эстетики. В любом случае с точки зрения «неоконов» (в смысле Хабермаса) традиционные семья и национальное государство представляли собой институты, не подлежащие дальнейшим изменениям, не говоря уже об их преодолении, и в каком-то смысле служили институциональными границами Просвещения. В отличие от Хабермаса, мыслители, по общему мнению принадлежавшие к неоконсерваторам, такие как Герман Люббе, отрицали, что семья и ценности дружбы разрушаются мышлением и эмоциями, которые необходимы для преуспевания в условиях капиталистической системы. С их точки зрения, рыночная экономика не обязательно подразумевает рыночное общество.

Конец конца отчуждения — и голова короля с плеч долой

По словам Хабермаса, Просвещение подверглось также нападкам с совершенно другой стороны, а именно со стороны постмодернистских и постструктуралистских мыслителей, якобы принижавших «разум» и занимавшихся опасным восхвалением «спонтанных сил воображения», «непосредственности аффектов» и даже индивидуальной «воли к власти», и все это в противопоставлении «разуму». Иначе говоря, эти интеллектуалы занимались поисками того, к чему можно было только взывать, но что нельзя было обсуждать и что имело отношение к воле и жестам, а не к мышлению. Это был, как намекал Хабермас, весьма сомнительный шаг назад в 1920-е гг., имевший потенциально зловещие политические последствия.

Опираясь главным образом на Ницше и Хайдеггера, целый ряд французских мыслителей подвергли фундаментальному сомнению само понятие автономии разума. Вместе с Жан-Франсуа Лиотаром (который одно время был близок к группе недогматических левых, объединившихся вокруг Касториадиса и Лефора) они не только ставили диагнозы, но даже требовали относиться с «недоверием к ме-

танарративам», в частности к идеалам прогресса разума. Правильное понимание истории, особенно истории самых возвышенных идеалов, требовало осознания того факта, что их происхождение часто связано с неприглядными вещами или насилием и что прошлое при ближайшем рассмотрении оказывается историей не прогресса, а нескончаемой борьбы за власть. В каком-то смысле Хабермас был прав, считая появление постмодернизма еще одним симптомом «потери уверенности в себе», переживаемой Западной Европой: для постмодернистов смысл истории заключался в развенчании и принижении, а не в поиске надежды.

В дополнение ко всему этому постмодерные мыслители отвергали любые поиски некоего аутентичного образа жизни, который, как все еще полагали теоретики конца 1960-х гг., где-то и каким-то образом существовал. Философ Жан Бодрийяр признавал не без ностальгии, что «меня очень, очень привлекал ситуационизм», и «даже если сегодня ситуационизм — это прошлое, остается та радикальность, которой я был всегда верен»³⁶. Ситуационизм был в прошлом, потому что постмодернисты уже не питали надежды на область, находящуюся за пределами спектакля, которую можно было вернуть посредством политического (или просто культурного) действия. Преодоление отчуждения, полное и окончательное, — именно это и было иллюзией, причем иллюзией опасной.

Все, что оставалось, сводилось либо к радикальным жестам без радикальных программ, либо к философскому стилю, подчеркивавшему иронию и пародию (тоже без программ). Трагедия культуры, все еще оставаясь трагической, вызывала теперь не слезы, а лишь понимающие улыбки. Именно это беспокоило критиков постмодернизма слева — социальная надежда, казалось, уступала место ностальгии: прогрессивная массовая политика исчезала, а музеи переживали расцвет. Конечно, это была, как правило, ироническая ностальгия, или, по крайней мере, ностальгия, отличавшаяся от культурного пессимизма, который так долго наполнял собой левую, а в еще большей степени правую политическую

36. Цит. по: Mark Bevir, «A Kind of Radicality»: The Avant-Garde Legacy in Postmodern Ethics // Mark Bevir, Jill Hargis and Sara Rushing (eds), *Histories of Postmodernism* (New York: Routledge, 2007), 131–48; here 131.

мысль. Но значило ли это, что в конце века политических страстей и самоуверенных идеологий стоял... релятивизм?

Не все было тем, чем казалось, и поэтому политическое значение постмодернизма и постструктурализма очень зависело от точки зрения, с которой его воспринимали (или даже создавали). В этом отношении показательна траектория мысли Мишеля Фуко. Фуко родился в 1926 г. в буржуазной семье, обосновавшейся в Пуатье³⁷. Он рано отказался пойти по стопам отца, весьма уважаемого провинциального врача, юность его прошла при режиме Виши (которому родители Фуко осторожно противодействовали). Фуко решил стать педагогом и в конце концов отправился в Париж, в элитные учебные заведения — лицей Генриха IV и Высшую нормальную школу, где изучал философию и психологию (и ненадолго вступил во французскую компартию, из которой вышел с чувством отвращения, когда Сталин перед смертью поднял новую волну террора). По заведенному порядку его ожидали несколько лет преподавания в провинции, прежде чем можно было вернуться в столицу и продолжить научно-преподавательскую карьеру, но Фуко повезло — он стал дипломатическим советником по культуре за рубежом. Фуко возглавлял французские культурные институты в Упсале (где обнаружил шведскую социал-демократию, обещавшую будущее, в котором все были бы «счастливы, богаты и стерилизованы»), в Варшаве (где «упрямое солнце польской свободы» пыталось растопить лед «народной демократии») и в Гамбурге (где сопровождал знаменитых деятелей культуры в экскурсиях по району красных фонарей).

К середине 1960-х гг. Фуко получил широкую известность во Франции как автор трудов по истории безумия и считался звездой структурализма, хотя сам прямо не связывал себя с направлением мысли, которое критики считали формой детерминизма. Первоначально часть лингвистики, структурализм в конечном счете заявил о себе как о теории, которая объясняет поведение общества в целом, подчеркивая значение неизменного и бессознательного. В глазах своих врагов структурализм был философией, полностью соответствовав-

37. В дальнейшем изложении я следую главным образом кн.: David Macey, *Michel Foucault* (London: Reaktion, 2004).

шей эпохе технократии. Жан-Поль Сартр называл его «последней баррикадой, которую буржуазия возводит против Маркса». Казалось, что структурализм полностью отрицает за человеческими существами способность творить собственную историю.

Структуралисты и те, кто симпатизировал их методам, нанесли ответный удар. В 1968 г. Фуко заявил по поводу акцента экзистенциалистов на индивидуальной свободе, что «человек исчезает в философии не как объект познания, но как субъект свободы и существования»³⁸. Фуко отвергал также идеал «всеобщего» интеллектуала (*general intellectual*) — человека, читающего мораль власти (воплощением которого, как никто другой, был Сартр), полагая, что это наносит удар по экзистенциализму и одновременно по марксизму. Фуко разъяснял, критикуя понятие интеллектуала как «сознания/совести всех нас»: «Думаю, мы имеем дело с идеей, перенятой у марксизма, точнее у марксизма увядшего. Подобно тому как пролетариат, по необходимости своей исторической ситуации, является носителем всеобщего... интеллектуал... стремится быть носителем этой всеобщности в ее сознательной, развернутой форме»³⁹.

Позднее позиция Фуко изменилась, и не столько по вопросу о пределах возможностей всеобщего интеллектуала, сколько в отношении способности человеческих существ творить собственную историю. Что же заставило его изменить взгляды? Краткий ответ — 68-й и его последствия (один из важнейших уроков был подытожен в знаменитой шутке, что структуры не устраивают демонстраций на улицах)⁴⁰. Правда, Фуко не был в Париже во время майских событий, он преподавал философию в Тунисе. Впрочем, там он стал

38. Фуко писал также по поводу одной из главных философских работ Сартра: «„Критика диалектического разума“ — великолепная и патетическая попытка человека XIX столетия осмыслить век двадцатый. В этом смысле Сартр является последним гегельянцем и я бы даже сказал — последним марксистом». И добавлял для полной ясности: «Марксизм живет в мышлении XIX в. как рыба в воде, иначе говоря — в любой другой среде он не способен дышать».

39. *Truth and Power* // *Michel Foucault: Power*, trans. Robert Hurley and others (New York: New Press, 2000), 111–33; here 126.

40. Ее автор Люсьен Гольдман, самый известный из последователей Лукача во Франции.

свидетелем гораздо более жестокого (зачастую заканчивавшегося гибелью людей) подавления студенческого протеста авторитарным режимом Бургибы. Вернувшись во Францию, он глубоко погрузился в деятельность пост-68-й (и отчасти маоистской) организации «Группа информации о тюрьмах» (*Groupe d'Information sur les Prisons, GIP*)⁴¹. После того как маоистская группа *Gauche Prolétarienne* («Пролетарская левая») была запрещена, а некоторые ее лидеры посажены в тюрьму, оставшиеся на свободе активисты попытались привлечь внимание к ужасающим условиям содержания заключенных во французских тюрьмах. Сами тюрьмы не были доступны для исследователей, однако вопросники можно было передать через жен заключенных, а бывших узников уговорить, чтобы они описали свой опыт (результаты этих исследований были затем опубликованы в серии книг под названием «Невыносимое»).

Это была трудоемкая деятельность политического активиста: Фуко не брезговал самой простой работой, заклеивая конверты и надписывая адреса. Это позволило человеку, который теперь заведовал кафедрой истории систем мышления в Коллеж де Франс, наиболее престижном учебном заведении страны, испачкать руки, так сказать, за пределами архивов, в соответствии с представлением, что после того как 1956-й дискредитировал марксизм как систему, дающую интерпретацию политических событий, философы должны стать журналистами. Немаловажно и то, что это навело Фуко на некоторые мысли, которые он разрабатывал в 1970-х гг. В частности, он настаивал теперь, что «власть» — не просто подавление, осуществляемое государством «сверху». Она действует и гораздо более тонкими способами, особенно в форме дисциплинирования, осуществляемого с помощью на первый взгляд филантропических институтов вроде больниц, и, не в последнюю очередь, с помощью самого человека. По мысли Фуко, речь должна идти не столько об обществе

41. Более широкий контекст (странного) перехода от революции к правам человека через маоизм прослеживается в кн.: Julian Bourg, *From Revolution to Ethics: May 1968 and Contemporary French Thought* (Montreal: McGill — Queen's University Press, 2007), and Richard Wolin, *The Wind from the East: French Intellectuals, the Cultural Revolution, and the Legacy of the 1960s* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010).

спектакля, сколько об обществе надзора, и не столько о государстве как палаче, сколько о государстве в роли директора санатория, которому нужны «послушные тела».

Впрочем, из 68-го можно было извлечь родственный, но значительно более позитивный урок: политическое изменение не должно заключаться в лобовом столкновении с государством (и, по ленинской модели, с последующим захватом бюрократической власти в центре). На первый взгляд, это облегчало задачу индивидуального освобождения. Следовало лишь, как и предлагали ситуационисты, вести себя иначе в повседневной жизни. Но на самом деле освобождение стало гораздо более проблематичным предприятием. Фуко, подобно другим мыслителям скептически относившийся к унаследованным языкам «отчуждения», не верил в существование «аутентичного Я», подлежащего освобождению. Но он полагал, что современное государство, и особенно либеральное государство, усилило самодисциплинирование субъектов, применив методы, которые гораздо труднее заметить и от которых трудно уйти.

Фуко утверждал, что «политическая, этическая, социальная, философская проблема наших дней заключается не в том, чтобы освободить индивида от государства... но в том, чтобы освободить нас как от государства, так и от того типа индивидуализации, который связан с государством». Таким образом, акцент смещался на либеральное «управление ментальностью» (*governmentality*) — множество техник и «приемов», применяемых правительством, чтобы заставить своих либеральных субъектов управлять самими собой, вместо того чтобы прибегать к прямым репрессиям, как это делали до-современные и авторитарные режимы. Фуко разъяснял: «Дело не в том, что прекрасная цельность индивида ампутируется, подавляется, изменяется нашим общественным строем; скорее, дело в том, что индивид тщательно фабрикуется в нем в соответствии со всей в целом технологией сил и тел». Современная свобода, заявлял далее Фуко, тоже «произведена» и не составляет прямой противоположности государственной власти, как это традиционно представляли либералы⁴². Либеральное управле-

42. Michel Foucault, *La Naissance de la biopolitique: cours au Collège de France, 1978*—

ние ментальностью, доказывал он, достигает новой ступени изощренности с появлением идей Хайека и немецкой неолиберальной фрейбургской школы, представители которой консультировали Людвига Эрхарда.

Это был сильный контринтуитивный вывод: либерализм, говорил Фуко, настаивает не на невмешательстве в человеческую свободу, а на том, что государство должно гораздо более тонко «управлять поведением» («conducting the conducts») индивидов, считающих себя свободными. Современное государство, добавлял теперь Фуко, является биополитическим предприятием. Оно контролирует не только количество, но и «качество» своих населений и стремится к повышению этого качества. Идея о прямом воздействии государств на тела индивидов могла возникнуть у Фуко в результате его собственного нетривиального политического опыта: его тунисские студенты исчезали в подвалах, а затем выходили оттуда с окровавленными лицами; его польские собеседники, говоря с ним, понижали голос (и на всякий случай сжигали письма). Но это был также вопрос, поставленный давным-давно, еще в политических трудах Вебера: как относятся друг к другу современное самодисциплинирование и «качество людей» (о котором Вебер рассуждал без тени смущения). Не является ли нацистская биократия гораздо меньшим отклонением в западной истории, чем обычно думают; не является ли она на самом деле, как писал Фуко, «мечтой современной власти»?⁴³ Согласно Фуко, ответ очевиден и отвратителен: «Современное государство вряд ли способно функционировать, не оказываясь в какой-то момент вовлеченным в расизм».

В то же время Фуко оставался твердым сторонником позиции, согласно которой власть не должна рассматриваться как «вертикаль» (top-down affair). Этот образ, возможно, подходил эпохе королей, писал он, но он уже не отражает меха-

1979 (Paris: Gallimard, 2004); Фуко М. *Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году*. СПб.: Наука, 2010.

43. Как писал сам Фуко с типичными сверхобобщением и цветистостью: «Если геноцид действительно является мечтой современной власти, то причиной оказывается не недавнее возвращение к древнему праву на убийство, но то, что власть существует и исполняется на уровне жизни вида, расы и масштабных групп населения».

низмы работы современных государств и обществ. «В мышлении и политическом анализе мы все еще никак не отрубим королю голову», писал он, поскольку «политическая теория так и не преодолела одержимости личностью суверена». Эта одержимость привела к искаженному пониманию власти, которая все еще обязана собой «юридико-политической теории суверенитета»⁴⁴. Необходимо, писал Фуко, как можно скорее порвать с традицией, которая рассматривает власть исключительно в терминах закона (и подавления) и потому в любом исследовании неизменно ставит государство в привилегированное положение. Раздраженный необходимостью разъяснять очевидное, Фуко писал: «Определяя действия власти как подавление, мы принимаем чисто юридическую концепцию такой власти, отождествляем власть с законом, который говорит „нет“... На мой взгляд, это чисто негативная, узкая, лишенная содержания концепция власти, по какой-то странной причине получившая широкое распространение. Если бы власть была не чем иным, как только подавлением, если бы она никогда не делала ничего другого, как говорить „нет“, — неужели вы действительно думаете, что ей стали бы подчиняться? Причина, по которой власть достигает успеха, по которой ее признают, состоит в том простом факте, что она не только имеет для нас вес как сила, говорящая „нет“; власть также проектирует и производит, побуждает к удовольствию, формирует знание, продуцирует дискурс. Ее необходимо рассматривать не столько как негативную инстанцию, функция которой сводится к подавлению, но в гораздо большей степени как продуктивную структуру, пронизывающую все в целом общественное тело»⁴⁵.

Мысли Фуко удивительным образом перекликались с мыслями Лумана: оба утверждали, что давно устаревший, использовавшийся несколько веков назад политический язык приводит теоретиков и обычных граждан к преувеличению роли государства. Оба считали, что власть не находится «на вершине» в официальной сфере политики. И поэтому высказывавшиеся ими идеи были созвучны друг другу (особенно во времена, когда государства, столкнувшись с новыми эко-

44. Truth and Power, 122.

45. *Ibid.*, 120.

номическими вызовами и социальным недовольством, действительно казались на удивление «безвластными»), даже если эти два теоретика выводили из своих трудов диаметрально противоположные политические императивы.

Власть, если она «действует в ограниченных пределах» и рассредоточена, явно нуждалась в исследовании с точки зрения ее «микрофизики». И именно на «микроуровне», как теперь твердо считал Фуко, должна вестись работа интеллектуала. Он не просто констатировал, но и отстаивал необходимость перехода от позиции универсального или всеобщего интеллектуала, такого как Сартр, к позиции «специфического интеллектуала». Но если для Лумана идеальный интеллектуал должен был состоять советником на службе у бюрократии, то в глазах Фуко он или она могли быть экспертами, работающими с заключенными, пациентами психиатрических клиник или геями. И это тоже было характерной пост-68-й мыслью: интеллектуальная элита должна была не представлять универсальное, действуя сверху вниз, но работать с конкретными другими (и лишь весьма опосредованно — для других). Фуко писал, уточняя свою мысль: «Работа интеллектуала состоит не в том, чтобы формировать политическую волю других; она в том, чтобы, проводя исследования в своих конкретных областях, вновь подвергать сомнению допущения и само собой разумеющиеся вещи, ставить под вопрос привычки... указывать на настоящую цену правил и институтов и, исходя из этой репроблематизации (где он играет свою специфическую роль как интеллектуал), принимать участие в формировании политической воли (где он должен играть свою роль как гражданин)».

В конце концов Фуко оказался вовлеченным в глобальные проблемы ничуть не меньше, чем Сартр. Казалось, он был вездесущ на всем пространстве от Калифорнии до Ирана, откуда отправлял для итальянской газеты репортажи о революции 1978 г. (которую поначалу называл новой «политической духовностью», «бьющим из-под земли источником, не имеющим ни авангарда, ни партии») ⁴⁶. Признавал он это или нет, но, как и Сартра, его волновали все те же мораль-

46. À quoi rêvent les Iraniens? // *Dits et Ecrits, 1954–1988*, vol. 2 (Paris: Gallimard, 2001), 688–94; here 694.

ные проблемы, и в центре его повестки дня в конечном итоге оказалось практическое требование соблюдать права человека. В начале 1980-х гг., когда профсоюз «Солидарность» был подвергнут репрессиям, он отправился в Польшу с запасом необходимых вещей⁴⁷. Фуко приветствовал деятельность новых философов, таких как Глюксман⁴⁸. Однако он уже не говорил на самоуверенном универсалистском моральном языке. Его новое понимание власти и его (правда, осторожные) призывы к специфическому моральному действию шли рука об руку, и, в практическом смысле, оба указывали на императив подрывной деятельности (*subversion*) в противовес призывам к восстанию (не говоря уже о признании харизматического лидерства партии-авангарда). Но оба эти представления оставались неполными, в них не было сколько-нибудь широкой и позитивной ориентации, говорящей о том, что надо делать после завершения подрывных работ. Фуко призывал к созданию «нового, так сказать антидисциплинарного права, которое было бы в то же время свободно от принципа суверенитета»⁴⁹. Эти поиски только начались, когда Фуко безвременно умер в 1984 г., став одной из первых жертв СПИДа среди знаменитостей.

Фуко хотел, чтобы его книги были минами, бомбами или по меньшей мере фейерверками. Изучение «истории систем мышления» было для него своего рода подрывной войной, попыткой открытого и громкого сомнения либо незаметного разрушения общепринятых представлений об обществен-

47. Фуко взял в аренду миниавтобус с медикаментами и оборудованием для печати и отправился в Варшаву. Вместе с ним поехали актриса Симона Синьоре и Бернар Кушнер, основатель организации «Медицина без границ». Всю дорогу они распевали песни Эдит Пиаф, и оказалось, что Фуко знал наизусть все слова (но был лишен слуха...). Macey, *Foucault*, 139.

48. *La Grande Colère des faits // Dits*, 277–81.

49. Michel Foucault, «*Society Must Be defended*»: *Lectures at the Collège de France, 1975–1976*, ed. Mauro Bertani and Alessandro Fontana, trans. David Macey (New York: Picador, 2003), 40; Фуко М. *Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году*. СПб.: Наука, 2005. С. 58. В конце 1970-х и в 1980-е гг. он, по-видимому, вновь открыл для себя индивида — несмотря на всю предыдущую критику — и начал исследовать (и в каком-то смысле предписывать) то, что он называл «заботой о собственном Я». Теперь он говорил о «конституировании себя в работе над красотой своей жизни».

ном и политическом мире. Вряд ли его можно назвать «промежуточной (in between) фигурой», оказывающей влияние на политику (хотя после резонансных исследований, проведенных Группой информации по тюрьмам, была предпринята серьезная тюремная реформа). Но никто из тех, кто читал Фуко (даже если они продолжали придерживаться концепции «достойного государства», предложенной Тоуни и другими мыслителями, ориентированными на государство благоденствия), уже никогда не мог смотреть на государство теми же глазами, что и раньше.

Казалось, существовали непреодолимые разногласия между Фуко и постструктуралистами с одной стороны, и Хабермасом и его многочисленными последователями в континентальной Европе — с другой. В первом случае имели место подозрения в отношении универсализма и полученных в наследство левых языков освобождения, неизменно стирающих различия и специфику. Во втором случае — желание оставаться в рамках языков Просвещения, разумеется ограниченного, все еще предлагающего наилучший путь к социальному и политическому совершенствованию. В конечном счете, однако, между Хабермасом и французскими теоретиками было гораздо больше общего, чем они вначале сознавали. И тот и другие ориентировались на идеал автономии, хотя главные угрозы автономии виделись им очень по-разному на противоположных берегах Рейна. Хабермас, который называл себя «продуктом американского перевоспитания», опасался возвращения политического иррационализма. Его философские оппоненты во Франции видели угрозу в репрессивном рационализме (включая структурализм). Показательно признание Фуко, который в какой-то момент, как бы странно это ни звучало, заявил, что разум равен пытке. В беседе с немецким интервьюером, который потребовал разъяснений, он сказал, что для него французское слово «raison», в отличие от немецкого «Vernunft», не имеет этического измерения. «Для нас во французском языке пытка, вот что такое разум. Но я очень хорошо понимаю, что в немецком языке пытка не может быть разумом»⁵⁰.

50. «Die Folter, das ist die Vernunft», 65.

Таким образом, по крайней мере некоторые стычки в эпических философских баталиях, происходивших между модернистами (или защитниками Просвещения) и постмодернистами (или критиками Просвещения), основывались на чудовищных сверхобобщениях (таких как «Просвещение» вместо, например, «шотландского Просвещения» или «французского Просвещения») и, по-видимому, на нескольких чудовищных переводах⁵¹. Но гораздо важнее то, что, хотя способы артикуляции ими моральных повесток дня для политики глубоко отличались друг от друга (Хабермас называл Фуко «криптонормативным» [мыслителем]), а оценки ими послевоенного конституционного урегулирования в целом не совпадали (Хабермас был настроен гораздо более позитивно в отношении достижений демократии), они приходили к сходным практическим выводам. Вдобавок ко всему, их во все большей степени объединяла борьба с общим врагом — неолиберализмом.

Спуск с Мон Пелерина

Самой серьезной угрозой для социальной демократии (как и для социальных версий христианской демократии) был не неоконсерватизм, в принципе не враждебный государству благоденствия, и не постмодернизм. Угроза исходила с неожиданной стороны и была во многом основана на возобновлении «утопических энергий», однако утопией, о которой теперь шла речь, служили полностью свободный рынок и сильное государство.

Как мы видели в главе 4, эта угроза возникла не на пустом месте. Людвиг фон Мизес, профессор экономики, всецело поддерживавший принцип *laissez-faire*, еще в 1920-х гг. заявлял, что «только идеи могут одержать победу над идеями,

51. Хабермас, возможно с великодушием философского победителя, признал значительно позднее, что «не может быть никакого сомнения относительно благотворного влияния, которое оказал постмодернизм на современные дебаты. Критика формы разума, приписывающей истории в целом телеологический план, столь же убедительна, как критика смехотворной претензии на устранение всякого социального отчуждения». См.: Jürgen Habermas, *The Postnational Constellation*, trans. Max Pensky (Cambridge: Polity, 2001), 146.

и только *идеи* капитализма и либерализма могут одержать победу над социализмом». Исходя из этой мысли ученик Мизеса Хайек создал общество «Мон Пелерин» и неустанно работал и с ним самим, и прибегая к его помощи. Это была также «не-организация индивидов», которая часто страдала от «не-организации» мнений. Многие самые влиятельные члены общества не видели необходимости в каком-либо «нео» и продолжали придерживаться идеалов *laissez-faire*, враждуя, в частности, с представителями немецкой социально-рыночной экономики. Мизес однажды выбежал с заседания общества со словами: «Вы все коммунисты!»⁵².

Несмотря на то что в рядах «армии борцов за свободу» порой царил разброд, страстный призыв Хайека, обращенный к «торговцам подержанными идеями», был услышан. Возникли мозговые центры, и некоторые из них в конце концов даже начали влиять на крупных политиков, таких как сэр Кит Джозеф, министр кабинета в черед британских консервативных правительств. Джозеф серьезно интересовался политической философией (заслужив прозвище «безумный монах»), а также был склонен к идеологическому самобичеванию: он признался, что на самом деле не был консерватором, и только в 1974 г. уверовал в добродетели сильного государства в сочетании со свободной экономикой⁵³.

После очевидного краха кейнсианской политики Хайека постепенно перестали считать фантазером. В 1974 г. он получил Нобелевскую премию (хотя закралось подозрение, что его избрали в «противовес» социалисту Гуннару Мюрдалю)⁵⁴. Сам Хайек тоже несколько умерил свой риторический пыл и обходился теперь без апокалиптических предсказаний. Если в 1945 г. победа лейбористской партии казалась ему первым шагом к тоталитаризму, то позднее он признал, что социализм, по-видимому, достиг пика своих возможностей при правительстве Эттли 1945–51 гг.

Но в политической теории Хайек не шел ни на какие уступки. Работая с 1950-х гг., скорее, как социальный фило-

52. Цит. по: Hennecke, *Hayek*, 223.

53. Marquand, *Britain*, 258.

54. Важно помнить, что Хайек — несмотря на то что его обычно объединяют с Милтоном Фридманом, — не был монетаристом.

соф, чем как экономист, он защищал сильное государство, в смысле государства, способного сопротивляться требованиям общества, т.е. групп, преследующих те или иные интересы, например профсоюзов. Но даже само противопоставление государства и общества выглядело теперь концептуально сомнительным. Маргарет Тэтчер, верная методологическому индивидуализму Хайека, заявила в интервью журналу *Woman's Own* в 1987 г., что никакого общества не существует. «Есть мужчины и женщины, и есть семьи, и никакое правительство не может ничего сделать, кроме как через людей, а люди надеются в первую очередь на самих себя».

Однако даже Тэтчер, по-видимому, недооценивала радикальную природу некоторых предложений Хайека. Австро-британский профессор считал, что восстанавливает классическую концепцию либерализма XIX в., в частности принцип верховенства закона над демократией, и доказывал, что решающее значение для эффективного правления имеют пределы, а не источник власти. Еще в 1944 г. он утверждал, что у него не было «намерения делать фетиш из демократии»: «Очень похоже на то, что наше поколение больше говорит и думает о демократии, чем о тех ценностях, которым она служит... Демократия по сути своей — средство, утилитарное приспособление для защиты социального мира и свободы личности. Как таковая она ни безупречна, ни надежна сама по себе»⁵⁵. Но, согласно Хайеку, существуют средства, дающие более надежную защиту от «власти произвола». И, уточняя, в чем они заключаются, он наконец сформулировал то, что обещал изложить начиная с середины 1940-х гг., а именно либеральную утопию. Хайек предложил новое конституционное урегулирование, которое обеспечивало введение в действие только абстрактных универсальных законов (т.е. законов, не служащих частным интересам) и максимизировало индивидуальную свободу. Для этого, по его мнению, необходимо было создать небольшую парламентскую верхнюю палату — «выбирать мужчин и женщин зрелого возраста на сравнительно долгий срок, скажем, на пятнадцать лет, так чтобы их не заботила перспектива перевыбо-

55. F. A. Hayek, *The Road to Serfdom* (1944; London: Routledge, 2001), 73; Хайек Ф. А. фон. *Дорога к рабству*. М.: Новое издательство, 2005. С. 88.

ров»⁵⁶. Короче говоря, власть должна быть делегирована, насколько возможно, политическим структурам, изолированным от населения, т. е. от групп давления и выборов.

Несмотря на все восхищение Хайека Великобританией, где верховной властью вплоть до самого конца XX в. обладал парламент, описанная им «модель конституции» была обязана скорее континентальным концепциям монархического государства и единоличного правления. И все же идеи Хайека оказались популярными, потому что предлагали выход из «кризиса управляемости» 1970-х гг. и означали конец политики консенсуса, или, по выражению самого Хайека, «бестолковщине центра» (*muddle of the middle*). В частности, они оправдывали подавление воинствующих тред-юнионов. Когда г-жа Тэтчер начала проводить именно такую политику, то стойко держаться этого курса в форме писем редактору лондонской *Times* ей советовал не кто иной, как Хайек⁵⁷.

Впрочем, Хайек был не единственным интеллектуалом, выступившим в роли святого покровителя тэтчеризма. Неожиданно для всех одна из самых философски изощренных апологий сильного централизованного государства, избавленного от общества (и в особенности от планирования), была совершенно неожиданно предложена Майклом Оукшотом, в глазах многих наблюдателей — олицетворением английского джентльмена-гуманитария, враждебного всякому радикализму, в том числе связанному с переосмыслением статуса государства. И все же он во многом переработал концепцию государства в том виде, как она развивалась в Западной Европе в XX в., сделав это даже более фундаментально, чем Хайек в своем «классическом либерализме».

56. F. A. Hayek, *Law, Legislation and Liberty: The Political Order of a Free People* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), 113; Хайек Ф. А. фон. *Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики*. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 434.

57. Его идеи оказали также влияние на диссидентов по ту сторону железного занавеса: «либерализм» начали ассоциировать с Хайеком в гораздо большей степени, чем, скажем, с американским либеральным философом Джоном Ролзом. По сути дела, Хайек превратился в культовую фигуру для таких интеллектуалов, как Вацлав Клаус — после краха государственного социализма премьер, а затем и президент Чехии.

Оукшот принадлежал к направлению британского идеализма 1920-х и 1930-х гг., который был вскоре полностью разгромлен аналитической философией⁵⁸. В середине 1920-х гг. он изучал в Германии теологию, но затем отошел от религиозной проблематики. Оукшот начинал как преподаватель в Кембридже, где заслужил репутацию денди и дамского угодника и брался за рискованные академические темы: в 1938 г. он первым из университетских донов выступил с лекциями о Марксе. Ранее Оукшот опубликовал «Путеводитель по классикам». Классики, которых он упомянул, интересовались лошадиными скачками, а подзаголовок гласил: «Как угадать победителя на дерби». Мало что указывало на то, что этот человек однажды сыграет важную роль в истории консервативной политической мысли XX в.

После войны Оукшот перешел в Лондонскую школу экономики, в то время — рассадник студенческого радикализма. Верная фабианской традиции, ЛШЭ оставалась также базой подготовки бюрократов для нарождавшегося государства благоденствия. В ряде изящных эссе Оукшот выразил свое неприятие планирования и того, что он называл «рационализмом в политике». Он утверждал, что «централизованно планируемое общество есть идеал всякой рационалистической политики» и что либеральная демократия все больше одержима тем, что он называл, используя фразу из Д. Г. Лоуренса, «благовидной этикой производительности». Однако смысл политики, настаивал Оукшот, не в дальновидном планировании. Политика — не для интеллектуала-как-планировщика. «Вести за собой мир должны не проницательные люди, не те, кто предназначен для мышления с его пылкими страстями. Великие достижения совершаются в мыслительном тумане практического опыта. Меньше всего мы нуждаемся в том, чтобы короли были философами». Политика должна характеризоваться, скорее, тем, что Оукшот называл «следованием указаниям традиции». «Источником политической деятельности», согласно Бернарду Зюссеру, мягко пародирующему здесь Оукшота, могут быть лишь «ритмы, фактуры, созвучия, шепоты,

58. Рассказ о карьере Оукшота основывается главным образом на книге: Paul Franco, *Michael Oakeshott: An Introduction* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004).

намеки, воспоминания... воодушевляющие некоторую данную традицию публичной жизни». В свою очередь, чтобы их распознавать, необходима «тонко настроенная, но при этом не выразимая словами восприимчивость»⁵⁹.

Практика, наполненная традицией, является прямой противоположностью рационализма, примеры которого Оукшот привел в 1947 г. в на первый взгляд бессистемном списке: «Проект так называемого воссоединения христианских церквей, открытая дипломатия, единый налог, государственная служба, при назначении на которую кандидатам „помимо их личных способностей, не понадобится никакой профессиональной квалификации“, доклад Бевериджа, закон об образовании 1944 г., федерализм, национализм, наделение женщин правом голоса... крушение Австро-Венгерской империи, Всемирное государство... а также восстановление гэльского языка в статусе официального языка ирландцев»⁶⁰. В качестве общего знаменателя здесь — технократическое закулисное планирование, а также всегда энергичная деятельность Нового Человека, пылающего страстью к реформам, над которым Оукшот насмехался, даже не пытаясь сдерживать эмоций. В своем высокомерии рационалист, подобно добившимся всего самостоятельно (self-made) мужчине или женщине, отрицает, что его достижения основываются на работе, проделанной другими людьми — не только сегодня, но прежде всего в прошлом. Оукшот сопровождал свою мысль типичной метафорой из обыденной жизни: «Кулинарная книга — не независимо возникший источник, дающий начало приготовлению пищи: она представляет собой лишь свод того, что кто-то знал о том, как готовить: это дочернее, а не родительское начало для деятельности».

Впрочем, крикетные и кулинарные метафоры, воспоминания о долгих летних вечерах в «ближних графствах» и теплом эле скрывали за собой весьма жесткую политическую позицию⁶¹. Настоящая сила теории Оукшота происходила

59. Bernard Susser, *The Grammar of Modern Ideology*, (London: Routledge, 1988), 174.

60. Michael Oakeshott, *Rationalism in Politics // Rationalism in Politics and Other Essays* (1962; Indianapolis: Liberty Press, 1991), 5–42; here 11; Оукшот М. *Рационализм в политике*. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 12–13.

61. Как писал Ральф Милибэнд корреспонденту-марксисту во время студенческих «беспорядков» в ЛШЭ, «изощренный оукшотизм — довольно

из различения им гражданской и предпринимательской ассоциаций, или противопоставления *societas* и *universitas*. Согласно Оукшоту, «идея *societas* обозначает деятелей, которые, в результате выбора или в силу обстоятельств, связаны друг с другом так, что образуют отдельную ассоциацию особого рода. Связь, их объединяющая, в отношении которой каждый сознает себя как *socius*, заключается не в участии в предприятии, направленном на достижение общей реальной цели или на продвижение общего интереса, но в лояльности друг к другу, условия которой могут достичь формализации, обозначаемой родственным словом „легальность“»⁶².

В отличие от гражданских, предпринимательские ассоциации объединены общей реальной целью, которой должны подчиняться ее члены. В новые времена гражданами таких ассоциаций двигала, по словам Оукшота, «комфортабельная, вознаграждаемая сервильность»; это, скорее всего, были те, о ком он нелицеприятно отзывался как о *manqués*, — человеческие существа, не способные принимать решения, принадлежать самим себе и, по его выражению, быть «самозанятыми». *Manqué*, вероятно, «имел скорее чувства, чем мысли, скорее побуждения, чем мнения, он был скорее бессилен, чем страстен»⁶³. Массовые люди, полагал Оукшот, годны лишь для *régime administratif*, правители которого действуют либо как председатели совета технократов, либо как «директора санатория, из которого не может по своей воле выписаться ни один пациент»⁶⁴.

Оукшот изображал патерналистское послевоенное государство благоденствия в самом нелицеприятном свете. Он противопоставлял государство как санаторий сильному государству, которое обладает неоспоримой властью, не ставит перед собой никаких целей, не претендует на научное управление и позволяет гражданам самим выбирать свои жизни, свои «путешествия и приключения». Оукшот считал,

тонкая корка, и, когда она растрескивается, как это произошло здесь, из-под нее вылезает весьма уродливого вида консерватизм». Newmap, *Miliband*, 151.

62. Michael Oakeshott, *On Human Conduct* (1975; Oxford: Clarendon, 2003), 201.

63. *Ibid.*, 277.

64. *Ibid.*, 308.

что существует особый человеческий тип — современный европейский индивид, — который один способен населять такое государство. Этот тип — редкое цивилизационное достижение, прославленное Монтенем, Гегелем и Токвилем. И теперь он находился на грани вымирания.

В стилистической манере, не имеющей себе равных в англоязычной политической теории XX в., Оукшот придавал философскую убедительность своим бескомпромиссным нападениям на послевоенную политику консенсуса, а также на саму идею использования государственной власти для коллективного самопреобразования общества — политический прожект, который казался таким достижимым после Первой мировой войны, а после 1945 г. облекался в неоспоримые демократические термины. Впрочем, критика Оукшота казалась тем более убедительной, что выражалась на безобидно звучащем языке. В письме Карлу Попперу на тему рационализма он высказывался в пользу «беседы» (*conversation*): «...Я бы сказал, что политика, которую я имею в виду, является *политикой беседы*, в отличие от вашей *политики спора* (*argument*).

Я не верю, что разум есть *единственная* связь, объединяющая людей, и не потому, что люди иногда неразумны, но потому, что существует нечто иное, гораздо более сильное, что их объединяет, например общая цивилизация (где она существует), общие привычки поведения (где они существуют), — ничто из этого не является разумным, зависимым от приводимого в его пользу аргумента, или общим для *всех* людей. Думаю, не существует *ничего* общего для *всех* людей.

Короче говоря, проблема с вашим истинным рационализмом не в том, что он невозможен, но в том, что он невозможен сам по себе. Место разума в политике & в жизни заключается не в том, что он должен *занять место* привычек поведения, но в том, чтобы выступать в качестве *критика* привычек поведения, защищая их от предрассудков и т. п. А то, что делает рационалист, это, так сказать, литература, состоящая *исключительно* из литературной критики»⁶⁵.

Но сам Оукшот не был всего лишь критиком. В той мере, в какой это поддавалось артикуляции в качестве последо-

65. http://www.michael-oakeshott-association.com/pdfs/mo_letters_popper.pdf (last accessed 16 August 2010).

вательной философии, он, по-видимому, сформулировал концепцию тэтчеризма⁶⁶. Железная леди хотела его наградить, но он отказался, сказав, что награждать следует тех, кто этого желает. Но у него, вероятно, были и другие причины для нелюбви к тому, что происходило в британском обществе в 1980-х гг. В 1964 г. он отмечал в записной книжке, что «„достижение“ — это „дьявольское“ начало в человеческой жизни; и символом вульгаризации человеческой жизни служит наше чуть ли не всепоглощающее стремление к достижениям». Кроме того, в Оукшоте не было и следа любви к семье или любым другим видам викторианских ценностей, и он настаивал на том, что «нет ничего непоследовательного в том, чтобы быть консерватором в отношении правления и радикалом в отношении почти всех других видов деятельности».

Такое квазиаристократическое (или, возможно, божественное) *dégout*, отвращение, весьма отличалось от тезиса тэтчеризма о моральной самодисциплине как продукте рынка. Кит Джозеф уже в 1974 г. призывал к «исправлению нравов нашей национальной жизни» (что, более конкретно, означало, что у незамужних необразованных девушек должно быть поменьше детей)⁶⁷. Сама Тэтчер, дочь бакалейщика и пылкая методистка, не признала бы, что рынок и мораль противоречат друг другу; напротив, рынок должен был сделать людей нравственными, заставив их усвоить добродетели самодисциплины, ответственности и т. д. И хотя на самом деле Тэтчер выпустила на волю жадность и перевела социальную безответственность в разряд добродетелей, она никогда не рекомендовала просто *Enrichissez-vous*, как делали первые поборники *laissez-faire*. Не соглашалась она и с немецкими неолибералами, такими как Рюстов и Рёпке, которые боялись рынка, считая его угрозой для морали, и поэтому, чтобы сдерживать его последствия, предлагали «политику общества» (и христианство в сильных дозах). Но в каком-то смысле она была согласна с Фуко больше, чем с кем-либо другим: и государство, и рынок порождают определенно-

66. Robert Devigne, *Recasting Conservatism: Oakeshott, Strauss, and the Response to Post-modernism* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994).

67. Печально известная эджбастонская речь Джозефа стоила ему шансов стать лидером консервативной партии.

го рода «индивидуализацию», — однако в случае Фуко это приводило к требованию освобождения «как от государства, так от того типа индивидуализации, который связан с государством».

В конце концов Оукшот удалился в свой коттедж в Дорсете, став предметом обожания растущего числа почитателей. Однако, с его точки зрения, не существовало, конечно же, ни догмы, которую надо было воспроизводить, ни поваренной книги, которой необходимо следовать. Критика рационализма затронула даже Хайека. Убеденный тори объявил, что «план сопротивления всякому планированию, возможно, и лучше, чем его противоположность, но относится к тому же политическому стилю». Соответственно, Хайек, в свою очередь, много раз повторял, что он не консерватор и не тори и потому очень отличается от Оукшота. Хайек замечал: «консерватизму неизбежно суждено поневоле влачиться по пути, навязанному ему извне... Либерал должен начать с вопроса: „Куда мы должны ехать?“, а не: „Как бы стро?“ или: „Насколько далеко?“»⁶⁸.

Но куда все двигались? По сути дела, то, что предьявлялось в качестве «классического либерализма» (по иронии судьбы, термин «неолиберализм» вполне устраивал только немцев, а они менее всего были сторонниками *laissez-faire*), было гораздо более влиятельным течением мысли в Соединенных Штатах, а после 1989 г. в Центральной и Восточной Европе, чем в Европе Западной. «Неолиберализм» прекрасно подходил политической культуре, в которой было место для не вполне европейских идеалов крайнего индивидуализма⁶⁹. Во всяком случае, в Европе либерализм Хайека все

68. F.A. Hayek, Postscript: Why I Am Not a Conservative // *The Constitution of Liberty* (1960; London: Routledge, 2003), 397–411; here 398; Хайек Ф.А. фон. Почему я не консерватор // *Неприкосновенный запас*. 2001/2002. №5. С. 6.

69. Интересно, впрочем, что американская версия либертарианства была одновременно и более популярной (наверное, лучше сказать, популистской), и лучше обоснованной в философском смысле. Только в Америке появился телевизионный сериал из десяти частей по книге Милтона Фридмана «Свобода выбирать»; только в Америке либертарианские романы таких авторов, как Айн Рэнд, стали бестселлерами; и только в Америке могла иметь успех торговля майками с портретом Мизеса. Но либертарианство получило и более систематическое философское обоснование: работа Роберта Нозика «Анархия, государство и утопия»

еще часто облекался в язык политики консенсуса. В 1975 г., например, Кит Джозеф заявил, что «цель отпущенной нам жизни, как я ее теперь понимаю, в обуржуазивании». Далее он объяснял, что «наша идея благой жизни... в смысле образа жизни, модели поведения и структуры ценностей, имеет много общего с тем, на чем традиционно настаивали социал-демократы, как бы мы ни различались во взглядах на тип социально-экономической структуры, более всего способной привести к желаемому положению дел и стать его опорой»⁷⁰. В гораздо большей степени, чем в тэтчеровской Великобритании (не говоря уже о рейгановской Америке), даже номинально консервативные политики на континенте соглашались с тем, что изменения должны происходить таким образом, чтобы все оставалось по сути таким же, каким было раньше. Подобно Дарендорфу, они, по-видимому, признавали, что «консенсус в определенном смысле самое лучшее, с точки зрения прогресса, что когда-либо было в истории»⁷¹.

В конечном счете послевоенное конституционное урегулирование не было серьезно пересмотрено в соответствии с тем, что можно было бы назвать неолиберализмом. Отчасти причиной этого было то, что оно уже соответствовало некоторым институциональным схемам, которые защищали неолибералы, — в частности, правлению закона и системе сдержек и противовесов. Хайек и сам, по-видимому, не вполне сознавал, насколько хайекианской все это время была послевоенная политика за пределами Соединенного Королевства. Неосуществимыми всегда казались и самые странные (*outlandish*) его идеи, такие как сенат из старейшин.

Канцлер казначейства в правительстве Маргарет Тэтчер Найджел Лоусон заявил как-то, что для британцев государственная служба здравоохранения почти то же, что государственная религия, и они не должны переходить в другую веру. По сути дела, при Тэтчер государственные расходы

(1974) стала либертарианским ответом на социал-демократическую «Теорию справедливости» Джона Ролза. Это рассуждение о первых принципах не имело аналогов в Европе.

70. *Reversing the Trend: A Critical Re-appraisal of Conservative Economic and Social Policies — Seven Speeches by the Rt. Hon. Sir Keith Joseph Bt. MP* (Chichester: Barry Rose, 1975), 55 and 56.

71. Dahrendorf, *Lebenschancen*, 150.

в процентах от валового внутреннего продукта существенно не снизились (по некоторым оценкам, они даже выросли). Цифры, разумеется, не отражают всей в целом британской истории в 1980-х гг. (или истории континентальных стран более позднего времени). Кое-что действительно изменилось в том, как воспринимались теперь государства и что считалось теперь легитимным политическим действием. Британское государство, во многом следуя оукшоттианству, было жестко централизовано, а местная власть лишена почти всех полномочий. В пространстве политического воображения фигура планировщика была заменена фигурой консультанта, дающего советы, как повысить эффективность и привить «рыночную логику» государственной бюрократии (а также системе здравоохранения и университетам). Гражданин как участник политической жизни уступил место гражданину как потребителю, который требовал соблюдения своего права на компенсацию в том случае, если поезд не прибывал по расписанию. Традиционную демократическую подотчетность заменили экономические аудиты. Редко когда обращалось внимание на то, что это приводило к еще *большей* бюрократии (в виде регулирующих органов), и еще меньше — что урок о контроле над бюрократией, порождающем еще больше бюрократии, мог быть лучше всего усвоен на примере Советского Союза.

Политика антиполитики при посттоталитаризме

Мыслители вроде Хайека и Мизеса высоко ценили идеи и интеллектуалов, по сути дела, переворачивая марксизм с его принципом первичности экономики с ног на голову. Однако на повестке дня стоял и широко обсуждался вопрос, не снижается ли в действительности и во все в большей степени роль интеллектуалов в Западной Европе. В Центральной и Восточной Европе в их важной роли не могло быть никакого сомнения. Диссидентская стратегия интеллектуалов начиная с середины 1970-х гг. и далее основывалась на очень простой и весьма радикальной идее: они ловили режимы на слове, особенно после того, как социалистические правительства подписали Хельсинкские соглашения

1975 г. и официально взяли на себя обязательства защищать права человека⁷². Сами режимы полагали, что «корзина», касающаяся прав человека, ничего не значит, — допущение, которое они разделяли с западными реалистами, такими как Генри Киссинджер, который говорил с презрительной усмешкой, что все это можно было написать «с тем же успехом и на суахили».

Пионером серьезного отношения к «социалистической законности» (своего рода правового позитивизма с неафишируемыми политическими целями) стал в середине 1960-х гг. русский поэт и математик Александр Есенин-Вольпин⁷³. Он был сыном популярного народного поэта (и одно время мужа Айседоры Дункан) Сергея Есенина и поэтессы Надежды Вольпиной. Впрочем, его отец, совершивший самоубийство в отеле «Англетер» в Ленинграде в возрасте тридцати лет, никогда не видел сына. Бунтарь по природе и один из первых «антисоветских поэтов», Вольпин несколько раз объявлялся советскими психиатрами «шизофреником» и «умственно неполноценным». В конце 1940-х гг. он был сослан в Казахстан, в 1950-х и 1960-х гг. четыре раза помещался в психиатрические клиники (по его словам, он симулировал болезнь, чтобы избежать тюремного заключения на Лубянке, где однажды недолго сидел)⁷⁴.

По свидетельству Людмилы Алексеевой, основательницы Московской Хельсинкской группы, Вольпин еще в начале 1960-х гг. расхваливал сталинскую конституцию и объяснял возможности радикального гражданского *повиновения*: «Что

72. Товарищам и гражданам и раньше приходило в голову уговаривать режимы, чтобы они соблюдали свои же законы. Примером является часто упоминаемый в этой книге Лукач, который в ряде личных писем Кадару в 1971 г., незадолго до своей смерти, просил лидера — обращаться к нему на «ты» и не выбирая выражений — предъявить обвинение и судить по закону молодых маоистских (sic!) диссидентов Миклоша Харасти и Дьёрдя Далоша, которые в тот момент находились в тюрьме. Лукач писал, что на кону честь Кадара, который обязан соблюдать социалистическую законность. См.: Lukács Archivum, Budapest, letters to Kádár of 15 February, 22 February and 26 February 1971 (859/6–859/8).

73. Benjamin Nathans, The Dictatorship of Reason: Aleksandr Vol'pin and the Idea of Rights under «Developed Socialism» // *Slavic Review*, vol. 66 (2007), 630–63.

74. *Ibid.*, 649.

случится, если граждане будут действовать исходя из допущения, что у них есть права? Если это сделает один человек, он станет мучеником, если два, их назовут вражеской организацией, если тысячи людей — враждебным движением, но если это будут делать все и каждый, государству придется ослабить репрессии»⁷⁵. Идея Вольпина бросала вызов не только государству, но и русской интеллигенции, которая относилась к формализму, правовому и всякому другому, с подозрением, предпочитая прямую героическую конфронтацию (и мученичество). Таким образом, Вольпин ставил в качестве цели ни много, ни мало «метареволюцию» — иначе говоря, революцию, отличающуюся от обычных революций⁷⁶.

После ареста писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля Вольпин организовал протест 5 декабря 1965 г., в день советской конституции. За несколько дней до этого он раздал в Московском университете листовки с «Гражданским обращением». В них содержался призыв «строго соблюдать законность»; протестующим следовало просить только об открытом суде над Синявским и Даниэлем, совершенно сознательно ограничиваясь требованием прозрачности судебного процесса и никак не оценивая обвинения. В плакатах и листовках, распространенных в день конституции на Пушкинской площади, утверждалось, что обращение с диссидентами нарушает статью 3-ю Конституции, а также уголовно-процессуальный кодекс. Есенин-Вольпин и около 200 других демонстрантов (точное число неясно, поскольку многие на площади были, вероятно, агентами КГБ в штатском) в дополнение к этому держали в руках транспаранты с требованием «Уважайте Советскую Конституцию!». Протестующие, главным образом студенты, были тут же арестованы и отправлены в психиатрические диспансеры. Сам Есенин-Вольпин в конце концов эмигрировал в Соединенные Штаты, но требовал при этом *законного* права на возвращение в Россию.

История Есенина-Вольпина стала известна в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, но оппозиция

75. Ludmila Alexeyeva, *Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights*, trans. Carol Pearce and John Glad (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1985), 275.

76. Nathans, *The Dictatorship*, 635.

режимам опиралась также на богатые местные традиции сопротивления и подрывной деятельности против держав-гегемонов. Чуть позднее диссиденты усвоили по меньшей мере три трудных урока «пражской весны» и волнений в Польше в конце 1960-х гг.: не следует ожидать, что «ведущие партии» реформируют себя до такой степени, чтобы потерять ведущую роль; прямые конфронтации с режимами не приводят к победе, но некоторый эффект может дать давление со стороны рабочих; и, наверное, самое важное: интеллектуалы и рабочие не должны позволять, чтобы их натравливали друг на друга, как это случилось, когда власти развязали антисемитскую кампанию в Польше в конце 1960-х гг. В 1976 г. Адам Михник выдвинул программу «нового эволюционизма» в гражданском обществе, разъясняя, что самый эффективный способ борьбы с мнимым государством рабочих состоит в том, чтобы оказывать на него давление с помощью самого рабочего класса. Он писал: «"Новый эволюционизм" основан на вере в силу рабочего класса, который, занимая твердую и стойкую позицию, в ряде случаев вынуждал правительство пойти на поразительные уступки. Трудно предвидеть, как будет дальше развиваться рабочий класс, но нет сомнений, что властная элита больше всего боится именно этой социальной группы. Давление со стороны рабочего класса является необходимым условием эволюции общественной жизни в направлении демократии»⁷⁷.

Диссиденты признавали существующие геополитические реалии. С одной стороны, они извлекли, особенно из событий 1956 г., тот урок, что не стоит ожидать никакой существенной помощи от Запада. По словам Михника, «призыв Имре Надя к помощи и молчание западных правительств дали совершенно ясный сигнал... что никто нам не поможет, если мы сами себе не поможем». С другой стороны, диссиденты учитывали господствующее положение Советского Союза и следовавшее из этого отсутствие у режимов-саттеллитов пространства для маневра. Поэтому политическая деятельность, которой они занимались, проводилась в духе сознательного «самоограничения», сводясь главным образом к поддавливанию режимов на слове. Целью была

77. Цит. по: Tismaneanu, *Reinventing*, 128.

не революция, но реформа через постоянное давление снизу, или, как писал венгерский философ Янош Киш, «радикальный реформизм».

После подписания Хельсинкских соглашений, которые Брежнев считал неоспоримой победой восточного блока, в 1977 г. в Чехословакии была создана организация «Хартия 77». Подписавшие ее люди называли себя «свободным, неформальным, открытым сообществом людей различных убеждений, различных вероисповеданий и различных профессий, которых объединяет воля поодиночке и вместе содействовать уважению права человека и гражданина в нашей стране и в мире». Это была пестрая по составу группа, включавшая коммунистов-реформаторов вроде Зденека Млынаржа, троцкистов, католических консерваторов и рок-музыкантов. Некоторые из основателей «Хартии» первоначально присоединились к ней, чтобы выступить в защиту подпольной группы «Пластмассовые люди Вселенной», участники которой были заключены в тюрьму по обвинению в «крайней вульгарности, антисоциалистической и антиобщественной направленности». И это несмотря на то что, как доказывал их адвокат, они лишь следовали давней коммунистической традиции простоты и прямоты самовыражения, бравшей начало в приписываемых Ленину словах «бюрократия — говно», которые он якобы произнес в 1922 г.⁷⁸

Подобно другим группам, вдохновленным примером Есенина-Вольпина, «Хартия 77» стояла на позициях строгого правового позитивизма и всего лишь «помогала» чехословацкому государству в выполнении Хельсинкских соглашений. Как говорил Вацлав Бенда, известный чешский диссидент, «эта тактика подавливания властей на слове была сама по себе сильным ходом»⁷⁹. Милован Джилас немедленно провозгласил «Хартию 77» «наиболее зрелой и полной программой, созданной в Восточной Европе в послевоенный период»⁸⁰.

78. Priestland, *Red Flag*, 448–9; Пристланд Д. Красный флаг. С. 682.

79. Václav Benda, The Parallel «Polis» // H. Gordon Skilling and Paul Wilson (eds), *Civic Freedom in Central Europe: Voices from Czechoslovakia* (London: Macmillan, 1991), 35–41; here 35.

80. *New York Times*, 14 April 1977.

Тони Джадт, один из наиболее проницательных западных наблюдателей диссидентских стратегий, отмечал, что акцент на правах напоминал всем об их отсутствии, но это напоминание служило не столько для того, чтобы подтолкнуть режимы к переменам, сколько для того, чтобы «говорить помимо них»⁸¹. Это был важнейший шаг, выходящий за пределы идеи Есенина о правовом позитивизме как оружии диссидента: если русский поэт пытался обращаться к государству, то центральные и восточные европейцы 1970-х гг. обращались к обществу, осознав, что говорить с режимами на марксистском языке, как это делали ревизионисты, пустая трата времени. Необходимо было обращаться к согражданам на чистом, беспримесном языке морали. По словам Михника, они «говорили людям, как себя вести, а не указывали властям, как им себя реформировать»⁸². Михник пошел еще дальше, заявив, что «общество должно преобразовать себя из „мешка с картофелем“ (мы обязаны этой удачной метафорой Марксу) в исполнителя своих собственных интересов и надежд». Похожая идея высказывалась примерно в то же время в Западной Европе в связи с надеждами на *autogestion*.

Разумеется, создавать политические организации за пределами ведущей партии и ее многочисленных организационных ответвлений было строго запрещено. Поэтому, почти по определению, любые новые ассоциации должны были заявлять о своей аполитичности или даже антиполитичности. Это тоже имело концептуальный смысл, поскольку диссиденты почти единодушно называли режимы тоталитарными. Политический язык тоталитаризма, как мы видели, был не только заново открыт в Центральной и Восточной Европе, но стал ключевым для французских левых интеллектуалов середины 1970-х гг. Вернулся он и в работы либеральных антитоталитарных мыслителей старой школы, таких как Карл Дитрих Брахер в Германии, который активно выступил против движения за мир и обвинил его в игнорировании угроз, исходящих от тоталитарного Советского

81. Judt, *Postwar*, 567.

82. Цит. по: Noel O'Sullivan, *European Political Thought since 1945* (London: Palgrave, 2004), 167–8.

Союза⁸³. Но в Центральной и Восточной Европе из теорий тоталитаризма, которые на Западе были главным образом орудиями полемики, был извлечен стратегически важный урок. Понятие тоталитаризма вскрывало особенно слабое место режимов: «По той именно причине, что тоталитарные правительства политизировали повседневную жизнь, повседневная жизнь становилась обширной территорией, на которой можно было противостоять тоталитаризму»⁸⁴. С виду аполитичное действие имело потенциально важные политические последствия.

Во многих отношениях у диссидентов было больше общего с западными интеллектуалами, чем это зачастую признавалось. И те и другие были скорее сосредоточены на повседневной микрополитике, чем на преобразовании государства как такового. И, подобно Хабермасу, они стремились защитить от разрушения жизненный мир межличностных отношений — даже при тоталитаризме. Эта интуиция была особенно важна в мысли чешского философа Яна Паточки. Паточка принадлежал к школе феноменологии и учился у Гуссерля и Хайдеггера, идеи которых он пытался использовать в своей концепции человеческого достоинства. Ключевую роль играло понятие «заботы о душе», которое Паточка считал специфически европейской идеей, восходящей к Платону. Этот вид заботы предполагал как сопротивление неаутентичному забвению самого себя в повседневных делах, так и воздержание от попыток прибегнуть к насилию для выхода за пределы повседневности, таких как война⁸⁵. Паточка сформулировал также идеал «общества потрясенных», противостоящего тоталитаризму, и настаивал на специфически моральном, в противовес политическому, характере диссидентства, заявляя, что мораль нужна «не для того, чтобы общество работало, но для того, чтобы человек был человеком»⁸⁶. Он стал одним из первых

83. Bracher, *Zeit der Ideologien*. См. также: Jean-François Revel, *La Tentation totalitaire* (Paris: Robert Laffont, 1976).

84. Джонатан Шелл (Shell) цит. по: Falk, *Dilemmas*, 179.

85. Jan Patočka, *Plato and Europe*, trans. Peter Lom (Stanford Calif.: Stanford University Press, 2002).

86. Цит. по: Martin Palouš, *International Law and the Construction, Liberation, and Final Deconstruction of Czechoslovakia*// *Law and Moral Action in World*

публичных представителей «Хартии 77» и считал ее демонстрацией верховенства стихийной солидарности и «суверенитета морального чувства» над чисто государственным суверенитетом. Паточка был арестован чешской тайной полицией и умер после ряда жестоких допросов. Даже после смерти власти не оставили его в покое и пытались сорвать похороны с помощью устроенной рядом с кладбищем мотогонки и висевшего над ним вертолета.

Но голоса диссидентов уже нельзя было ни заглушить, ни полностью подавить. Вацлав Гавел, который называл себя «философски настроенным литератором», продолжил дело Паточки и, тоже опираясь на Хайдеггера, подверг всестороннему критическому анализу современность и, в частности, феномен зависимости человеческих существ от технологии. Эта критика касалась не только Востока, но и Запада и затрагивала темы, которые развивались ранее марксистскими ревизионистами, такими как Козик и Баро⁸⁷. Драматург считал государственный социализм «кривым зеркалом всей современной цивилизации», характеризуемой, по его словам, «антропоцентричностью»⁸⁸. В качестве альтернативы Гавел предлагал другое понимание политики — не как технологии, но «как практической морали, как служения истине, как подлинно человеческой и по-человечески взвешенной заботы о наших братьях по человечеству»⁸⁹. И вновь с виду аполитичная добродетель — забота — имела потенциально далеко идущие политические последствия.

Антиполитика означала также неприятие внешней политики сверхдержав и использования ими высоких технологий, в частности ядерного оружия. Как писал венгерский автор Дьёрдь Конрад, «антиполитика стремится поставить политику на место и принять меры к тому, чтобы она на нем оставалась, но сама никогда не переступает границ своих

Politics, ed. Cecelia Lynch and Michael Loriaux (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2000), 232–52; here 245.

87. Aviezer Tucker, *Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel* (Pittsburg, Pa.: University of Pittsburg Press, 2000), 135.

88. Солженицын высказал аналогичное суждение: «Вот каков кризис: не то даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь». *Solzhenitsyn at Harvard*, 19.

89. Цит. по: Falk, *Dilemmas*, 229.

полномочий по защите и совершенствованию правил игры в гражданском обществе. Антиполитика — этос гражданского общества, а гражданское общество — антитеза военного общества. Существуют более или менее военные общества — общества, находящиеся под контролем национальных государств, официальные представители которых рассматривают тотальную войну как один из возможных ходов в игре. Военное общество — это реальность, гражданское общество — утопия»⁹⁰.

Более сильным ходом, чем любое всестороннее (и, в глазах критиков, не до конца продуманное) осуждение современности, была известная идея Гавела во «Власти безвластных», что даже в условиях, как он теперь говорил, «посттоталитаризма» индивиды могут начать «жить в истине», если перестанут совершать идеологические телодвижения, предписанные государством⁹¹. Гавел приводил в качестве примера зеленщика, помещающего на витрине, не имея при этом никаких убеждений, лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Этот образ стал одним из самых ярких символов пустоты режимов и циничного приспособленчества их подданных в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, доказывал Гавел, несмотря на явную «автототальность» системы, режимы на самом деле крайне слабы. Подобно Есенину-Вольпину, он настаивал, что граждане должны перестать лгать, и в то же время, считал он, к режиму следует относиться так, как если бы он не лгал (даже если всем известно, что он лжет). Итак, правдивость была высоким моральным идеалом, а также частью изобретательной политической стратегии. Как подчеркивал видный польский диссидент Ян Юзеф Липский, правдивость «имела также прагматический базис и оправдание, и даже в большей степени, чем принцип осуждения насилия и ненависти. В борьбе с властями, которые особенно компрометировали себя, когда дело доходило до правды, лучше было

90. György Konrád, *Antipolitics: An Essay*, trans. Richard E. Allen (San Diego, Calif.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1984), 92.

91. Václav Havel, *The Power of the Powerless* // John Keane (ed.), *The Power of the Powerless: Citizens against the State in Central-Eastern Europe* (New York: M. E. Sharpe, 1985), 23–96; Гавел В. Сила бессильных // *Мораль в политике: хрестоматия*. М.: КДУ, 2004, С. 215–311.

осуждать лживость как таковую и завоевывать доверие таким образом, чем рассчитывать на то, что всякое отступление от истины будет широко освещаться средствами массовой информации»⁹².

Гавел довел антиполитику до ее крайнего выражения, что привело к отдалению от него более традиционных либеральных демократов. На его взгляд, реставрация парламентской демократии должна была стать лишь первым шагом. За ним должна была последовать экзистенциальная революция и «реставрация порядка бытия». Вместо того чтобы копировать существующие на Западе модели, следовало поставить в качестве цели «постдемократию» (характеризуемую, среди прочего, отсутствием политических партий).

Но не все разделяли идеи антиполитики; в отличие от прав человека, эта концепция вызывала споры на всем протяжении 1980-х гг. Одной из альтернатив, в большей степени ориентированных на институциональное строительство, стало то, что Вацлав Бенда назвал «параллельным полисом». Этот полис должен был создаваться внутри нарождавшегося гражданского общества и состоять из институтов, ставящих очень конкретные цели, параллельные целям государства. Это были комитеты защиты рабочих (самый известный из них — KOR, Komitet Obrony Robotników, Комитет защиты рабочих в Польше), подпольные профсоюзы, «летучие университеты», организации поддержки бедных (воспринимавшиеся, разумеется, как провокация в социалистических странах, где бедность считалась ликвидированной), а также контркультурные группы и, в 1980-х гг., общественные движения, которые выявляли ужасающие экологические последствия государственного социализма. Такие организации, как KOR, играли ключевую роль, готовя почву для союза между интеллектуалами и рабочими: рабочие видели, что интеллектуалы защищают их права, и это рассеивало их подспудные подозрения в отношении интеллигенции. Это была существенно важная часть общей стратегии, направленная на предотвращение нового раскола оппозиции и ее последующего разгрома. Грамшианец мог бы сказать, что союз был реальной силой — новой гегемонией.

92. Цит. по: Tismaneanu, *Reinventing*, 123.

Таким образом, требования «правдивости» и «жизни в истине», провозглашавшиеся с опорой на высокую европейскую философию, дополнялись сознательно ограниченными, практическими делами все возрастающего числа гражданских ассоциаций. Бенда дал сжатую формулировку этой стратегии, заявив, что «мы объединяем силы в создании, медленном, но верном, параллельных структур, способных хоть в какой-то степени восполнить благие и необходимые функции, которых недостает в существующих структурах, а там, где возможно, использовать эти структуры, гуманизировать их»⁹³.

Оппозиционные движения неизбежно отражали также давние разногласия и расколы, которые существовали в политических культурах различных стран. В Венгрии, например, оппозиция была разделена на «демократов-урбанистов» и «популистов-националистов», что зеркально отражало старый раскол на «ненастоящих» венгров (всех их якобы можно было найти в Будапеште) и «истинных» венгров деревенской «глубинки»⁹⁴. В таких обстоятельствах крайне важно было найти интеллектуальные фигуры, идеи которых объединяли различные группы. В Венгрии такую функцию выполнял Бибо, или, скорее, память о Бибо: номенклатура боялась его, считая «моделью» бесстрашного общественного поведения⁹⁵. Помимо личного мужества, Бибо, которого иногда называли «политическим терапевтом Центральной Европы» и «самым толерантным венгром», воплощал в себе характерные региональные и национальные традиции, которые могли интерпретироваться как национальные и одновременно как демократические⁹⁶. Такое сочетание национализма и либерализма могло быть, в частности, переведено в конкретное требование народного суверенитета и территориальной независимости.

93. Benda, *The Parallel «Polis»*, 36.

94. Ignác Romsics, *Hungary in the Twentieth Century*, trans. Tim Wilkinson (Budapest: Corvina, 1999), 415.

95. Falk, *Dilemmas*, 137.

96. Согласно Шандору Зилаги (Szilagy), цит. по: Falk, *Dilemmas*, 261.

Метареволюции и конец ленинизма

В конечном итоге Советский Союз и его сателлиты были поражены теми самыми болезнями — «дезинтеграцией гражданского порядка, падением общественной дисциплины, деградацией лидеров и отчуждением граждан», — которые Трехсторонняя комиссия диагностировала на Западе. «Развитой социализм» при Леониде Брежневе и его ближайших преемниках означал застой, коррупцию и нарастающую феодализацию общества. Кроме того, он привел к тому, что руководство охватило чувство глубокой неуверенности в себе. Похожие явления деморализации распространились и в странах-сателлитах. В этой ситуации диссиденты могли оказывать громадное влияние на события, используя в качестве оружия правовой позитивизм: они демонстрировали, что «государственный социализм» опирается на масштабный обман граждан элитами, заявляющими: «мы, правители, делаем вид, что справляемся со своими обязанностями», а также на молчаливое согласие населения: «мы, подданные, делаем вид, что государство легитимно».

Тот факт, что режим просто не был легитимен, подтвердила политика Михаила Горбачева, ставшая последним шансом на реформирование Советского Союза. С точки зрения теории в том, что пытался сделать советский лидер, не было почти ничего нового. Близкий советник Горбачева Геннадий Герасимов, когда его спросили в 1987 г., в чем разница между программой Горбачева и «пражской весной», ответил: «Разница в девятнадцать лет». Между прочим, Горбачев был соседом по комнате Зденека Млынаржа, когда оба учились в 1950-х гг. в Московском государственном университете, а многие из реформаторов, которые впоследствии получили известность как «горбачевская команда», работали в конце 1960-х гг. в Праге в качестве мелких советских бюрократов.

В начале 1980-х гг. всем было очевидно, что брежневский идеал «кадровой стабильности», направленный против разрушительной хрущевской «демократизации», привел, по существу, к старческой немощи кадров⁹⁷. Партия дав-

97. Hildermeier, *Geschichte*, 1021.

но перестала быть харизматической безличной силой: она не вдохновляла на преданность, разве что в качестве инструмента личного обогащения; таким образом, ее власть была основана на отношениях личной зависимости не меньше, чем на безличной организации. Горбачев стремился к модернизации, но модернизация предполагала бóльшую степень свободы, что, в свою очередь, подрывало сами основы ленинского государства. Поэтому советский лидер оказался в парадоксальной ситуации: пост генерального секретаря партии давал ему огромную централизованную власть, с помощью которой можно было провести децентрализацию и создать возможности для более широкого участия [граждан в управлении]. Но сам этот процесс подрывал власть, которая была необходима для завершения реформы.

Вначале Горбачев, во многом подражая хрущевской риторике «демократизации», пытался применять некоторые вышедшие из употребления политические инструменты прошлого, в частности Советы. Двигаясь вперед, он изо всех сил тащил за собой то, что называл «колоссом консерватизма... эту грязную, мерзкую собаку», под которой имел в виду свою же собственную коммунистическую партию⁹⁸. Когда собака заупрячилась, Горбачев сменил тактику. Генеральный секретарь попытался сделать опорой власти не партию, а государство, хотя, наверное, ему следовало вначале построить государство, по-настоящему независимое от партии. Например, был избран новый Верховный Совет, независимый от КПСС. Горбачев прилагал энергичные усилия, чтобы постепенно демонтировать и в конечном счете ликвидировать крайне сомнительную двойную структуру власти (ленинское «гибкое соединение»), существовавшую в Советском Союзе с 1920-х гг. Чтобы подчеркнуть реальность наступающих перемен, делались символические жесты: в 1988 г. в партии был восстановлен (посмертно) Бухарин, а еще через год наконец опубликован «Архипелаг ГУЛАГ».

Впрочем, в конечном итоге внутренние противоречия, преследовавшие ревизионизм повсюду, в частности невозможность сочетать демократию и «ведущую роль» коммунистической партии, положили конец горбачевским про-

98. Maak, *In Europe*, 747.

ектам «открытости» и «перестройки». Партия исчезла как опора власти, однако новое государство (если оно вообще могло быть успешно построено) так и не стало стержнем того, что Горбачев называл «социалистической рыночной экономикой».

Конкретные обстоятельства того, что в некоторых странах называли просто «переменами», варьировали. Однако общим для них всех было именно то, что в них замечательным образом отсутствовало: конец старых режимов не инициировался революциями и не сопровождался революциями по образцу французской и русской. Этот факт имел решающее значение для успеха диссидентов: режимы выискивали следы еще одного 1956 г., не замечая того факта, что перемены не происходили в насильственной, повстанческой форме; в 1968 г. эта форма себя окончательно исчерпала как на Востоке, так и на Западе. Несмотря на это, когда перемены начались, они шли быстро и распространялись с одной страны на другую подобно стихийной революции, на которую когда-то надеялись большевики. Когда люди перестали бояться и, в частности, как только стало понятно, что Советский Союз не решится на еще один 1956-й или на 1968-й год, тоталитарный суверенитет рухнул. Интуиции Лефора и других теоретиков оправдались: то, что казалось тоталитарной, безраздельной властью, охватывающей все общество, на самом деле еле стояло на ногах. В то же время тщательно выстраивавшийся параллельный полис позволил предотвратить перерастание коллапса государственной власти в политический хаос.

В декабре 1989 г. Вацлав Гавел заявил в новогоднем обращении к гражданам после своего избрания президентом Чехословакии: «Люди (people), ваше правительство вернулось к вам», повторив слова из культовой песни Марты Кубишовой 1968 г., в которой повторялась фраза из инаугурационной речи Т. Г. Масарика в 1918 г., а тот, в свою очередь, ссылаясь на Яна Амоса Коменского, философа образования XVII в., считающегося своего рода символом чешской нации⁹⁹. В 1989 г. «народ» (the people) как *единый*, коллектив-

99. Jiří Pfibáň, *Dissidents of Law: On the 1989 Velvet Revolutions, Legitimizations, Fictions of Legality and Contemporary Version of the Social Contract* (Aldershot: Ashgate, 2002), 40–1.

ный, самоопределяющийся субъект был не виден, и к нему, как правило, не апеллировали. Массовые митинги и демонстрации играли жизненно важную роль, но еще большее значение имели «круглые столы», гражданские объединения и форумы, которые вели переговоры со старыми режимами. Это был не «народ», это были люди. Суверенитет был практически полностью восстановлен, но к нему не взывали и его не использовали для какого-нибудь революционно-политического проекта или проекта строительства нации, как в 1789 и 1917 г. (и во многих других революциях меньшего масштаба). Революции 1989 г. шли на сознательное самоограничение и плюрализм и были едины лишь в своем неприятии старых режимов. Это были революции против Революции, как их называл политолог Анджо Арато, или, как на это и надеялся Вольпин, «метареволюции». Они не стремились к черно-белому противопоставлению прошлого и настоящего, позволив многим слугам старого режима сохранить лицо. Серое прекрасно, как сказал однажды Михник.

Но что же народ, или, скорее, люди, хотели делать с властью, которая была им возвращена? По большей части они стремились к либеральным демократиям. Но не к любым либеральным демократиям, а к тому легко узнаваемому по особой констелляции институтов типу, который возник в Западной Европе после 1945 г.¹⁰⁰ Жители Центральной и Восточной Европы ввели также систему свободных рынков и, по крайней мере какое-то время, с энтузиазмом относились к Хайеку. Однако вскоре многие отказались от либертарианских проектов, заочно согласившись с Оукшотом, что план сопротивления всякому планированию остается все той же рационалистической политикой, недостаточно внимательной к местным условиям.

По иронии судьбы, хотя Маргарет Тэтчер и настаивала, когда речь шла о продвижении ее политики свободного рынка, что «не существует никакой альтернативы» (There Is No Alternative), в Западной Европе это не соответствовало действительности. А вот в Центральной и Восточной Европе, принцип «TINA» *соответствовал действитель-*

100. Это не значит, что послевоенный конституционный этос мог быть немедленно воспроизведен.

ности — во всяком случае, по меркам западноевропейской демократии. Не-коммунистические левые не предложили ничего, что пользовалось бы таким же успехом; и не было ничего высокомерного в оценке Хабермаса, который назвал события 1989 г. «догоняющими революциями», настаивая на том, что они взяли «все свои методы и образцы из известного репертуара эпохи Нового времени» (мнение, повторенное Фюре: «несмотря на всю шумиху и ажиотаж, Восточная Европа не дала ни одной новой идеи»)¹⁰¹.

Впрочем, редко когда институты импортировались целиком и полностью (как это сделала Венгрия с конституционным судом Германии), обычно их переделывали, адаптируя к местным условиям. Но совершенно ясно, что ни один из конкретных институциональных идеалов диссидентов не выжил. В частности, это касалось идей самоуправления, попытки прочной институциональной реализации которых много раз до этого терпели неудачу в XX в. Все еще находясь в условиях «гуляш-коммунизма», Конрад утверждал, что, «когда существует парламентская демократия, но нет саморегуляции, политический класс один занимает сцену». После 1989 г. саморегуляции было мало, и поборники антиполитики с трудом адаптировались к однообразной политической жизни, если вообще в ней оставались. Но из этого не следовало, что сцену занимали только политики или бывшие диссиденты-ставшие-политиками. Плохо ли, хорошо ли, — но теперь на сцене были также деятели, игравшие центральную роль в западноевропейском послевоенном урегулировании, такие как судьи конституционных судов и бюрократы из Брюсселя.

К 1991 г. стало ясно, что и Советский Союз уже не является домом для составлявших его различных народов, не говоря уже о том, чтобы служить политической формой «советского народа» (который был объявлен свершившимся фактом в конституции 1977 г. и в который продолжал верить Горбачев). «Перестройка» привела к полному распаду существ-

101. Jürgen Habermas, What Does Socialism Mean Today? The Rectifying Revolution and the Need for New Thinking on the Left // *New Left Review*, no. 183 (September-October 1990), 3–22; here 7; Фюре цитируется по: Ralph Dahrendorf, *Reflections on the Revolution in Europe* (New York: Times Books, 1990), 27.

вующего порядка вещей, и не существовало никакого способа вернуть все на свои места. Под самый конец Горбачев несколько дней был президентом государства, которое уже распалось на составлявшие его республики и народы. Исчезновение Советского Союза было предпоследним актом великой, кровавой драмы послевоенной деколонизации и служило лишним подтверждением того, что если демократия и появлялась в Европе XX в., то это происходило в политических формах национальных государств (это не означает, что всякое национальное государство оказывалось демократией).

Однако *последним* актом длившейся столетие европейской драмы, или, скорее, трагедии — истреблений, высылки и обменов (населениями), — стали югославские войны 1990-х гг. В их конце стоял триумф Керзонова пророческого принципа «очищения народов». Гибель Югославии положила конец и вызывавшему когда-то восторг эксперименту по рабочему самоуправлению. На самом деле оно никогда не функционировало так, как это рекламировалось, а после 1960-х гг. самоуправление стало, по существу, весьма недемократичной формой «само-правления» различных национальностей, входивших в Югославию. Как мы видели, идеал самоуправления или «коллективной автономии» появлялся в очень разных обстоятельствах: австромарксист Макс Адлер называл его «самым дорогим понятием, лелеемым в сердцах и душах революционного пролетариата»; его поддерживали британские плюралисты; венгерские революционеры 1956 г. проводили его на практике; французские «вторые левые» 1970-х гг. пытались возродить его в теории. Ги Дебор все еще считал его наилучшей возможностью преодолеть общество спектакля. После 1989 г. самоуправление фактически исчезло как идеал и теперь, быть может, принадлежит к тому, что Ханна Арендт однажды назвала «потерянными сокровищами» политической истории и политической мысли.

Поздний либеральный триумф?

В ретроспективе нетрудно представить, что 1980-е гг. были десятилетием возрожденной уверенности в себе и нового оптимизма, как в Европе, так и на Западе в целом, что и привело к тезису о «конце истории», высказанному в 1989 г. Френ-

сисом Фукуямой. В какой-то момент могло даже показаться, что история пришла к завершению вместе с появлением оукшотианского сильного государства, стоящего над обществом либертарианских (и владеющих акциями) искателей приключений, — своего рода антиполитики, поскольку, казалось, отпала необходимость в непрерывных переговорах между группами в обществе и государством, т.е. в скучной политике либеральной демократии. Но когда утопические энергии тэтчеризма рассеялись, стало видно, что европейский ландшафт сохранил хорошо знакомые очертания послевоенного конституционного урегулирования (включая государство благоденствия в его христианско-демократической либо социал-демократической версии).

Очевидный триумф западноевропейского пути, распространявшегося в 1990-х гг. все дальше на восток, не снял всех проблем, которые продолжали тревожить континент в целом. Когда в Западной Европе наконец появились стабильные демократии, это произошло в весьма специфических исторических условиях: в международном плане на европейские страны были наложены серьезные ограничения, они имели не слишком этнически разнородное население и могли опираться на надежные системы массовых и народных партий. Но теперь Европа во многом избавилась от прежних оков. Массовые партии повсюду теряли избирателей, а парламенты, серьезно ослабленные политикой послевоенного конституционного урегулирования, продолжали терять влияние. После 1968 г. все большие подозрения вызывала бюрократическая, процедурная легитимность; государство уже не воспринималось как подходящий инструмент, который, как заявлял Тоуни в 1946 г., должен использоваться достойными людьми для совершенствования общества. Вопреки многочисленным оптимистическим предсказаниям западноевропейских консерваторов, расцвета христианской демократии в Центральной и Восточной Европе после 1989 г. так и не произошло. А там, где это случилось, как в Венгрии, цветение закончилось к середине 1990-х гг.

Таким образом, под угрозой оказались сами основания послевоенной демократии, что породило у некоторых наблюдателей ностальгию по тому, что они считали подлинной массовой демократией 1950-х и 1960-х гг. в противовес

«постдемократическому» состоянию, наступившему после 1989 г.¹⁰². Однако те, кто испытывает эту ностальгию, забывают, что 1968 год был вызван в том числе кризисом системы представительства и что европейские демократии уже никогда не могли легитимным образом вернуться к эпохе до провозглашения новых требований идентичности — со стороны женщин, геев или этнических меньшинств. Не могли они, ссылаясь на соображения очевидности или привлекательности, вернуться и к эпохе, когда стабильность обосновывалась неким неоспоримым моральным фундаментом, ограничивавшим человеческую автономию, как, например, в персонализме Маритена.

Существовало и еще кое-что, что было трудно, если не невозможно, обратить вспять: 1989 год или, самое позднее, завершение югославских войн ознакомили очевидный и окончательный триумф национального государства, даже относительно неоднородного национального государства. Победивший де-факто принцип «очищения народов» Керзона превратил Европу, в частности ЕС, в группу государств значительно более однородных, чем политические союзы, которые имели место повсюду в Европе в начале XX в. Европейский союз — самая важная и самая успешная институциональная новация, появившаяся после возникновения демократического государства благоденствия. Но прославление им себя как образца многообразия, даже как своего рода мирового маяка «мультикультурных ценностей», таких как толерантность и взаимное признание, забывает о темных страницах прошлого, которые отчасти и сделали европейские национальные государства тем, что они собой представляют сегодня.

Одержав триумфальную победу, политическая форма национального государства наконец нашла своих философов: например, Дэвида Миллера в Великобритании и Пьера Манана во Франции¹⁰³. По-видимому, не случайно они начали защищать идею национальных государств именно тогда, когда европейские общества вновь становились более вну-

102. Colin Crouch, *Post-Democracy* (Cambridge: Polity, 1994); Колин Крауч. *Постдемократия*. М.: ГУ — ВШЭ, 2010.

103. David Miller, *On Nationality* (Oxford: Oxford University Press, 1995), and Pierre Manent, *La Raison des nations* (Paris: Gallimard, 2006).

тренне разнородными, а ЕС решила пойти по пути еще более тесной интеграции. Интеграция все больше ослабляла и так достаточно послушную форму национального суверенитета и опиралась в большей степени на общую культуру консенсуса и компромисса между политическими лидерами и бюрократами, чем на демократические выборы. Следствием постоянного расширения ЕС и того факта, что его сплочению, по-видимому, способствовала благожелательно настроенная транснациональная бюрократия, стало то, что наблюдатели начали называть нынешний Европейский союз «империей». Но это было не более чем метафорой: ЕС несравнима с континентальными либо колониальными империями, которые доминировали на политическом ландшафте в начале XX в. По сути дела, империя так никогда и не вернулась в Европу в качестве легитимной политической формы, а последними ее теоретиками были немецкие и итальянские философы *Grossraum* и *spazio vitale*.

«Конец истории» Фукуямы, кто бы что ни говорил, затронул важную тему. Это ни в коем случае не было наивное либеральное хвастовство, впоследствии часто приписывавшееся этой статье и делавшее из нее карикатуру. Фукуяма вовсе не предсказывал конца всех конфликтов и насилия; он утверждал, что в конечном счете не существует никакого привлекательного альтернативного образа жизни или способа организации человеческих коллективов, способного соперничать с либеральной демократией¹⁰⁴. Его теория имела явную европейскую ориентацию: мир, доказывал он, пойдет по пути постгитлеровской — т. е. «постидеологической» и потому «постисторической» — Западной Европы; он считал также, что, вероятнее всего, международные отношения ожидает «общий рынок»¹⁰⁵.

Фукуяма не колеблясь прибег к «большому нарративу», казалось бы, развенчанному постмодернистами. На первый взгляд, его трактовка истории кажется причудливым (и наивным) восстановлением теории модернизации. Но Фукуяма не зря был студентом американского политического

104. Francis Fukuyama, The End of History? // *National Interest*, no. 16 (Summer 1989), 3–18; Фукуяма Ф. Конец истории? // *Вопросы философии*. 1990. № 3. С. 134–148.

105. *Ibid.*, 18; Там же. С. 147.

философа Алана Блума, который, в свою очередь, испытал влияние французского гегельянца (и русского эмигранта) Александра Кожева (определившего, как мы видели в главе 3, одно из базовых противоречий Третьего рейха). Подобно тому как дождливым июньским утром 1978 г. призрак Достоевского стоял за спиной выступавшего в Гарварде Солженицына, фигура Александра Кожевникова вырисовывается за тезисами по философии истории, составленными сотрудником госдепартамента США.

Почему? Потому что концепцию Фукуямы наполнял именно тот культурный пессимизм, который двигал Блумом: не будут ли либеральные демократии в конце концов населены ницшеанскими «последними людьми», т. е. покорными, самодовольными, посредственными, крайне негероическими обывателями, существами, весьма отличающимися от тех, кем могли бы быть люди? По словам Фукуямы, «конец истории будет очень печальным временем... В постисторический период не будет ни искусства, ни философии, только вечная забота о музее человеческой истории». Веберианский призрак специалистов, лишенных духа, суетящихся и защищенных стальным панцирем, явился еще раз. Но идея, что политика (в частности, действия коллективных политических субъектов) может, противодействуя этой тенденции, каким-то образом породить смысл, была полностью дискредитирована — как на Востоке, так и на Западе.

1989-й был *annus mirabilis*, годом чудес. Но это был также год кровавого побоища на площади Тяньаньмэнь и в каком-то смысле начало китайской версии рыночного коммунизма. Последняя явно не могла быть сокрушена внутренними противоречиями, которые отличали ревизионизм Горбачева. Представляя собой серьезную проблему для тех, кто заявляет об окончательных похоронах ленинизма после того, как Россия взяла курс на дикий капитализм, в Пекине партия-авангард все правила и правила (и подтверждала веберианскую мысль о том, что капитализм является родственником не демократии, а бюрократии).

1989-й год был также годом фетвы против Салмана Рушди. И это был год абсолютно иного мирного перехода, совершенного вопреки всем трудностям: перехода, совершенного иранским режимом после смерти харизматического лидера аятоллы Хомейни. Оставались ли в таком случае

еще какие-то вызовы либеральной демократии, или можно было с уверенностью утверждать вместе с Фукуямой, что «мы не будем разбирать все вызовы либерализму, исходящие в том числе и от всяких чокнутых мессий; нас будет интересовать лишь то, что воплощено в значимых социальных и политических силах и движениях и является частью мировой истории»?¹⁰⁶ Вопросы эти уже существовали в самом конце того, что Карл Дитрих Брахер, немецкий либеральный антитоталитарист, называл «эпохой идеологий».

Конечно, нет никакого конца идеологии, пока существует человечество и ведутся споры о приемлемых для всех правилах общежития, об их созидании и исправлении. Но *данная* конкретная эпоха идеологий осталась в прошлом. Великие «измы» XIX в. изжили себя в веке двадцатом. Одним из важных признаков того, что они не могут быть возрождены и не возрождаются, *in toto* или даже с какими-то частными поправками, является наш политический язык: приставок «нео» и «пост» становится все больше; новые понятия — редкость. Даже сегодняшние более или менее авторитарные режимы в Москве и Пекине высказываются на удивление скупой или просто молчат, когда речь заходит об оправдании их практических действий тем или иным видом идеологической продукции¹⁰⁷.

Указывает ли это на обнищание, или, возможно, даже на истощение политического воображения? Напрашивается утешительный ответ, что это, конечно же, признак прагматизма, т. е. дело не в том, что политическая мысль больше не отзывается на реальные политические проблемы; просто на нее оказывается не такое сильное, как раньше, давление, когда-то заставлявшее встраивать те или иные решения в общую идеологическую схему — в частности, но не исключительно, в традицию марксизма. Однако, вопреки почти общепринятому клише, 1989-й не означал конца марксистского теоретизирования в широком смысле, особенно для тех, кто усвоил или заново выучил урок Лукача, что марксизм — это метод, а не догма. Но де-факто это означало конец марксизма как глобального языка оппозиции, как лин-

106. Francis Fukuyama, *The End of History?*, 9; Фукуяма Ф. *Конец истории?* С. 138.

107. Этой мыслью я обязан Пьеру Розанваллону.

гва-франка протеста, понятного и западным марксистам, и восточным ревизионистам, и либералам времен холодной войны (особенно из числа бывших марксистов), а также интеллектуальным элитам постколониальных государств. Произошло это отчасти потому, что вопросы, которые, как мы видели, были когда-то значимы для марксистов повсюду — что делать с крестьянством, как нести культуру в «массы», — в Европе просто исчезли как вопросы.

Это не означает, что марксизм как теория полностью опровергнут крахом Советского Союза. По сути дела, столь же правдоподобным или неправдоподобным было бы утверждение, что марксизм был опровергнут еще раньше, первыми шагами Советского Союза и его неспособностью создать государство по модели парижской коммуны. Но простой эмпирический факт состоит в том, что общий политический язык пришел в окончательный и, вероятно, необратимый упадок, и ни постмодернизм, ни самокритичные формы либерализма так и не смогли занять его место.

Но это не повод для того, чтобы гордиться триумфом конкретной политической модели. Верно, что послевоенное конституционное урегулирование помогло закрепить победу, которую Великобритания и Соединенные Штаты одержали над фашизмом, и доказало свое превосходство над государственным социализмом на Востоке, в том числе над концепцией «народной демократии», которая пыталась конкурировать с западными представлениями о народном политическом участии. Но лишь история, написанная победителями, могла не заметить, что доминирующее положение в Европе занял особый вид либеральной демократии, который в значительной степени не соответствовал многим демократическим идеалам, сформулированным в течение XX в.

В задачи историка политической мысли не входит оценка того, насколько прочным это урегулирование окажется в будущем. Но историку известно, что многие его интеллектуальные основания разрушены или почти полностью забыты. Немногие европейцы сегодня помнят, что означает термин «христианский персонализм», несмотря на то что совсем недавно в число его приверженцев входил европеец, пользовавшийся поистине глобальным влиянием, — Иоанн Павел II. Историк может также напомнить современникам,

что послевоенное урегулирование справилось с двумя серьезными идеологическими вызовами — 68-м и неолиберализмом, хотя оба вызвали глубокие перемены в европейском обществе. Несмотря на то что, как показывает прослеженная нами история, европейцы часто теряли самообладание, долговечность и гибкость послевоенных методов политической деятельности (*way of doing politics*) может дать европейцам некоторое (несомненно, тоже ограниченное) чувство уверенности (*confidence*) в отношении прошлых достижений и возможностей, которые сулит будущее.

Политический философ, с другой стороны, мог бы сказать, что не существует никакой единственной главной идеи или ценности, будь то стабильность, автономия или что-то другое, которая могла бы обеспечить европейским демократиям полную определенность (*certainty*) в отношении собственного будущего. Поэтому последнее слово за представителем некоммунистических левых: тоталитаризм, как когда-то доказывал Клод Лефор, является попыткой обрести определенность раз и навсегда. Демократия же, с другой стороны, есть неопределенность (*uncertainty*), возведенная в институт.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ИДЕЯ этой книги появилась много лет назад. Первыми, кто ее со мной обсудил и кому я за это признателен, был покойный Джон Берроу, вдохновивший меня на курс лекций в Оксфорде по европейской политической мысли XX в., и Питер Гхош, который внимательно прослушал этот курс, подойдя к нему критически, а потом, гораздо позднее, в переписке, поднял планку, заставив меня относиться с большей ответственностью к изложению взглядов Вебера (и к любым другим исследованиям по интеллектуальной истории). Поддержал меня и Энди Рабинбах из Принстона. Тони Джадт и Марк Лилл высказали весьма полезные и ободряющие комментарии, касавшиеся концепции того совершенно неподъемного проекта, на котором я настаивал. Ретроспективно и склоняя в почтении голову, я могу только поразиться их уверенности в том, что новоиспеченный доктор философии сумеет выполнить свое обещание и написать историю «с точки зрения, которая не сводится к перспективе, задаваемой холодной войной», как я это достаточно самонадеянно формулировал в то время.

Роберт Балдок из издательства Йельского университета проявил великодушие и терпение, к счастью для меня поверив в то, что на небольшую книгу может уйти гораздо больше времени, чем на работу большого объема.

Я очень благодарен за чтение отдельных частей книги и высказанные мнения Дэвиду Абрахаму, Норману Бирнбауму, Эдите Божановской, Патрику Гавигану, Питеру Гхошу, Лайонелу Госману, Иштвану Хегедусу, Дику Говарду, Элен Кеннеди, Эрике А. Кисс, Ми-

халу Копечеку, Мелиссе Лейн, Хейдрун Мюллер, Филипу Норду, Алану Паттену, Дженнифер Питс, Паоло Помбени, Джонасу Понтуссону, Оливье Ремо, Мартину Рюлю, Йохану Тралау и Балажу Тренчени. Все ошибки (боюсь, что в книге, охватывающей столько тем, их обнаружится немало) — на моей совести. Заслуга в том, что их меньше, чем могло бы быть, принадлежит тем, кто щедро делился со мной своим временем и знаниями.

Я признателен также сотрудникам архива Лукача в Будапеште и Эрике А. Кисс за то, что они помогли мне разобраться в части переписки Лукача. Благодарю также сотрудников архива Оукшота в Лондонской школе экономики и неутомимых библиотекарей в Принстоне, которым удавалось находить и немедленно предоставлять в мое распоряжение редчайшие материалы.

Однако более всего я обязан в научном смысле результатами такого предприятия, как это, авторам многочисленных монографий, а также обобщающих работ, на которые я опирался. Моя личная оценка того, чем я обязан, наверняка будет страдать неполнотой и даже вводить в заблуждение, но, полагаю, для многих, кто прочитал книгу, очевидно, что я многое почерпнул из работ Тони Джадта, Марка Мазовера, Питера Линдсета и Мартина Конвея. Пользу принесло и преподавание курса европейской истории XX в. в Принстоне совместно с Гарольдом Джеймсом, Филом Нордом и Эзрой Сулейманом и попытки заинтересовать подростков периодом (и миром политических страстей), который, наверное, казался им таким же далеким, как Средние века.

Несколько институтов послужили мне интеллектуальным домом, пока шла работа над рукописью. Среди них колледж Ол-Соулз в Оксфорде, Центр европейских исследований Гарвардского университета (где Чарлз Майер и Пьер Хасснер настаивали на более ясном изложении моих идей), Будапештская коллегия и Центрально-Европейский университет в Будапеште, где Балаж Тренчени помогал не-венгру лучше понять национальные и региональные политические

Kulturkämpfe, прошлые и настоящие; и особенно факультет политики Принстонского университета, оказавший неоценимую поддержку (и где беседы с Энди Моравчиком много дали для понимания положения дел в Европейском союзе). Особая благодарность — Тимоти Гартону Эшу за предоставленные мне возможности для работы в Центре европейских исследований при Колледже св. Антония (Оксфорд) в трудный момент переезда.

Во «Введении» использован материал из моей статьи «The Triumph of What (If Anything)? Rethinking Political Ideologies and Political Institutions in Twentieth-Century Europe», in *Journal of Political Ideologies*, vol. 14 (2009); некоторые части главы 4 повторяют то, что сказано в «Making Muslim Democracies», in *Boston Review* (November/December 2010); части главы 5 основаны на моей книге *A Dangerous Mind: Carl Schmitt Post-War European Thought* (London: Yale University Press, 2003), на моей статье «1968 as Event, Milieu and Ideology», in *Journal of Political Ideologies*, vol. 7 (2002) и на статье «What Did They Think They Were Doing? The Political Thought of the West European '68», in Vladimir Tismaneanu (ed.), *Promises of 1968: Crisis, Illusion, and Utopia* (Budapest: Central European University Press, 2010). Некоторые части главы 6 пересекаются со статьей «The Cold War and the Intellectual History of the Late Twentieth Century», in *The Cambridge History of the Cold War*, vol. 3, ed. Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad (New York, Cambridge University Press, 2009). Я благодарен за все разрешения использовать материал в этой книге и всячески старался сослаться на держателей копирайтов: все вероятные упущения будут обязательно исправлены в последующих изданиях.

Пока писалась эта книга, на свет появились Андре и Марк, а вскоре и Софи. В результате моя работа стала казаться мне во многих отношениях не столь важной, однако при этом в других отношениях — настоятельно необходимой. Совершенно понятно, что они граждане другой ступени демократической эпохи, когда, по всей вероятности, демократия будет вновь оспорена и столкнется с непредвиденными угрозами. Останутся ли какие-либо полезные «исторические уроки», которые можно будет извлечь из рассказанной здесь истории? Надеюсь, что так. Но в любом случае, пусть этим троим повезет по крайней мере так же, как в об-

щем и целом повезло западноевропейцам после окончания Второй мировой войны.

Наконец, более всех я благодарен Эрике, которая в течение десяти лет, пока писалась эта книга, была рядом, внимательно читала написанное мною, высказывала критические замечания, живо обсуждала книгу и предпринимала неустанные попытки заставить меня понять, на что на самом деле была похожа и как воспринималась история по другую сторону железного занавеса. Кроме того, она постоянно напоминала мне, какое это великое счастье — вести общую семейную и интеллектуальную жизнь. Книга посвящена ей, с любовью.

Научное издание

ЯН-ВЕРНЕР МЮЛЛЕР
СПОРЫ О ДЕМОКРАТИИ:
Политические идеи в Европе XX века

Главный редактор издательства Валерий Анашвили
Научный редактор издательства Артем Смирнов
Выпускающий редактор Елена Попова
Корректор Ольга Черкасова
Художник серии Валерий Коршунов
Верстка СЕРГЕЯ ЗИНОВЬЕВА

Издательство Института Гайдара
125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 08.10.2013 Тираж 1000 экз.
Формат 60×90/16. Гарнитура Баскервиль. Заказ № 3845

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: valev@chpd.ru,
8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10